

Воспоминания о поэте
Алексее Решетове

ДРУЗЬЯ РАССКАЖУТ

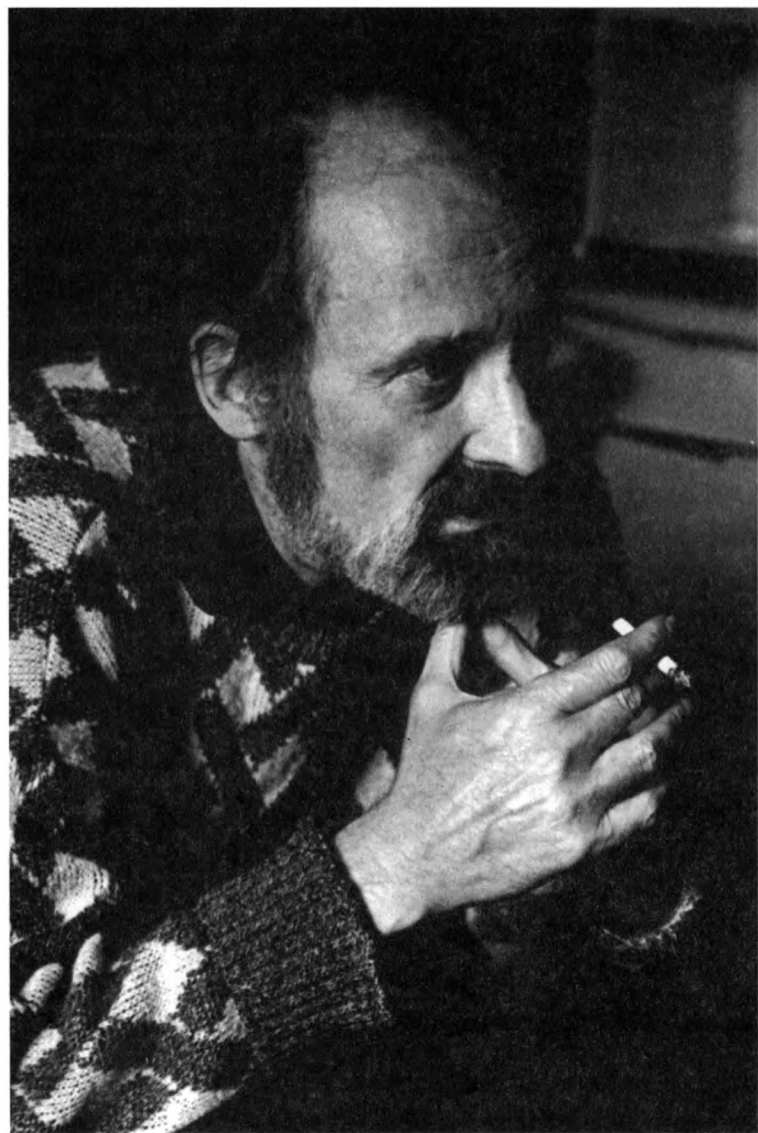
ДРУЗЬЯ РАССКАЖУТ

Воспоминания
о поэте
Алексее Решетове

ПЕРМЬ • 2007



ДРУЗЬЯ РАССКАЖУТ



ДРУЗЬЯ РАССКАЖУТ

Воспоминания о поэте Алексее Решетове

ПЕРМЬ
2006

Составители Д. Ризов, А. Старовойтов

Редактор Д. Ризов

*В книге использованы фотографии
В. С. Бикмаева, В. М. Брандмана,
а также из личных архивов
пермских писателей.*

© Авторы текстов, 2006.

© Д.Ризов, А. Старовойтов, составление, 2006.

© Е. Филенко, оформление, 2006.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Многоточие

Хронология опуса об Алексее Решетове

Я начинаю писать об Алексее в легком опьянении. Так надо. Закуриваю дешевую сигарету, хотя давно такие не курю. Тоже так надо. Пытаюсь представить себя Решетовым. Зажмуриваюсь...

Если бы читатели сказали:
— Музу нам свою изобрази,
Я бы вспомнил девку на вокзале,
Спящую, ботиночки в грязи.

Смотрю на початую бутылку. Не рановато ли? Прошло всего минуты четыре. А... между первой и второй...

«Девка» и «ботиночки». «Ботиночки» и «девка». Грубость и нежность непостижимым образом сливаются в маленький поэтический шедевр. Так мог из наших, пермских, только Решетов. Только он мог позволить себе написать без всяких оговорок:

Мы бомжи от поэзии, мы шваль,
Мы нищие с протянутой рукою.
Мы клоуны. Но Господу нас жаль.
И он дарит нас вечною строкою.

Читая собрание сочинений Алексея, невозможно найти слабые, все написано «на вечность». И он имел право на шутку: «Я — живой классик». Ах да, он говорил это после третьей. И мне пора третью. И закурить снова пора... Закрываю глаза...

У Кузьмичихи маки в огороде —
Как Ленкина косынка, лепестки.

Это я, старшеклассник, читаю со сцены уже тогда ставшее классикой стихотворение. Когда учил наизусть, стыдно при-

знать, плакал. Да нет, не стыдно... Просто тогда я еще не знал, что через несколько лет буду плакать часто, сидя перед Алексеем, отказываясь от предложенных дешевых сигарет и стопки водки, а только слушая его певучий голос.

И на одной из стен лачужки
В глухом неведомом краю
Тень стихотворца тенью кружки
Пьет участь горькую свою.

Вот теперь можно снова налить. Ого, прошло полчаса. Слишком долго вспоминал свою юность, наверное... Или долго перечитывал «Хозяйку маков»...

О чем там было сначала? Да, об уживчивости в стихах Решетова грубости и нежности. В памяти всплывает картинка. Прихожу ко Льву Давыдычеву, он, не здороваясь, от порога начинает декламировать:

Зима вступила в свои права,
Мороз стекло покрыл,
Но у меня нашлись дрова.
Я печку затопил.

— Вот тебе, Саня, доказательство того, что все гениальное просто. В этом и есть загадка истинной поэзии. (Пустил скупую слезу) Догадываешься, кто написал?..

Естественно, догадываюсь. (Хм, не только я плачу...)

Еще стопочку... Минут сорок пять прошло... Разум помаленечку мутнеет...

Нет, я еще не разговариваю с вилкой или с ложкой, как Леша в такие моменты, я вспоминаю, как он бьется в эпилептическом припадке на полу, упав с дивана. Смотрю на его грязные ботинки, нет, ботиночки, и не знаю, что делать.

— Не бойся, старик, — хрипит Поэт, — это со мной бывает...

Откуда голос — снизу или сверху? Это он сам или его душа, витающая под потолком?

А он уже сидит, скрестив ноги, и бормочет:

— Что, напугал? Не бойся, ничего в этой жизни не бойся, терпи...

Невеселое вино.
Дров осиновых шипенье.

Если счастья не дано,
Дай нам, Господи, терпенья.

Почему осиновых?.. Почему ты повелел сжечь себя после смерти, а не похоронить по-христиански? Ты, который писал слово «Господь» только с заглавной буквы... Это еще одна загадка, какую ты оставил после себя (первая — твоя Поэзия). Странно, но ведь я тоже хочу, чтобы мой прах был развеян по ветру. Может, ты прав — так душе легче освободиться от грешного тела? Значит, встретимся еще, Лешенька, и я послушаю, как ты читаешь свои стихи...

Я не знаю, как там меня встретят,
Но проводят меня хорошо.

Шагаю вдоль крестов. Читаю номера.
И думаю: пора иль не пора?..

Не плачьте обо мне...

Пора допить бутылку и посмотреть на часы.
Посмотреть не успеваю...

Просыпаюсь. В бутылке пусто. В сигаретной пачке тоже. Писать дальше или бежать в магазин? И в магазин не побегу и писать дальше не буду. Точка? Нет, многоточие...

«Тень при божественном свете»

(Несколько элементов сравнительного анализа стихов
Пушкина и Решетова)

Я только тень при божественном свете,
Я только мышка на бриге твоём.
Но поминать нас грядущего дети
Будут, хоть изредка, вместе, вдвоем.

Так написал, обращаясь к «солнцу русской поэзии», в самом конце 20 века поэт Алексей Решетов. Парадоксальность этих строк (шуточных?) в том, что «тень» и «мышь» будут вспоминать вместе с «божественным светом». Парадокс и в том, что шуточными являются только первые две строки, строфу венчают строчки вполне серьезные. А если учесть, что в любой шутке есть доля правды, придется усомниться и в шуточности строк, предшествующих заключительной строфе:

Только советую — не зазнавайся,
Знаешь, я тоже стишками грешу.

Предлагаю посмотреть, как «грешили» стишками Пушкин и Решетов, используя для этого весьма неожиданные показатели поэтического мастерства. Сразу замечу, что я проанализировал 594 стихотворения (т.е. все, кроме поэм, сказок и «Евгения Онегина», конечно же) Александра Сергеевича и 383 — Алексея (это не все его стихотворения, но, как в дальнейшем убедится читатель, вполне достаточно).

Показатель первый: использование цветowych эпитетов. Думаю, не надо доказывать, что большой мастер использует таковые не бездумно и не всегда называет снег белым, а не каким-либо другим. У мастера цветowych эпитеты — не только результат его наблюдательности и умения заложить цвет и его оттенки в словесную формулу. Часто они становятся метафорой, или, как заметил Борис Пастернак, «скорописью духа». Для начала — палитра поэтов. У Пушкина она состоит из 24 цветов и оттенков (впрочем, оттенок встречается лишь однажды — зелено-бледный). У Решетова палитра несравненно богаче — 53 цвета и оттенка. (Замечу, что такой палитры нет ни у Блока, ни у Есенина, ни у многих других великих русских поэтов. Этим могут похвастать только прозаики: Тургенев, Катаев, Шолохов, Бунин...) Каково? Я уж не говорю о том, что додуматься до кофточкой ЗАСТЕНЧИВОГО цвета Пушкин, мне кажется, вообще не мог.

Какие краски используют в своих произведениях поэты чаще всего? (У обоих, кстати, любимое время года — осень). Пушкин — цвета осенние (золотой, румяный, багряный, желтый), черный и синий. Решетов, читатель и сам уже догадался, — конечно же, *белый*.

В этом «виноват» прежде всего лист бумаги, цвет которого из примитивного эпитета почти всегда превращается у Решетова в метафору. Часто встречаются в стихах цвета осени (красный, желтый, золотой...), черный, серый и седой. Закономерность частоты использования последних трех станет ясна из дальнейшего сравнения показателей поэтического мастерства великих мастеров.

Речь пойдет о флоре и фауне. Другими словами, давайте посмотрим, насколько глубоко знали растительный и животный мир России Пушкин и Решетов (заметим, что оба — ис-

тинно городские жители, и бывали на природе от случая к случаю, один — в Михайловском, другой — на грибной охоте в пермских лесах).

Итак, показатель второй: сколько и каких растений радуют глаз в стихотворных строчках названных поэтов. У Пушкина я насчитал таковых лишь 19. (Что забавно — иронизировал классик над рифмой «березы — розы», но цветок этот любил более других, и розы в его стихах благоухают весьма часто). «Флористическое панно» Решетова несравненно богаче — для его создания он использует 69 (!) растений. Любимые: береза, рябина, осина, сосна.

Как бы нам из неясных субстанций,
Из частиц недоступных глубин
Понаделать на случай плантаций
Для любимых берез и рябин...

Березниковцы рябиновый сад имени Решетова уже заложили, пора бы пермякам посадить березовую рощу...

Показатель третий: представители животного мира. У Пушкина таковых я нашел 31 (чаще всего по строчкам «скачет конь»). Решетов «впустил» в свои стихи 71 представителя фауны! Интересно, что чаще всего в них «бродят и рыщут» волки. Объяснение этому в общем-то простое. Ответ дан самим Алексеем:

Я, как волк, появился в апреле
В этом яростном мире большом.
.....
Объясните-ка мне, буквоеды:
Мы не волки — а плечи сильные,
Мы не волки — а головы седые,
Мы не волки — а песни грустны.

И еще:

Красную краску я очень люблю.
Даже Всевышнего часто молю:
Только бы серый не съел ее цвет —
Красную Шапочку — волк-людоед.

Да, начало 19-го века и конец 20-го — для России совсем не схожи по сути своей, хотя, применительно к судьбе названных поэтов, может показаться иначе: первого убили на дуэли, второй умер сам. Впрочем, сам-то сам, но ведь даже до семидесяти не дотянул, а мог бы... Стоп, это уже другая тема. А пока

подведем итог. Наша своеобразная игра в поэтическое мастерство закончилась со счетом 3:0 в пользу Алексея Леонидовича. Bravo, Решетов!

Не думаю, что читатели упрекнут меня в попытке принизить имя нашего великого классика, родоначальника русской поэзии, имя, к которому Решетов относился как к святыне, как к вершине, к которой надо стремиться, но достичь которой невозможно. Но мне очень хочется, чтобы почитатели творчества Алексея не принимали только как шутку его пророчество:

Но поминать нас грядущего дети
Будут, хоть изредка, вместе, вдвоем.



«КОГДА ОТЦА В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ...»¹

Заметки об отце поэта

Я давно был обязан написать о журналисте «Тихоокеанской звезды» Леониде Решетове. Но долго не мог подступить к нелегкому рассказу. Новая книга сына моего старшего товарища по «Тихоокеанской звезде» «Станция «Жизнь» побудила меня отложить все в сторону и поведать о насильственно оборванной жизни яркого и самобытного дальневосточного газетчика.

«Правда» в тридцатые годы дважды писала о Леониде Решетове. 8 июня 1934 года в обзоре политодельской газеты «Вызов» говорилось: «...крохотную газетную полосу можно при умении, при любви к делу превратить в большое, культурное и политическое явление. И это сделал редактор «Вызова» т. Л. Решетов. Размер двух страниц его газеты — полстраницы «Правды». На этой небольшой площади т. Решетов сумел в далеком Приморье организовать большое, интересное и культурное хозяйство».

30 сентября рокового 1937 года в обзоре «Кто редактирует «Тихоокеанскую звезду» та же «Правда», учинив погром коллективу редакции, о Л. Решетове писала: «Очеркистом работает Решетов, которого враги народа окрестили — дальневосточный Радек».

Чекисты управления КГБ СССР по Хабаровскому краю помогли приоткрыть завесу над тайной гибели одного из талант-

¹ Газета «Вечерняя Пермь», от 13 июня 1991 г., под заголовком «И снова Пушкин умирал...».

ливых журналистов того времени. В документе, врученном родственнице Леонида Решетова А. Р. Павчинской, говорится:

«Уважаемая Анна Романовна. Отвечаем на ваш запрос о Решетове Л. С. Из материалов дела следует, что Решетов был арестован 9 октября 1937 года в Хабаровске за участие в антисоветской правотроцкистской организации, якобы существовавшей в редакции «Тихоокеанской звезды» и ставившей целью свержение Советской власти.

Все обвинения против него носили неконкретный характер и не были подтверждены в процессе следствия никакими фактическими данными. Сам Решетов до самого последнего момента категорически отрицал нелепые обвинения следователей в причастности к антисоветской и вредительской контрреволюционной деятельности.

С материалами следственного дела в отношении Решетова работали три следователя УНКВД по ДВК. В 1940 году двое из них были осуждены и расстреляны за фальсификацию уголовных дел и применение физического воздействия к подследственным, один уволен из органов НКВД.

Несмотря на то, что следователями не были получены материалы и доказательства, компрометирующие Решетова Л. С., 13 апреля 1938 года он был приговорен на закрытом заседании выездной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в г. Хабаровске в этот же день — 13 апреля 1938 года...

В процессе следствия, проведенного в УКГБ по Хабаровскому краю, необоснованность обвинений, предъявленных Леониду Сергеевичу, нашла полное подтверждение. На основании вновь полученных материалов, а также по заключению Главного военного прокурора Военная коллегия Верховного суда СССР приговор от 13 апреля 1938 года в отношении Решетова Леонида Сергеевича отменила и дело прекратила.

Таким образом, честное имя Леонида Сергеевича восстановлено, хотя это и не может компенсировать трагической и ничем не оправданной его гибели. Примите наши искренние соболезнования и сочувствие.

Начальник подразделения УКГБ СССР по Хабаровскому краю Бирюков Г. К.»

Леонид Решетов родился в 1910 году в Москве, в семье типографских рабочих. Окончив школу фабрично-заводской учебы Северной железной дороги, работал сначала слесарем,

а потом помощником машиниста паровоза. Там же молодого рабочего из комсомола приняли в кандидаты ВКП(б), а в 1928 году, когда Леониду Решетову исполнилось всего восемнадцать лет, он стал членом партии. В 1929 году после учебы на Центральных курсах марксизма при ЦК ВКП(б) работал секретарем комитета ВЛКСМ на Саратовском заводе комбайнов.

В 1931 году стал студентом Института красной профессуры. Сбылась его мечта о получении высшего образования. Учеба увлекла молодого человека. С интересом ходил на диспуты и дискуссии, в которых участвовал прекрасный оратор Николай Бухарин. Вышедший из состава Политбюро ЦК ВКП(б), он еще долгие годы владел умами молодых.

В 1933 году по решению ЦК ВКП(б) с большой группой студентов ИКП — Александром Сенновым, Афанасием Кимом и Михаилом Кимом — прибыл на Дальний Восток в создаваемые при МТС политотделы. Л. С. Решетова направили помощником начальника политотдела по комсомолу в Дубининскую МТС Михайловского района Приморской области.

В те годы, когда не хватало грамотных специалистов, коммунисты и комсомольцы совмещали обязанности нескольких человек. Л. Решетов с первого дня приезда возглавил политотдельскую партячейку. Чуть позже стал редактором общедоступной газеты. Нарекли ее «Вызов». Теперь Л. Решетов работал за троих.

— Леонид Сергеевич Решетов, — рассказывал автору этих строк его друг и один из создателей популярной газеты, писатель и художник Вадим Павчинский, — был журналистом по призванию. Любовь к газете, печатному слову жила в нем с юношеских лет. Быть может, этому способствовала типографская профессия родителей, которую Леонид очень уважал... Он начал довольно рано «юнкорить». Будучи юнкором, состоял в литературном кружке при газете «Комсомольская правда». Кружком среди других руководил и Владимир Маяковский. Школа «Комсомолки» дала многое в приобщении к газетному делу.

С 1934 года мы «Вызов» выпускали ежедневно, готовили и специальное приложение к газете. Читатели регулярно получали страничку для малограмотных, уголок международных обзоров «Окно в мир», сатирический листок «Овод», многокрасочную газету для колхозных ребят «Костер».

Первый год мы работали в «Вызове» вдвоем с Леонидом, в 1934 году прибавился еще один газетчик. Главными же наши-

ми помощниками были многочисленные селькоры. Политуправление Наркомзема СССР переиздало номера «Вызова» комплектом в качестве учебного пособия для будущих газетчиков...

Загруженный политической, комсомольской и газетной работой, Леонид Решетов находил время для подготовки материалов и для больших газет — областной «Красное знамя» и краевой «Тихоокеанская звезда». Позже в книге «Годы и строки», изданной во Владивостоке, ветераны-краснознаменцы напишут: *«...Кристалльно чистая ясность — вот чего всегда требовал от себя и от других Решетов... Это был мастер увлеченно рассказывать о самых обыденных делах — о середняке, который одной ногой шагнул в колхоз, а другой переступить не решается; о конюхе, который, ухаживая за общественным табуном лошадей, втихую подкармливает «своего» серого конягу... В любом внешне неприметном факте он видел проблему большого государственного звучания, требующую умного, человеческого внимания Советской власти...»*

Формально Решетов не был штатным сотрудником газеты «Красное знамя». Но писал в нее подчас больше штатных. Его статьи на сельские темы были самыми яркими и впечатляющими».

Сложившимся журналистом и с богатым опытом организаторской работы Леонид Сергеевич в начале 1935 года пришел в «Тихоокеанскую звезду». К известным хабаровским газетчикам Петру Житникову, Елпидифору Титову, Евсею Данишевскому прибавилось новое имя. В газете стали часто появляться очерки, фельетоны, публицистические статьи, написанные Леонидом Решетовым. Работал он неистово, самозабвенно, не щадя своих сил. И, может быть, именно потому, что сам трудился за нескольких человек, он требовал от своих товарищей такого же вдохновенного напряжения.

Писал Л. Решетов о хлеборобах Приамурья и строителях Комсомольска, рыбаках Камчатки и Сахалина, железнодорожниках и шахтерах Сучана. С любовью готовил волнующие репортажи о бойцах и командирах ОЖДВА, моряках Тихоокеанского флота, пограничниках. Последняя его публикация — большой биографический очерк о маршале В. К. Блюхере — появилась в «Тихоокеанской звезде» 6 августа 1937 года. Автор много раз встречался с военачальником, прочитал герою написанный очерк: журналист хотел убедиться, что не допустил неточностей.

А через три месяца Леонида Решетова арестовали дальневосточные органы НКВД, и он исчез навсегда. Следом взяли жену Решетова Нину Павчинскую, машинистку «Тихоокеанской звезды». Мама Нины — Ольга Александровна, взяв малышей — внуков Бетала и Алешу, уехала на запад в неизвестном направлении. Остановилась в Елатье, под Рязанью, и долго жила без прописки, опасаясь ареста...

Нина Решетова-Павчинская, пройдя ужасы Карлага, не по своей воле оказалась в Березниках. Работала на комбинате по выработке калийной соли. Туда и забрала после войны маму с сыновьями. Старший, Бетал, окончив школу с медалью, учился в Московском институте геодезии и картографии. У младшего сына — Алексея Решетова в Перми вышло много поэтических книг. И лишь в последней из них он смог открыто сказать о своем отце:

Когда отца в тридцать седьмом
Оклеветали и забрали,
Все наши книги под окном
Свалили, место подобрали,
И рыжий дворник, подпитой,
При всех арестах понятой,
Сонеты Данте и Петрарки
Рвал на вонючие сигарки.
Осколок солнца догорал,
Из труб печных летела сажа.
И снова Пушкин умирал.
И Натали шептала: — Саша...

Сын выполнил свой долг перед отцом, создав проникновенные строки о нем. И я постарался вернуть из небытия имя еще одного верного сына России, старшего собрата по перу, ставшего жертвой величайшего беззакония.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Записки Н. В. Решетовой-Павчинской (1914- 1991), матери Алексея Решетова

В конце сентября 1937 года Леша¹ был в командировке. Вернулся он числа 5 или 6 октября, и я рассказала ему о погромной статье в «Правде» от 30.09.37 г.

С апреля 37 г. начался разбор статьи в Крайкоме ВКП(б). Видя неизбежность происходящего, Леша был так еще наивен, чувствуя свою невиновность, что предполагал самое страшное для себя — исключение из партии, в которой безупречно состоял 10 лет (начиная с 17 лет). Чтобы оставить себе хоть частичку самого дорогого — он вынул партбилет из обложки (сохранить ее для себя). Два вечера провела я в страшной тревоге, думая, что он уже не вернется. Возвращался он слишком поздно совершенно убитый. До него не дошла очередь, а тех, кого уже приглашали и обсудили, при выходе из крайкома приглашали в «Воронок» и увозили навсегда.

На третий день к разбору остался один Леша. Его начали обсуждать в конце второго дня, и все выступающие были против него, так что результат был predetermined. Можно понять, с каким чувством я ожидала его.

И, несмотря на все, он все же пришел в этот вечер домой. Пришел хотя и взбудораженный, но и какой-то успокоенный или уверенный — не знаю, как определить его состояние в этот вечер...

Итак, все высказались против него, и только когда выступил последний, не высказавшийся товарищ, дело приняло совершенно неожиданный поворот.

Это был сотрудник редакции Полянский — человек тихий и незаметный, которому Леша не очень симпатизировал. Он сказал только, что если исключать из партии таких, как Реше-

¹ Близкие Леонида Сергеевича Решетова звали «Лешей».

тов, то надо сначала исключить всех остальных. Вы подумайте, что вы делаете?

И вот, после этого недавние противники стали снова брать слово и находить в Решетове все положительное и соответствующее моменту.

Короче, резолюция была такая: объявить выговор за потерю бдительности и послать на самый ответственный участок по борьбе с врагом народа.

Преыдущие два дня я мужественно держалась, чтобы поддерживать его, а тут, когда все закончилось как будто благополучно — заревела в голос, чем даже, кажется, обидела его. Будто бы не рада была такому благополучному исходу.

За полночь поужинали мы, распили на радостях бутылочку вина и улеглись спать, так как в 10 утра он должен был уже выехать в командировку по выявлению врагов народа.

В эту ночь я видела страшный, вещий сон, который запомнился мне на всю жизнь. В доме шум и крик: пришли злые волшебники и хватают людей. Вижу троих — они хватают жильцов нашего дома и бросают их в воду, всего семь человек. Те тонут, и только один поднялся и пошел по воде, как посуху, сказав: «Ничего, Господь милостив». Я видела его только в спину, с вещевым мешком за плечами (все последующие годы мне хотелось верить, что это был Алеша). После этого я увидела себя на перроне какого-то вокзала, забитого несметной толпой женщин, нагруженных мешками, чемоданами, узлами. Я все волновалась, что должен появиться поезд, а мы еще не купили билеты, но меня успокоили, что всех нас повезут без билетов.

10.10.37 г. утром я узнала, что этой ночью в нашем доме взяли семь человек.

Мы сели завтракать на кухне. В 10 часов утра за Лешей должна была прийти машина на вокзал. Кто-то постучал в дверь. Мне ответил Павел — наш дворник, попросил наш топор. Я открыла дверь, а там трое чекистов с дворником. Они сразу же: «Ваша комната, ваша жена?» Я чуть сознания не лишилась не оттого, что они пришли, а оттого, что этих людей я этой ночью ясно видела во сне: эти люди — все вплоть до одежды.

Обыск делали только в письменном столе, но зато сгребли все подчистую: даже все мои документы и все фото, даже детские; сказали, что потом разберутся и вернут. Забрали все фотоаппараты и две китайские бронзовые вазы ручной рабо-

ты, которым сейчас цены нет. Поводом для их изъятия послужил иероглиф на доньшке, напоминающий фашистскую свастику (весьма отдаленно). И они так и записали в протоколе: две вазы с изображением фашистской свастики.

Позднее я узнала у наших китайцев, что этот иероглиф означает нирвану — небытие.

Мама с детьми сидела на кухне, а мне велели собрать Леше необходимое. Он не хотел брать ничего лишнего, считая, что пробудет там не более недели. Хорошо, что я положила, кроме необходимого набора, теплый свитер и завернула все в двухспальное ватное одеяло. Все же на одну половину он мог лечь, а другой укрыться.

Попрощался со всеми, а в коридоре, у входной двери еще раз обнял меня, и последние слова его были: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не падай духом. Перемелется — мука будет». И ушел навсегда.

На улице накрапывал промозглый дождик, он шел ссутулясь под вещевым мешком, в своем стареньком рыжем бобриковым пальто, не ведая, что шагает в никуда...

В 10 утра за ним приехал Фетисов, с которым они вместе должны были ехать в командировку. Когда он узнал, что произошло, — побледнел, как мел, и лишился дара речи.

Я села с ним в машину и поехала в редакцию сообщить обо всем Вадиму, но он уже полчаса назад был отстранен от работы. Такая же участь постигла и меня. Дети остались без отца: Бетя — 1 год 10 месяцев, Алеша — 6 месяцев.

И так мы с Вадимом сделались безработными, и на работу нас никуда не брали. Я не могла устроиться даже уборщицей. Так было полгода, до марта 1938 года. А жить-то чем-то надо. Вот и стала ходить на барахолку, продавать все, что-то из тряпок, кроме Лешиных неприкосновенных вещей. Продала письменный стол с креслом, Алешину коляску, свои ручные часы (единственные в моей жизни — больше уже не завела). Кроме того, что нужны были деньги, — боялась, что опишут последнее, как это было принято.

На второй день после ареста Леша пришел комендант редакции и потребовал казенные вещи — кушетку и старый канцелярский шкаф, служивший нам шифоньером: боялся, что враги народа захватят социалистическую собственность.

В нашей полупустой комнате остались только полуторная кровать, детская кроватка, этажерка с книгами и обеденный стол.

Все это время я бегала по всем возможным и невозможным инстанциям в надежде узнать что-либо о Леше, но везде получила один ответ: «Вы враги народа, скажите спасибо, что вас еще носит земля».

Однажды в гастрономе я нос к носу столкнулась с его следователем Красильниковым, главным лицом при аресте. Я подошла к нему и сказала: «Товарищ Красильников, разрешите задать вам вопрос?» — «Слушаю вас», — сказал он и подошел ко мне. А когда услышал мой вопрос относительно Леша, сделал удивленное лицо и сказал: «Вы, гражданка, ошиблись, я не Красильников, а Меер — служащий банка, могу даже показать вам свой паспорт». Мне ничего не оставалось делать, как только с усмешкой сказать ему: «Первый раз в жизни вижу человека, который вынужден сам отказаться от себя».

Наш дом постепенно пустел. Из сорока квартир только три остались нетронутыми. По ночам стоял он темный и светились лишь несколько окон.

Помню, как первым из нашего дома взяли Чугунова — культурнейшего китайца из горкома нового алфавита. Это был безусловно одетый, безусловно вежливый человек совершенно европейского вида. Леша, узнав о его аресте, сказал с недоумением: «Подумать только, вот ведь как маскировался». А когда перед своим арестом он пришел вечером из редакции и рассказал мне, что в Свердловске застрелился, запутавшись с врагами народа, Костя Пшеницын, которого мы, владивостокские комсомольцы, просто боготворили, вид у него был совершенно подавленный, и он сказал, что теперь он уже ничего не понимает...

Буквально все знакомые, еще оставшиеся на свободе, затаились от нас и, встречаясь на улице, делали вид, что не видят нас.

На одного, самого близкого знакомого, я была очень обижена за такое отступничество, а вот теперь только узнала, что он позднее тоже был взят и расстрелян.

Расстраивал меня Бетуля: после обеда мы выходили с ним погулять. Выходили за ворота, садились на скамеечку, как раньше, когда встречали Лешу с работы, и он, помня это, радостно говорил мне: «Скоро папа придет...» Мне так хотелось считать эти слова вещами.

Была уже зима, и я каждое утро бегала к зданию НКВД. Близко подходить не разрешали, я стояла на противоположной стороне, смотрела на это страшное здание с намордника-

ми на всех многочисленных окнах, над которыми вились в морозное небо клубы пара, и пыталась угадать, над каким же окошком вьется его дыхание, чувствует ли он, что я стою так близко от него и так недосыгаемо.

В конце декабря мы с мамой затеяли генеральную стирку. Ванна была доверху заполнена замоченным бельем. Часов в 12 пришел мужик в коричневом кожаном пальто до пят и назвался комендантом Морозовым. Он безапелляционно заявил, чтобы к четырем часам мы были готовы с вещами, уже будут куда-то вывозить, а куда — нам как врагам народа знать не положено. Вывезем — тогда и узнаете.

Что делать, можно с ума сойти от неизвестности. На улице мороз страшный, ребята маленькие. Куда вывозят — в Соловки, на высылку — полная неизвестность, а тут еще укладывать ничего нельзя — белье мокрое.

Может быть, выручило то, что в таких непредсказуемых ситуациях я не теряю присутствия духа. Наоборот, у меня появляется особая энергия и сила. Думая, что вывозят из города, побежала в сберкассу, забрала деньги. Хотела телеграфировать Калинину (дура набитая) да не успела по времени. Прибежала домой, а там к нам пришла мамина приятельница Катя Любомудрова. Вот мы все и впряглись в работу. На всей кухне натянули веревки, нагрели докрасна плиту, наталкивая в нее сочинения Ленина (дров не было); я стираю, мама сушит, Катя гладит. В общем, справились со стиркой, уложились и стали ждать машину с комендантом.

Явился он, под хмельком, только в 10 часов вечера, и милостиво разрешил ложиться спать до утра. Утром соблаговолил сказать, что нас просто выселяют из дома и перевозят в новое жилье. Уговорила его разрешить оставить детскую кроватку (одну на двоих) в общей кухне, чтобы мама с детьми побыла там, пока я устроюсь на новом месте. Согласился с трудом, до следующего утра.

Машина со мной и бараклом заехала во двор соседнего Портового переулка (в ста метрах от нашего дома), подъехала к какой-то развалюхе, утонувшей в снегу по самую крышу, шофер сбросил вещи прямо в снег и укатил.

Вместе со мной прибыла и семья Хамфина из нашего дома, которых постигла такая же участь, как и нас, из-за отца, работавшего в редакции.

Разгребли снег, сбили амбарный замок с двери и вошли в помещение — комната метров 40 с множеством окон, заколо-

ченных досками из-за полного отсутствия стекол. Несмотря на утро, в комнате совершенно темно. Пол под ногами прогнил, доски качаются, посредине комнаты полуразрушенная плита, стены по углам отошли друг от друга, и в отверстия навалило снега. В общем, вид — хуже не придумаешь. Достаточно сказать, что сын Халфина, взрослый человек, сам отец, упал в свое кресло, закрыл лицо руками и заплакал чисто по-женски. Я же, поручив всем утепляться и обжигаться, побежала кормить Алешу. Алешка насосался досыта и сладко уснул у меня на руках, а я стала рассказывать маме о нашем новом жилье. Вдруг дверь в кухню распахнулась, и ворвалась молодая жена Халфина. Она только крикнула: «Ниночка, мы горим!» Я передала Алешу маме и, как была раздетая, бросилась бегом по лютому морозу спасать пожитки. Перед нашей хибарой стояла толпа народа и две пожарные машины. Я заметила у входа несколько чекистов.

Морозов бежал и кричал: «Сволочи! Враги народа! Нарочно подожгли!» А беда случилась из-за того, что интеллигентный Халфин понятия не имел о топке плиты, да еще разрушенной, а согреться было необходимо. Искры попали на чердак, и там загорелось, но настолько непригодно для жилья было это помещение, что пожарник, находившийся на чердаке, вдруг по пояс провалился через потолок и повис...

И все же нашелся и среди чекистов сознательный человек, он подозвал Морозова, отчитал его за издевательство над людьми и велел утром устроить нас по человечески. Халфины получили где-то комнату и уехали, а нас поселили в этом же дворе в бывшую квартиру Арсеньева.

Квартира: две комнатки по 6 квадратных метров, одна метров 20, общая кухня, маленькая застекленная верандочка. Никаких удобств, ни воды, ни канализации — все во дворе...

В квартире уже жили семьи арестованных. В одной комнатке — жена работника посольства в Харбине Тося Сердюк с маленькой дочкой Идой. Во второй комнатке — жена военного Ефросиния Карачевская с сыном Олегом, учеником 10 класса. В большой комнате — хозяйка всей квартиры (в прошлом) Евдокия Хохлова, жена работника Хабаровского НКВД. С ней жил сын Борис, хороший, красивый парень 17 лет. Маленькую годовалую дочурку Дуся увезла к родным в деревню, боясь своего ареста.

Вот эту комнату мы перегородили занавеской и стали жить на новом месте. Там уже стоял хозяйский обеденный стол, и

мы смогли поставить только свою кровать, на которой спали вчетвером: с одной стороны мама с Бетей, с другой я с Алешей. Когда приходил Вадим (мой брат), ему стелили под столом, больше места не было.

Так нигде и ничего не могла я узнать о Леше. Единственное, что разрешалось женам, — это передать раз в месяц 50 рублей, вложенные в конверт, и через несколько дней получить конверт обратно с распиской мужа о получении.

Эти дни передач были для нас днями надежд и огорчений, и все же ждали их с нетерпением и тревогой. По росписи пытались гадать о многом, и хотелось что-то прочесть в каждой букровке.

Процедура этой передачи была очень сложная, так как нас собиралось у здания НКВД буквально тысячная толпа, и, чтобы упорядочить эту громадную очередь, одна-две из инициативных женщин раздавали порядковые номера. Раздавались они ночью за два дня до передачи, и получившие их сразу же уходили домой, так как не разрешалось собираться большой толпой, да еще на виду у всех. Но, понятно, все спешили прийти первыми, чтобы поскорее сдать заветный конверт с деньгами. И, конечно, было много злоупотреблений с раздачей номерков: выдающий их старался первые номера оставить для своих знакомых. Учитывая все это, я решила эту миссию взять на себя. И вот на швейной машинке без ниток я прострочила бумажные полосы, чтобы легко было отрывать талончики с номерами, написанными зелеными чернилами, чтобы не было подделок, и, приняв ряд предупредительных мер, взяла раздачу номерков на себя. Правда, первую ночь приходилось проводить на морозе, а днем прятаться в каком-нибудь укромном местечке. На вторую ночь я отдавала оставшиеся номерки другой женщине и шла отсыпаться домой.

Сдача конвертов с деньгами шла медленно, так как принимавший их сверялся по огромной книге. И мы, подходя к окошечку, трепетали от страха: примут или нет? Если принимали, значит жив и еще здесь. Если не принимали, значит ушел в этап или из жизни. А бывали случаи, что прием денег прекращали, чтобы принудить подписать предъявленные обвинения, а потом снова начинали брать. Поэтому, несмотря на отказ, женщины продолжали упорно ходить, пока что-нибудь не прояснялось.

В феврале 1938 года я получила обратный конверт с такой распиской, что и ребенку было бы понятно: писавшему изобразить каждую букровку в ней стоило больших трудов...

13.04.1938 года Леша был осужден и в этот же день расстрелян. Я, понятно, не знала об этом и продолжала упорно ходить с передачей, пока то ли надоела принимающему, то ли он пожалел меня и сказал: «Не ходи, не ходи больше, вот смотри: выбыл он», — и показал книгу, в которой фамилия Леша была вычеркнута красным карандашом.

С тех пор неотступно мучили меня два вопроса: в чем его обвинили и где нашел он последний приют?

Все это я узнала только через 52 года.

ГРУЗИНСКИЕ КОРНИ ПОЭТА

Прадед

Георгий Нижарадзе — предводитель дворянства в городе Кутаиси. Хлебосольный, радушный хозяин. С утра во дворе подымался переполох, метались поварята, ловили кур, индюшек, стоял дым коромыслом — надо было обеспечить едой такую ораву. За стол никогда не садилось меньше двадцати человек. Одних детей девять человек, а если гостей было мало, прадед считал день потерянным. После ужина садились играть в преферанс, гостей оставляли ночевать, а утром все начиналось сначала. Одни гости уходили, другие приходили, и так без конца. Воды в доме никто не пил, везде стояли кувшины с молодым вином. Во дворе было закопано пять огромных кувшинов.

Прадед был ужасный паникер. Вот два примера.

Если куда-нибудь должен был ехать, например, вечером в 10 часов, то в 8 часов он уже торжественно, опершись о палку, сидел на станционной скамеечке. Когда его спрашивали, зачем он себя мучает, ведь поезд придет только вечером, он отвечал: «А черт его знает. Вдруг надумает придти раньше... Так вернее».

В Кутаиси ждали приезда царя. Готовились к этому событию кто как мог. Закладывали имения, влезали в неоплатные

долги, чтобы сделать женам небывалые туалеты. Некоторые дамы доходили до того, что золотом расшивали свои панталоны. А прабабушка, красавица, была на этом приеме в своем обычном национальном костюме (европейского платья она никогда не носила). И случилось невероятное для всех — царь протанцевал какой-то танец именно с ней, после чего прадед чуть с ума не сошел от страха. Дома он рвал на себе волосы, бегал по комнате и кричал: «Что ты наделала? Погубила, погубила. Пропал я теперь, пропал... Сейчас заберут меня — вай мне...»

Прабабушка

Княгиня Нина, урожденная Церетели — владелица марганцовых рудников. Знаю о ней только, что была она очень красивая, спокойная, умная, прекрасная мать большого семейства: четыре дочери и пятеро сыновей, из которых я знаю кое-что только о самом любимом сыне — Датику. Об остальных я ничего не помню. Видимо, они были совсем маленькие, и о них еще нечего было рассказывать.

Дочери

Александра — моя бабушка (баба Саша).

Соня — обладала чудесным голосом. Бабушка говорила, что из лучших певиц того времени ей не было равных.

Маша — самая красивая, а замуж вышла против воли родных и очень неудачно.

Елена — семнадцатилетняя убежала из дома с офицером, и говорить о ней никому не разрешалось, она была предана полному забвению.

С годами семья распалась. Прадеда парализовало, он всех замучил всякими причудами и, пролежав очень долго, умер. Дети подросли и разошлись кто куда. Прабабушка со своими рудниками разорилась, и последнее время жила в деревне, в своем поместье с любимым сыном — юристом Датику. Оба они без памяти любили: она свою внучку, а он племянницу Люлюсю (мою маму), и совсем ее избаловали.

В детстве и молодости я беспредельно любила четырех человек: бабу Сашу, маму, Вадима и Валентина. После замужества к ним прибавились Леша (муж), Бетя и Алеша, а к старости — Оленька.

Баба Саша (Александра Георгиевна)

По окончании института благородных девиц, Саша Нижарадзе стала Александрой Георгиевной Петровой, выйдя замуж за моего деда-офицера Александра Дмитриевича. Друг друга они называли Сашами, а я и Вадим никогда не называли их бабушкой и дедушкой. Мы называли их, как все дети в доме, мама и папа. Только баба Саша была мама большая, а наша — мама маленькая. Тетю с дядей тоже не удостаивали их звания, а называли просто по именам. Так это и осталось на всю жизнь. В то время на Кавказе шла татаро-армянская резня, и дедушкин полк был послан на усмирение и стоял близ Еревана, в местечке Азургети. Там и родился их первенец — ненаглядная Люлюсенька, моя матушка. Потом посыпались ребята один за другим: Жоржик, Миша, Кукуля. Я только в тринадцать лет узнала, что звали его Дмитрием. В 26 лет он умер в Харбине от туберкулеза... Следом появилась на свет Нина, названная этим именем бабой Сашей в честь своей матери (а потом и меня называли в ее честь и, таким образом, в нашем роду три Нины). Предпоследним был Петя, балбес и неслух, любимец бабы Саши, а последний — Котэ (Костя), говорят, самый красивый ребенок, но он умер десяти месяцев от дизентерии, в то самое время, когда семья на линейке (экипаже) переезжала через границу на новое место. И, чтобы не было задержки из-за мертвого тела, убитая горем баба Саша держала его завернутого на руках, делая вид, что укачивает его.

Деда часто перебрасывали с места на место, и дети, общаясь с местными ребятами, прекрасно болтали на четырех языках: грузинском, армянском, татарском и, конечно, русском. С годами эти языки были забыты, но грузинский так прочно переплелся с русским, что мы с Вадимом в детстве считали их единым языком.

Баба Саша хорошо играла на фортепьяно, владела французским и отлично знала отечественную и зарубежную литературу. Боготворила Пушкина и могла наизусть читать почти всего «Евгения Онегина».

Она была великой любительницей книг и книгочеей и вообще не могла пропустить никакого печатного текста. Вот, даже принесет с базара какую-нибудь попку, завернутую в обрывок газеты, и тут же обязательно прочтет.

Я так и вижу ее в пенсне, с папироской и газетой в руках. Помню, я ей очень завидовала и присаживалась у ее ног на маленькой скамеечке, посадив верхом на нос шпильку вместо пенсне, скрутив из бумажки подобие папиросы, а газету держала большей частью вверх ногами. Так мы с ней проводили послеобеденное время.

Готовить баба Саша совсем не умела, да и кто бы научил ее этому? Всегда было, кому готовить... Единственное, что она все-таки готовила классически — хаурму (подобие рагу), деликатесами занимался дед, великий кулинар.

Всякие уборки-приборки она не очень-то жаловала, а вот веник из рук почти не выпускала — без конца что-то выметала, и не признавала потертых веников. На нее даже рисовали карикатуру: баба идет с рейсового парохода, и из ее хозяйственной сумки обязательно торчит хвост осетра и новый веник.

Она была полная (три подбородка); будучи моложе, когда собиралась в гости, надевала корсет, чтобы стянуть на нем завязки, горничная или муж коленом упиралась ей в спину. Потом, придя домой, развяжет корсет и блаженствует: «Уф-ф-ф!..» А на теле отпечатаны следы от дырочек и завязок (крест на крест, как кружево).

Баба Саша, несмотря на большую семью, в смысле духовного общения, была одинока. Дети повзростали, у них свои интересы, своя жизнь. Память у нее была необыкновенная, и она нашла в нас с Вадимом благодарных и ненасытных слушателей. Благодаря ей, мы в шесть-семь лет неоднократно прочли «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя, «Тараса Бульбу», все стихи Пушкина и Лермонтова (хотя и не все нам было понятно). Вадим с Петькой дразнили меня, называли Фетой потому, что я не расставалась с двумя томиками стихов Фета и читала их даже перед сном в постели. Она учила нас французскому и говорила, что у меня настоящее прекрасное французское произношение.

Дома бабушка ходила обычно в широком длинном капоте — с кокеткой на пуговицах, в пенсне, с папироской во рту и обязательно с какой-нибудь книгой в руке. Излюбленный фасон для многих ее платьев назывался «бегеткой». Бабу Сашу хлебом не корми, а подавай развлечения. Не пропускала в клубе ни одного кино, спектакля, концерта. Очень любила ходить в гости к своим приятельницам, и я, как Бобик, таскалась всюду за ней. Баба Саша была очень хорошая, и я ее очень любила, она нас тоже и переживала за нас страшно...

Спать нас всегда укладывала баба Саша и, кроме бесчисленных сказок и доступных анекдотов (преимущественно солдатских и про Конто), могла, увлекшись, рассказать и не совсем приличный, но, спохватившись, просила нас никому об этом не говорить.

Иногда она садилась за пианино, играла и напевала, совершенно немыслимые в настоящее время песенки. Вот, например, из ее репертуара:

Когда собаки две грызутся —
Чужая к ним не приставай...
Но если муж с женой дерутся —
Благодарю, не ожидал!..

Или вот:

Раз пастушка здесь жила,
Рыбака с ума свела. (И так далее)

Еще:

В шестнадцать лет я развилась,
И не играла в куклы я,
Но сердце мое сильно билось
При звуках песен соловья.
Заметив эту перемену,
Маман твердит:
— Не жди добра...
Пора пристроить нашу Нину,
Пора, пора, пора, пора...

Нам с Вадимом очень нравилось.

И еще она была ужасной паникершей. Видно, унаследовала эту черту у своего батюшки. Главным объектом вечных страхов и волнений был Петька. По ее убеждению, он несколько раз на дню должен был утонуть в Лиде, заблудиться в лесу и вообще пропасть. Она подымала на ноги весь дом, кричала, причитала по-грузински: «Принесите мне его живого или мертвого!..», а когда он заявлялся домой, набрасывалась на него со страшной грузинской руганью. Между прочим, ругала она изо всех сил только его и деда, и всегда по-грузински.

Со снохами бабе не повезло: Жоржик женился на огненно-рыжей, очень некрасивой девушке Кате Козловской. Через два дня после свадьбы баба пошла к ним и вернулась вся в слезах:

— Подумай, она, рыжая, лежит на диване, а Жожик моет пол!

Но, видно, интересный и умный Жоржик нашел что-то в своей некрасивой Кате, так как они прожили в полном согласии и любви очень долгую жизнь. (В настоящее время Жоржик живет в США, штат Калифорния, г. Сан-Франциско.)

А вторая сноха — Петина жена, староверка Люба, действительно оказалась змеей подколенной. Она выгнала бабу Сашу из ее же квартиры и завладела ею полностью, а баба Саша ушла жить к Нине, которая сама ютилась в уголке у приятельницы. После моего ареста бабу привезли к нам в Хабаровск, где она и жила последние годы с мамой и ребятами. К этому времени она стала такой худенькой и маленькой, как девочка-подросток, у нее парализовало ногу, и она уже не вставала с постели. Умерла она под 8 марта 1940 года. Хоронили ее вдвоем: мама и Валентин. В это страшное для нее время не смогли ей сделать крест, лежит она в безымянной могиле на Хабаровском кладбище, не зная, что где-то рядом с ней лежат Вадим и Леша...

Дедушка **(Александр Дмитриевич Петров,** **муж бабы Саши)**

Дедушка был очень набожным человеком. Он, пожалуй, один в семье соблюдал все церковные праздники и посты. До армии он получил высшее образование, что-то связанное с топографией. Потом он был человеком военным, вышел в отставку генералом. У него хранилась сабля, подаренная ему солдатами, где было написано: «Отцу родному».

Дедушка был очень добрый и тихий человек. Любил разводить всякие цветы, фрукты, овощи. Один раз я съела у него (семена или рассаду?) каких-то редких дынь, которые ему специально привезли. Он рассердился очень, но наказывать не стал. Вообще нас в детстве не наказывали.

Он хорошо готовил, а бабушка была бесхозяйственная, готовила только хаурму (типа рагу) и узвар (компот). В голодное время дедушка каждый день готовил один и тот же суп из пшена и сушеной рыбки, мелкой, которую связывали по пять штук хвостиками и опускали в суп. В доме был запас этой рыбки. В комнате, где она лежала, был запах свежих огурцов. Пшено покупали на рынке стаканами. Тогда все брали стака-

нами и поштучно (яйца, помидоры). Весовая система была не принята.

Последние годы жизни, особенно два последних, дедушка почти не вставал из-за одышки, боялся шаг сделать. И баба Саша, когда приходила с базара или еще откуда-нибудь, спрашивала дедушку:

— А ты все сидишь?

Она его так всегда спрашивала, как будто за время ее отсутствия что-то могло измениться.

Баба Оля

(Ольга Александровна Павчинская, мать Нины Вадимовны и Вадима Вадимовича)

Мама родилась в 1894 году в Грузии, город Азургети.

Умерла 29.04.1981 года в городе Березники, Пермской области.

Причина смерти — рак желудка. Прожила 87 лет. Старшая дочь Александры Георгиевны Нижарадзе и Александра Дмитриевича Петрова.

Сама я родилась в 1914 году, когда отец ушел на войну, а когда он вернулся, они с мамой больше вместе не жили — сразу разошлись.

Мои собственные дети остались без отца в таком возрасте, что не могут его даже помнить: Бете было год десять месяцев, а Алеше шесть месяцев. Бетина дочка Оленька родилась в день кремации своего отца. Так что безотцовщина в нашем роду с самых ранних лет.

Мама (баба Оля) больше любила моего старшего брата Вадима, а меня — так... Вообще она была очень общительная, веселая. Легким она человеком была, легко с ней было, беспечный, что ли, характер... Она с любым человеком могла тему для разговора найти, со всеми была приветливой. Когда мы были маленькими, она была еще очень молодая, интересная — хотелось пожить для себя. Так что нас воспитывала в основном бабушка Саша.

В 1938 году на ее руках остались два маленьких внука — после ареста их родителей... До 1945 года она жила с внуками в Хабаровске, уехала в Боровск (под Соликамском), потом в Березники, где баба Оля и скончалась.

До этого она жила во Владивостоке, часто навещалась в Хабаровск.

ВТОРАЯ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ С ГРУЗИЕЙ

В «Пережитом» Акакия Церетели есть такое упоминание: «Сын Григола Церетели, отец Нестора Церетели, Дмитрий воспитывался в России. Вскоре после возвращения он женился на богатой наследнице Нижарадзе из деревни Опшиквити. Нижарадзе и «призятили» Дмитрия».

Из писем в Березники от Анны Романовны Павчинской (жены Вадима Вадимовича, брата Нины Вадимовны — мамы Алеши Решетова) Решетовым Алеше и Нине Вадимовне.

26.03.1990 год: «...Будучи на юге, я случайно разговорилась с писателями из Тбилиси. Они помнили прежнего редактора «Заря Востока» Николая Владимировича Павчинского (дядя Нины и Вадима Павчинских), очень хорошо о нем отзывались. Я рассказала о бабушке Вадима — Нижарадзе, это очень известный давний грузинский дворянский род.

...Нина, ты помнишь о книге вашего с Вадимом отца (Вадима Владимировича Павчинского, брата Николая Владимировича, автора книги «На перепутье»)? Я никогда (книгу) не видела. Видимо, она до меня еще исчезла в те тяжелые годы, когда бесследно терялись не только книги, но и люди. Единственно, что я помню, как сразу после кончины Вадима ко мне обращался В. В. Ноэль (псевдоним Вадима Владимировича Павчинского — отца Нины Вадимовны)».

27.05.1987 год: «...Переписываюсь со многими Павчинскими. Еще при жизни Вадима ему писали из Тбилиси тетя Нина и Николай Владимирович — бывший редактор «Зари Востока», и его жена. Оба они умерли еще при Вадиме. В Киеве жил еще один брат отца Вадима — Петр Павчинский (умер в 1959 году). Теперь там остались два сына Петра Владимировича — Сергей и Владимир.

Нина, если ты помнишь, напиши, пожалуйста, в каком году и где родился Вадим Владимирович (ваш отец). Его брат Николай Владимирович родился в Житомире в 1888 году. У нас есть вырезка из «Звезды Востока» о его кончине».

Письмо без даты. От жены брата бабы Оли (Жоржика) — Кати: «Дорогая, наша родная Люлюся. Какое счастье, что спустя сорок с лишним лет мы узнали, что ты жива. Надеюсь, ты не откажешься писать нам о всех, то есть о маме, Нине с Эдуардом Карловичем и Валентине, Мине и Пете с семьей и о маленькой Ниночке, которая уже далеко не маленькая. Бедный Жоржик так хотел узнать что-либо о вас всех, но сколько мы ни пытались — ничего не могли узнать. Из адресного стола я получила ответ, что Вадя (брат Нины Вадимовны — Вадим Вадимович Павчинский) в Хабаровске. Случайно узнала из газеты, где под карикатурами была его подпись — это было в 45 году. Мы просили уезжающих туда навести справки, но никто нам не ответил, так что потеряли надежду, и, уже спустя столько лет, один знакомый обещал нам помочь через своего родственника. И вот чудо — теперь с нетерпением будем ждать весточку от тебя, а когда получим, тогда я более подробно опишу жизнь здесь. Жорик, бедняжка, болеет, только собрался выйти на пенсию и отдохнуть, как начались беды. У него был легкий удар из-за тромба в мозговом сосуде, правда паралича не было, только вялость в левой руке и ноге, которая через четыре дня прошла. Но с тех пор через каждые два месяца стал происходить припадок в виде эпилепсии, и вот лечится, припадки пока не повторяются, но очень болит рука. И из-за того, что врачи не обращали на это внимание, она у него стала неподвижной в плече, но теперь, после прогревания и усиленной физиотерапии, понемногу начинает отходить.

Я потеряла своих родных: Зиночка умерла от рака печени в 1952 году, Илодор Петров умер от сердечной астмы в 57 году, а Танечка живет одна в Chile, замуж не вышла, так как посвятила свою жизнь родителям, а теперь уж не так легко — появилась привычка к одиночеству. Она приезжала к нам повидаться — и это спустя двадцать пять лет разлуки. Коля умер в 1954 году в Мордовской ССР, я не знаю даже, где он похоронен, у него осталась семья — жена и трое детей, теперь уже взрослых.

Сын наш, Лелик, женат, имеет двух сыновей, которых мы с Жориком обожаем, у Лелика хорошая жена, и они счастливы. Я еще продолжаю работать, так как мне еще не исполнилось 65-ти лет. Боремся за здоровье Жорика, конечно, жить вечно невозможно, но очень бы хотелось еще пожить вместе, что получится, еще не знаем. Посылаю тебе наши

карточки, правда, это снимки были в 1946 году, но все же они напомнят тебе нас, а вот Вадя нас забыл, я ему посылаю фотокарточку — его и Ниночки, которая сохранилась у меня, может быть, он перешлет ее тебе. Не знаю, дорогая, как тебе удобнее писать — на наш адрес, или же через Вадю, или через родственника нашего знакомого Егунова. Сделай так, как тебе удобнее. Целуем и любим тебя и всегда вспоминаем, твои Жорик и Катя.

Дорогой Вадя, посылаю тебе карточку твою и Ниночки, когда вы были еще детьми — это в доказательство, что мы не самозванцы. Карточку можешь оставить у себя или перешли маме, ей будет приятно получить ее. Очень бы хотелось иметь твою книгу. Если можешь, пришли ее нам и порадуем стариков. Можно послать через Егунова, если почему-то прямо на нас неудобно. Пока всего хорошего.

Жорж и Катя Петровы».

Подготовлено к публикации Т. П. Катаевой.

ТОГДА, В БЕРЕЗНИКАХ...

Расширены глаза, как у детей,
Попробуй жить и не растратить крови,
Переживая тысячи смертей
И чьих-то несложившихся Любостей.

Алексей Решетов («Поэты», 1964 г.)

Жизнь и творчество Алексея Решетова были предопределены гибелью старшего брата. Не погибни он, все могло бы пойти по-другому, несмотря на то, что пришлось пережить семье Решетовых до его смерти. Слишком ранний опыт познания ужасов жизни и ее скорби — арест отца и матери, круглое сиротство с полутора лет Бетала и с полугода Алеши — сгладилось бы, наверное, ожиданием лучшего с той поры, когда бабушка Оля в 1945 году привезла их из Хабаровска в Соликамск, где отбывала свой срок мама.

Просвет наступил с выходом ее на волю, и Решетовы навсегда осели в Березниках. Теперь все держалось на матери, на неунывающей Нине Вадимовне, еще молодой, красивой, умной. Ей, настрадавшейся в лагерях, вольная жизнь в любом проявлении казалась сущим раем. Главное — они вместе, и еще важно, что им выдали участок под картошку. Правда, у них не было отца, но Нина Вадимовна еще в 1937 году в Хабаровске по слухам знала, что мужа расстреляли на старом кладбище. Тем не менее, она его ждала. После лагеря ей дважды предлагали руку и сердце солидные овдовевшие мужчины, но каждый раз препятствием к согласию была мысль, а вдруг Леня жив и разыщет их, что тогда, как она посмотрит ему в глаза, что скажет детям?

В их семье все были талантливы. Они не жаждали благосостояния, карьеры, а дорожили тем, что имеет смысл и значение.

Или:

Я много раз рождался и старел,
Я на высоком пламени горел.
Ты молодá, а на мое чело
Извечное страдание легло.

Стихов, где присутствует огонь, у Алексея много. Решетов горел на высоком пламени и в переносном... и в прямом смысле...

А Бетал оказался первым умершим, которого хоронили в Березниках в погребальной урне, потому на его похороны собрался весь город. Люди заполнили площадь перед домом Решетовых. Любопытствующая толпа, сама того не ведая, еще больше усугубила горе родных.

В октябре 2002 года такое же скопление людей образовалось на той же площади в ожидании выноса из Дворца культуры калийщиков урны с прахом самого поэта Алексея Решетова.

А чуть позже администрация Березников примет решение именовать впредь эту площадь, через которую более тридцати лет ходил на работу в горный цех первого рудоуправления Алексей, площадью имени Решетова.

С Алексеем Решетовым мы встретились в 1961 году в Березниках, когда по заданию редакции газеты «Молодая гвардия» я поехал готовить целевой номер, посвященный городской комсомольской организации. В нем нужно было представить и молодых поэтов, и, главное, Решетова, у которого годом раньше вышел первый сборник стихов «Нежность». До него еще никто из березниковцев не издавал книги стихов.

Встреча наша произошла возле Дворца культуры калийщиков, рядом с его домом. Алеша показался мне застенчивым и робким. Когда я попросил у него стихи для газеты, он ответил:

— А вы лучше напечатайте Витю Болотова. У него стихи — не то что мои, а не печатают... И зря. Он учится на третьем курсе Литинститута и работает в многотиражке титано-магниевого комбината.

Я обрадовался новому автору, записал о нем все, что рассказал Алеша, но настоял, чтобы Алексей все-таки тоже принес мне несколько своих стихотворений. Он сходил за ними домой и проводил меня до троллейбусной остановки.

В 1963 году по заданию уже другой редакции, газеты «Звезда», я приехал на строительную площадку Второго калийного рудоуправления, находившуюся на пятнадцатой версте от

Березников. Была зима. Падал густой снег, крупный и пушистый, как гусиный пух. Меня обогнали парни в шахтерских касках. Я долго глядел им вслед, жалея, что меня нет среди них. Чуть позже в моей трудовой книжке появилась запись: «Принят на должность монтажника», а через несколько месяцев: «Переведен учеником проходчика вертикальных стволов». Немного спустя, мне дали пятый разряд.

Жил я, снимая, угол в старинной деревне Круглый Рудник, состоявшей из одной улицы и двух переулков. Слева ее огибала речка Зырянка с хитрющими неуловимыми хариусами, а справа вдоль деревни тянулся овраг с бурлящими ключами, родившими родниковую речушку, далее за оврагом шли колхозные поля и березовые сколки.

Бригада проходчиков, в которой я трудился, начала бить первый ствол на стройке. Мы пробивались сквозь мергеля и крепкие, как гранит, песчаники строго вертикально на глубину пятисот метров, где залегали пласты силвинита.

Проходка велась круглосуточно, посменно, продолжительностью шесть часов. В рабочие дни я никак не мог вырваться в Березники, настолько уставал, и лишь в пересменку мне удавалось встретиться с Решетовым, и то, если у нас совпадали выходные. Но и в те редкие встречи мы постепенно узнавали друг о друге подробности из нашего сиротского детства, о том, что в 10 лет у меня погибла мать, а у него в полгода — отец, что его мать и мой отец очутились в одном лагере в Соликамске, хотя их арестовывали в разных концах страны — кого на Украине, кого — на Дальнем Востоке. Вот уж истинно неисповедимы пути Господни!

Эти-то неисповедимые пути и сблизили нас с Алешей, таких разных, но с одинаковой судьбой. Решетовы меня приняли, как родного. В мой приезд Нина Вадимовна накрывала стол в своей большой комнате, а когда к вечеру я собирался уезжать к себе в деревню, все трое — Алеша с бабушкой и мамой наперебой предлагали мне остаться ночевать. В те же дни Алексей подарил мне свой первый сборник стихов «Нежность» с такой дарственной надписью: «Вова, родной — долго со мной дружи — это моя просьба корыстная: Алеша Решетов!», а внизу вместо даты дарения в скобках был назван день: пятница.

Прочитав эту трогательную надпись, я понял, как Алеша одинок, и мне искренне захотелось быть ему другом, а друг — это другое «я», как верно сказал отец Павел (Флоренский).

Позже у Решетова будет много друзей, большей частью в Перми, очерченных стихотворной строкой Виктора Болотова.

Определился круг знакомых.
Загадочный, по сути, круг.
В каких он выписан законах,
Но вот —
Определился вдруг!

В этот круг входили детский писатель Лев Давыдычев, Алексей Решетов, поэт Виктор Болотов, редактор книжного издательства Надежда Гашева и ее муж поэт Борис Гашев, детская писательница Ирина Христюлова, прозаики Роберт Белов, Геннадий Солодников и Дмитрий Ризов, кинорежиссер Григорий Мещеряков и сценарист Виктор Соснин, березниковские поэты Павел Петухов и Юрий Марков, и автор этих строк.

К сожалению, Решетов редко бывал в нашем кругу, он жил на отшибе, в Березниках, разве только, когда приезжал в Пермь, или кто-то из нас навещался к нему. Павла же Петухова и Юрия Маркова, рыцарски преданных Решетову, бабушка Оля и Нина Вадимовна не очень-то жаловали и неохотно отпускали к ним Алешу из-за того, что такие встречи сопровождалась выпивками, а в городе вечерами было неспокойно. Мне же, в мое пребывание в Березниках, когда бы я не спрашивал Нину Вадимовну, можно ли нам с Алешей уехать на выходные дни ко мне в деревню или пойти в город, она отвечала:

— Володя, с вами — хоть куда! А с другими — ни в какую!

Такой чересчур строгий режим, установленный для Алексея бабушкой и матерью, предопределен, как уже было сказано, гибелью Бетала, страхом за жизнь единственного внука и сына. Сугубая эта боязнь усиливалась еще тем, что Алексей постоянно влипал в какие-то скверные истории, а для более точного определения, позаимствую строку у Беллы Ахмадулиной, — «как мальчик, попадал в беду». За ним словно увязывались несчастья.

Как-то Алексей пошел покупать бабушке лекарство. Возле аптеки на тротуаре лежал мужчина, мимо которого проходили люди, не обращая на него внимания. И только Решетову понадобилось выяснить, что с ним. Пока он нащупывал пульс, подъехала вызванная кем-то машина. Как только из нее вышли два милиционера, какая-то женщина-дура, не разобравшись, закричала, показывая на Алешу:

— Это он его убил!

Милиционеры схватили Алешу. Один заламывает руки, другой шарит по карманам, находит удостоверение члена Союза писателей, читает его и, буквально вздохнув, злорадствует:

— А-а-а! Достоевский-Шолохов попался!

Алексея заталкивают в машину и вместе с пришедшим в себя мужчиной увозят.

Эту сцену наблюдала женщина, знавшая Решетовых, позвонила Нине Вадимовне, та бросилась к первому секретарю горкома партии Кондратову, который недавно возглавлял горный цех и знал хорошо начальника молодежной смены Решетова. Он-то и вызволил Алексея из милиции.

В другой раз Алексей заступился за пьяного ветерана войны, с которым милиционеры обошлись грубо, и сам вместе с ним загремел в вытрезвитель, хотя был трезв, как стеклышко. Еще, в другой раз, попытался спасти от живодеров бездомную собаку и был избит. И так — постоянно. Не удивительны опасения за Алешу в семье...

1963 год мог стать для Алексея переломным. В его жизни произошло несколько приятных событий. В Пермском книжном издательстве вышла повесть «Зернышки спелых яблок». Готовилось повторное издание книги стихов «Белый лист». Двадцать одно стихотворение этого сборника было написано в 1963 году, многие из них вошли в золотой фонд решетовских творений, определивших незаурядный талант поэта и оставшихся навсегда в памяти читателей. Это «Белый лист», «Убитым хочется дышать», «Мы в детстве были много откровенней», «Светолюбивы женщины», «Шахматы», «Первобытные девчонки», «Уж если я умру и не воскресну», «Когда музеи закрывают» и другие.

Стихи писались вдохновенно. Только так могли родиться изящные строки:

И полон веры, полон торжества
Тот миг, когда естественно и просто
Приходят вдохновенные слова
На лист, необитаемый, как остров.

В том же 1963 году в жизни Алексея появилась возлюбленная. Вполне возможно, что это она вдохновила его на такое яркое стихотворение, адресованное ей.

Я встреч с тобой боюсь, а не разлук.
Разлуки нас с тобой не разлучают:
Во тьме ночей и в путанице вьюг
Мои глаза твой профиль различают.

Но вот ты рядом. Листья и цветы
На легком платье у тебя весною.
О, как чиста, о, как прекрасна ты,
Какая даль между тобой и мною!

Какая даль — без края и конца!
О снежная жестокость расстояний —
Ни огонька, ни милого лица,
Ни наших встреч, ни наших расставаний.

В этих стихах молодого Решетова — признание в любви Вере Нестеровой.

Алеша познакомился с ней в своем родном горнохимическом техникуме, куда его пригласили на встречу с учащимися и где училась Вера. Было ей в ту пору 16 лет. Тогда же увидел я ее и у себя в деревне, куда она приехала вместе с Алексеем. Красивая. Она же, мне кажется, в своем юном возрасте себя таковой не считала или не придавала своей внешности особого значения, была душевно занята чем-то другим, более важным. Позже я узнал, что Вера пишет стихи.

Я радовался, что они нашли друг друга. Казалось, вот-вот кончится Алешино одиночество, и он, наконец, выйдет из угнетенного состояния, в которое его завела кончина брата. Но напрасно я так думал... Нерешительностью Алексея, его робостью воспользовался наш общий друг Виктор Болотов, которому Вера тоже нравилась. В ту пору он оправдывался перед нами тем, будто Алексей сам толкнул Веру в его объятия. Тогда мне верилось, что это так и есть, но теперь, когда стали известны письма Виктора к Вере, все видится иначе: Виктор вероломно, решительно и настырно вторгся в их еще не окрепшую дружбу.

«Вера! Вера!

Ты слышишь меня?

Если ты хоть капельку любишь меня, приезжай сюда. Нам дадут комнату. Я уже все детали обговорил. Мы поженемся — так должна кончиться, вернее, начаться сказка о

принце и Прекрасной Принцессе, в противном случае, в мире будет одной несправедливостью больше.

Или тебе больше нравится Алеша?

23 июня 1963 года. Березники».

Любимый нами Виктор торопился. Осенью ему предстояло идти в армию, потому он действовал по-военному: главное, ввязаться в бой, а там — видно будет.

Виктор был бесспорно влюблен. Его письма к Вере восхищательны. Не зря Борис Пастернак написал: «Любимая, жуть, когда любит поэт!»

В октябре 1964 года Вера приехала к нему во Владивосток, где он служил в армии. Они поженились, сыграли свадьбу, Виктор писал матери Веры: «*Я проникаюсь глубокой благодарностью к Вам, Екатерина Сергеевна, за Вашу прекрасную Веру, за мою прекрасную Веру... И знайте: мы с ней счастливы, как никто в этом мире. Иногда мне кажется, что все это сон...*»

В 1965 году Вера вернулась в Пермь из-за возникшей трудности: нечем было платить за снимаемую комнату. И вослед ей прилетело письмо.

«Милая Вера!

Только что исчез твой голос из моей комнаты. А мне стало так тяжело, как уже давно не бывало. Я не встречал людей светлее и лучше, чем ты, и, боюсь, что не встречу. Пишу это и так горько, горько — я представляю, как ты мило (только ты так умеешь) улыбаешься своими вечно изумленными глазами, читая эти строчки, и не веришь ни слову.

...Я люблю тебя. И так, как я люблю, тебя уже никто не полюбит.

Помнишь вокзал? Я тогда был не в себе, я болтал всякую чушь: меня обуюла вовсе не свойственная мне застенчивость. А когда ты махала мне рукой, во мне возникли стихи, возьми их, это тебе.

Ты — вдали.

Ты мне машешь рукой.

Ты светло удаляешься,

Будто —

За изгиб уходящей рекой,

Иль звездой,

Заходящей под утро.

Да, прощай. Это — просто.

Прощай.

*И следы твои росы омыли. Повстречаю тебя невзначай
Как явление в естественном мире. И природа затихнет,
чиста. Будет смыслом ее и значеньем И святая твоя про-
стога, И души твоей светлой свеченьем».*

Это были, пожалуй, самые счастливые годы в жизни Викто-
ра. Он отбывал воинскую обязанность, а в Перми секретарь
писательской организации Л. И. Давыдычев готовил к изда-
нию его первый поэтический сборник. Он служил на Тихом
океане, а к нему в такую даль приехала девятнадцатилетняя
девушка и стала его женой. Разве это не счастье?

Но как же будет не похожа их дальнейшая жизнь на первый
медовый год во Владивостоке! И все из-за того, что творческая
судьба Болотова начнет складываться более трудно, чем, ска-
жем, судьба Алексея Решетова, хотя и его удел был нелегок.
Но об этом — по ходу событий.

В феврале 1965 года я ушел с проходки, и, при отъезде в
Пермь, Алексей передал мне двадцать стихотворений Веры
Нестеровой, переписанных его рукой, видимо, в подвернув-
шееся свободное на работе время, на оборотной стороне слу-
жебных бланков отдела капитального строительства калийно-
го комбината. Кроме них, три стихотворения были написаны
самой Верой, одно из которых, «Хан Батый», с моими инициа-
лами «В. М.», посвящалось мне.

Не приведи судьба мечтать,
Как Бату-хан десятилетний.
И алой бурей проскакать
Под стоны нескольких столетий...

С моим возвращением в Пермь начнется наша переписка.
В письмах ко мне Алеша еще долго писал о Вере и ее стихах.

«Дорогой Володя!

*Спасибо тебе за поздравление в черный день моего торже-
ства. Прими и ты мое пожелание всего, чего тебе охота, в
свой день рождения. Будь счастлив, пора у нас быть им.*

*Иру я не видел еще, это мудрено с моими предками. Боят-
ся, что потеряю девственность. Увы мне. Ругаемся по поводу
эмансипации круглые сутки. Бабка стала невозможной.
Одна надежда — подсохнет грязь, буду ходить в лес по ра-
дости.*

*Вера прислала несколько стихов — сила, и я рад, что она
нас давно переплюнула. Поет импрессионизм, Гоген (Слово
«Моне» зачеркнуто. — В. М.).*

*А я в своем зеленом доме
В одежде легкой, голубой,
Как будто цапля в водоеме,
Стою с поникшей головой.*

(Эти же стихи Алексей, возможно, посылал Виктору и писал о них, или Вера сама отправляла их с отзывом Решетова. Это видно в ответе Виктора Вере, который почти дословно повторяет мнение Алексея: «*Стихи твои (Моне, Гоген) меня умилили — в них действительно есть и Моне, и Гоген. Хотелось бы еще, пожалуй, больше вещности. Но, может быть, это бы испортило. А сейчас в них солнечный свет и грусть — синяя! — импрессионизма!*» — В. М.)

Это письмо, возможно, передаст тебе Юра Марков, или получишь по почте. Послушай Юрины песни «Не будьте прохожих» и «Песни-песни».

А Веру хватит держать в черном теле, надо ее печатать, я убежден в этом. Это уже не для нее важно, а для тех, кто любит стихи. Я, видно, долго не буду писать — несколько раз пробовал — ни в дугу.

...Слава Богу, выскочил Болт (Пока Виктор служил во флоте, в Перми вышел первый сборник его стихов «Наедине с людьми». «Болт» — так звали Болотова его друзья. — В. М.) Пришли 1, 2, 3, 4, 5 и так далее его книжек, пожалуйста. Пиши, звони. Я тебе ничего не могу подарить сейчас, кроме своей души и ? Нобелевской будущей премии. Выплю за твой путь и здоровье при первой оказии. Живи долго.

Спасибо тебе за Заболоцкого, которого с наслаждением читаю. Валерианка, камфора, на сердце от него легче. Трудно лишь в том отношении, что видишь — сам перед ним карлик, ж...а, прикинувшаяся соловьем.

Грустно, старик! Радость наша — всегда после ужина горчица.

Поклонись ребятам, бывшим молодогвардейцам.

Обнимаю тебя, старик, будем уповать на будущее.

Твой Леха. 11.4.66 г.

Пойдет ли рецензия на Витю? Теперь он подкован, и надо помогать кому-нибудь из наших близких, пишущих».

По возвращении из Березников я не вернулся в «Звезду», откуда был переведен в «Шахтспецстрой», а стал работать в редакции газеты «Молодая гвардия», в моей журналистской колыбели. И вскоре мы с заведующим идеологическим отде-

лом Юлианом Надеждиным и ответственным секретарем Борисом Гашевым выбрали три Вериных стиха — «Матрешка», «Пушкин», «Апельсин» — и опубликовали их с ее фотографией под рубрикой «Проба пера. Знакомьтесь: Вера Нестерова». В сопровождающем тексте говорилось, что Вере 19 лет, что она работает в Перми лаборантом и печатается впервые. Но сейчас мне хочется добавить, что эти стихи были написаны в 15-16 лет и выразить надежду, что читатель разделит со мной удивление, как могла тогдашняя 16-летняя девочка додуматься до таких стихов и оформить их в столь точном подборе и расстановке слов.

Матрешка

Какой чудак задумал так играть
И сохранять веселую беспечность,
Строгая дерево, таинственно молчать,
В матрешку помещая бесконечность?
И вот встает цветистый долгий ряд
Матрешек — правнучек и бабок,
Одна в другой, и судьбы их летят,
Как звезды, соблюдая свой порядок.
Матрешка — вечность. Края и конца
Не видно тут. Все из огня возникло!..
И даже там, где рушатся солнца,
Праженщину молекула воздвигла.
Приникла к стеклам этого огня.
Как соты — стены. Жар и вдохновенье!
«О! скоро ли ты выпустишь меня?» —
Кричит дитя в утробе. Дуновенье...
...И свет, и воздух, и вода, и снег
Обрушились и тут же замолчали,
И слышался лишь дивный женский смех...
И смерть, и жизнь глубоко прозвучали.

...Хотелось бы еще привести стихотворения из неопубликованных, но трудно какому-нибудь отдать предпочтение. То ли стихотворению «Люблю снег», где героиня беседует со снегом, как с живым существом, и просит саму ее вращать «на зимней карусели» — «и, главное, ты сам лети!»

Кажется, только в Канаде есть единственный в мире научно-исследовательский институт, который изучает неповторимые формы снежинок... А юная героиня знает об их бесконечном разнообразии и без науки.

Все формы я люблю твои,
О, измененье строгих линий!

А купались ли вы когда-нибудь в сирени? Верина героиня нашла такое пространство в стихотворенье «Сирень», в которое можно нырнуть, и тогда не только героине, но и читателю станет так легко-легко, хотя в реальной жизни почувствовать себя легко в наше время невероятно трудно.

А я купальщицей войду
В твой дым голубовато-сизый,
И улыбаясь, упаду
В объятия этой грозной силы.
Исчезнут шумные дома,
Дороги, тяжкие сомненья...
На свете есть сирень одна
И это светлое мгновенье.

В одном из писем Алексей напишет: *«Вера будет писать, и что ее приятно отличает от многих — у нее есть безверие в себя»*. Между прочим, это свойство и самого Алексея. Его искреннее сомнение: будет ли с ним Вера счастлива, — и привело к тому, что они «не сложились».

В связи с этим приведу еще одно письмо Алексея.

«Вова!

Как у тебя дела? После твоего бодрого звонка появился Юра Марков и сказал, что видел Лебедеико, приехавшего из Перми, и вы с Ирой догорели (Редактор Владимир Мальцев пытался нас с Ириной Христоробовой уволить — В. М.). Я прикинул по времени и не знаю, кому верить. Хотя надежд на добрые исходы в этом прекрасном мире мало.

Сука — Мальцев. Знает ли он это? Я, например, знаю, что сам изрядная сволочь, но хоть испытываю от этого угрызения по ночам. Впрочем, не важно.

Приехал бы без всякой командировки и вытащил Веру дня на три. Грош найдем и тут. Я пока на больничном, был приступ сердечный, да скорая помощь не позволила забыться и уснуть.

Вере только написал витиеватое письмо, что можно подделать? Она не хочет предать Витю, как предал я ее. А что делать было, как не предать, когда со мной она бы мучилась побольше, чем с ним, когда добрые мои качества нарисовало ей ее воображение, а на самом деле их нету. Мудрость заключается в том, что не надо подпускать к себе людей,

чтобы больно их мучить, избегать близости; скорлупа и чтение — вот средства.

Увы, понимаем мы что-то лишь после драки. Тебя я изрядно подвел, но ты мужчина, ты выдержишь. В общем, попытайся приехать. Человек я сейчас буду скучный, писать не тягивает, правда, коммерческие дела надо вести с переизданием «Белого листа».

Веру я люблю, а тут, видимо, жить будет негде, коли они не расстанутся с Болтом, не разведутся, а разведутся, так она будет его жалеть, как, может, жалеет сейчас меня, а он на мою роль не согласится. А что я ей дам, тело мое донкихотовское? А душа у нее в сто раз богаче и тоньше, ей нужны люди высшего духа. И скучно ей будет. Тысяча и одна сказка про белого бычка. А один поляк сказал, что ни одна женщина не согласится, чтоб мужчина тысячу и одну ночь рассказывал ей сказки.

Если ты уже что-то собрал из зверячего сборника, пришли ради Бога, я постараюсь сейчас читать — впервые за шесть лет не пью. Притом звери — как цветы и дети, лучше нас. Ты думаешь, что я для приличия тебе говорю о твоём творчестве хорошее, из стеснительности, но мне не до них. Какое-то эмигрантское настроение. Сбежать бы на Круглый Рудник.

Обнимаю тебя, крепись. Алексей».

Кажется несколько странным, что Алексей Решетов думал о людях лучше, чем они есть, а себя считал хуже других. То ли сказалось раннее сиротство, сокрушившее в нем самые заветные ростки самолюбия, или, может быть, с крещением уже в зрелом возрасте он проникся смирением, обвиняя себя в несуществующих, придуманных им каких-то неприглядных сторонах своего характера... Но я думаю, не будь у Решетова двух пристрастий — питья и печали — его следовало бы признать за святого человека, настолько он был смирен. Правда, это во все не значит, что он не мог вспылить, восстать против кривды. Увы, как в поговорке: и первый человек греха не миновал, и последний не избежит. Все-таки лучше всего думать о себе так, как думал Алеша: что его грех больше греха всех других. Решетов никогда не «прикидывался», не «рисовался», не пытался «слыть»... Он всегда находился на поводу у своего трудного для него самого характера, прежде всего, требовательного к себе самому. Подлинный облик поэта в его стихах.

Алексей часто вспоминал деревню Круглый Рудник — и в письмах, и в разговоре: «Попить бы фужорчик на Круглом Руднике из родничка! И пива не надо»...

Здесь родник, конечно же, незабываем. Глядя на него, начинаешь верить в легенду, что подобные гремячие источники рождаются от удара молнии. Вот уж поистине точен Даль: «...отомкнутое недро земли», отмычка к ним — ключ. Ключ бьет из-под горы. К нему подведена долбленная колода, по которой бежит, бушуя, водяная жила, а затем падает с высоты полутора метров с такой силой, что едва не вышибает из рук ведро, несмотря на то, что в долбянке нагромождены камни, сдерживающие напор потока. Хочется смотреть и смотреть, как спадает по уступкам вода, и как тут тебе не задуматься о подобном же течении времени. А ручей стремится свою ключевину все дальше и дальше вдоль деревни и в конце ее, напоив всех, круто поворачивает в лес к речке Зырянке.

В последний раз Алеша с Верой гостили у меня в середине лета, когда у родника на другом пологом склоне долины еще цвело ржаное поле. Мы втроем сидели возле единственной в логу разлапистой ели со спадающими книзу, почти до земли, ветвями и пили «Варну», а две бутылки «Столичной» охлаждались в ручье, ожидая, когда моя хозяйка Фекла Степановна принесет вареную картошку и жареные, первые в то лето, грибы — красноголовики и обабки.

Фекла Степановна прониклась уважением к моим друзьям с той поры, когда зимой ко мне в гости приехал Лев Иванович Давыдычев. Перед этим он похоронил мать и опубликовал в «Звезде» навеянный ее смертью печальный рассказ, который я прочитал хозяйке, а она заливалась слезами при чтении. К его приезду она настряпала и наморозила около пяти сотен пельменей с разной начинкой — и с мясом, и с квашеной капустой и редькой, с картошкой и жареным луком... Пельменей не покажется так уж много, если учесть, что заявился еще и Решетов с Марковым, и каждый за один присест съедал по сорок пельменей. А на столе были еще рыбный пирог, колбаса, капуста с огурцами, соленые грибы. А чтобы мы не опьянели, Фекла Степановна предусмотрительно изладила нам тюрю — что-то вроде окрошки, но только с натертой злой белой редькой, сдобренной уксусом, — на квасе, с луком, яйцом, картошкой... Это было сильно отрезвляющее блюдо, которое, по выражению Феклы Степановны, хорошо «прошибат». Такой уж на Круглом Руднике был говор. Мой знакомый дед Ма-

рушко так рассказывал о ловле хариусов в Зырянке: «Бывало-чи, сидишь и хваташь, хваташь его — токмо черемухово удил-ко хлопат».

Тюря шибко прошибла нас, и застолье затянулось почти до рассвета. Алеша с Юрой читали стихи свои, мы со Львом Ивановичем — чужие. В тот вечер Давыдычев познакомил нас со стихами покончившего с собой одаренного поэта, бывшего фронтовика-разведчика Евгения Можаяева, с которым он учился в университете. Стихи были так чисты, откровенны и пронзительны, что мы после их чтения приумолкли:

Но все печально, все изменчиво,
Мечты растаяли, как дым.
И слава, ветреная женщина,
Давным-давно живет с другим.
И мне, хоть я того не требовал,
Опять напомнила звезда
О том, чего со мною не было
И не случится никогда.

Позже Фекла Степановна не раз вспоминала это застолье: и то, как складно и хорошо мы говорили, и что ей отродясь ничего подобного не приходилось слышать, и какие мы памятливые, и где мы все это только берем.

А теперь она приняла моих гостей, Алешу и Веру, как своих родных, сама вызвалась приготовить нам картошку с грибами.

Мы ждем Феклу Степановну, когда она показывается на ступеньках спуска к роднику с чугуном, закутанным в старый ватник, в нашем стане началось оживление. Вера бросила плести венки, кинулась ей навстречу, а мы с Алешей стали выкладывать на расстилку свои припасы. Нам хотелось, чтобы хозяйка посидела с нами, но Фекла Степановна не согласилась. Чтобы ее как-то задержать, и, зная, что она любит слушать стихи, я попросил Веру прочитать что-нибудь. Та застенялась. Я настаивал, назвал даже, что именно прочитать — «Новый год», и продекламировал начало:

Морозный день. И щеки милых алы!
А здесь — в толпе — огонь и новизна.
В бокалы наливаются пожары
Искрящегося, красного вина.
И я сижусь, такая молодая,
Среди гостей, предметов и острот...

Вера отбежала от нас на небольшое расстояние и запросила оттуда защиты:

— Фекла Степановна, это они изголяются надо мной!

— Ух, они! — пригрозила нам хозяйка.

— Ладно, Вера. Учитывая твое несовершеннолетие и красоту, мы милостиво прощаем тебя, но при условии, что ты прочитаешь Фекле Степановне хоть одну строчку из твоих стихов.

И тут произошло неожиданное. Вера внезапно приняла неведомо для чего красивую позу и, вскинув руку ладонью вверх, направив ее в нашу сторону, взволнованным голосом произнесла:

— Поймите ж вы, в дождливых городках и в золотых окрестностях столицы мне не помогут желтые тюльпаны.

Печаль была в интонациях ее голоса. Теперь, когда нет в живых Алеши, а с Верой после инсульта можно разговаривать только с переводчиком, я думаю, что она тогда в одной строчке стихотворения, целиком оставшегося неизвестным, пророчески предсказала свою нелегкую судьбу... А ведь перед ней в ту пору была возможность иной жизни — не поторопись она вскоре на Дальний Восток...

Улучив момент, прерывая наше молчание, в ответ на Верины слова Фекла Степановна, сказав: «Кушайте скорей, а то ведь картова остынет», ушла... Вера распеленала чугунок, Алеша принес из ручья холодную «Столичную», и мы сами не заметили, как ее опорожнили. Решетов если пил водку, всегда плохо закусывал, только курил, а тут — налег на грибы, и хоть бы в одном глазу... Сильно припекало солнце. Меня потянуло ко сну. Мне и надо было уснуть, чтобы оставить Алешу и Веру наедине. Но мне показалось, что как раз этого Алеша боялся. Лег на траву и не подавал признаков бодрствования.

— Ладно, мальчики, — сказала Вера, — вы лежите, а я пойду собирать васильки...

— А ты лучше позагорай, — посоветовал я, крепко двинув рукой Алексея.

— Да я без купальника, — ответила Вера.

— Зачем он тебе, — настаивал я. — Залезай в рожь, и никто тебя не увидит.

Вера ушла. Я вспомнил, что у меня в старом блокноте есть маленькое исследование о ржи... Вот она, рожь, стоит у нас в изголовье, и Алеша рядом, и Вера во ржи...

— Леша, — позвал я. — У тебя есть стихотворение «В гостинице, в номере «люкс», где на стене копия картины передвижника:

Как славно написана рожь.
Как вольно она колосится!
Как жаль, что сюда не войдешь
В обнимку с молоденькой жницей.

— Ну и что? — открыл Решетов один глаз.

— А то... Помнишь у Некрасова:

Расступись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани.

— Ну? — повторил вопрос Решетов.

— Не нукай... А еще третий поэт, Роберт Бернс:

И кому какое дело,
Если на межи
Целовал кого-то кто-то
Вечером во ржи?

Так вот, Алексей Леонидович, если ты такой умный, скажи, почему вы, поэты, все сердечные дела связываете с рожью, а не с овсом или просом?

— А потому, что рожь высокая.

— А кукуруза... Выше ведь...

— В кукурузе вечно сидит дед Щукарь, а на подсолнухе висит его капелюх, дескать, занято.

И Алеша рассмеялся.

— Остроумно, но не верно, — парировал я, настроясь на серьезный лад.

— А почему?

— Это точно, рожь высокая, но суть в другом. Кто мешает молодой любви в деревне? Зимой — старухи, летом — комары да мухи. Рожь ценна в этом случае тем, что в ней можно скрыться, и она защитит от всякого гнуса, комарья и мух. Видишь, она то перекачивается волнами, то едва-едва колышет колосками. Крылатую нечисть разгоняет. Так что лезь, Алеша, в рожь вслед за Верой.

— Ты это вычитал, или сам успел проверить?

— Вычитал, — соврал я.

— Не ври! Если бы ты не привел моего стихотворения, я бы тебе поверил...

— Да я его просто приобщил.

Договорить нам не удалось, пришла Вера с охапкой васильков. Ее подбородок утопал в цветах, из васильков выглядывали ее глаза.

— Девочка ты моя, зачем тебе столько цветов? — встретил ее я.

— На все общежитие, в каждую комнату...

— Мы их загоним по рыжику за букет, на пиво... — отозвался Алеша.

Это был последний эпизод не щедрого к молодому Алеше счастья. Тут оно его лишь коснулось и прошло мимо.

Однажды я ехал после работы в Березники, рядом со мной в кузове под брезентовым тентом сидел на лавке сварщик Михаил Ершов. Мы давно с ним не виделись. Говорили о разных разностях. Он недавно прочитал о дельфинах, много о них говорил, как они спасают людей в море, а мы, люди, позорные, беспощадно их убиваем... Миша горячился...

Я и рассказал Алеше при встрече в тот же день про наш разговор под тентом... Его впечатлило не столько то, как убивают дельфинов, сколько переживания по этому поводу сварщика.

Я был с ночной, после трудной смены; приходилось на вытянутых руках скалывать отбойным молотком выступы породы на стенах ствола. Адский труд! После ужина меня свалил сон. А в полночь Алексей меня разбудил, сунул мне в руки исписанный листок бумаги. Я протер заспанные глаза:

Дельфины, милые дельфины,
Мы вас научимся беречь —
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.

Я сразу очнулся. Это — чудо. В течение каких-нибудь трех часов был создан этот шедевр поэзии. Сейчас стихотворение стало хрестоматийным. И оно сохранилось без малейшей перделки, сразу — как есть, оно так и было создано. Оно вышло из-под пера Алеши безукоризненно точным.

Напечатано оно было в 1968 году в переиздании «Белого листа», ставшего ярким событием в культурной жизни Прикамья. Молодежная газета, как и следовало ей, откликнулась рецензией Дмитрия Ризова. И вдруг в ответ областная партийная газета разразилась погромной статьей, в которой и «Дельфины», и другие решетовские шедевры объявлялись слабыми

стихами, а сам он обвинялся в надмирной скорби и прочих грехах, чуть ли не чуждых народу. «В «Дельфинах» поэт предстанет не как певец, «любезный народу», зовущий его на борьбу за все прекрасное на земле, а как некий, не очень понимаемый, притом притесняемый подвижник».

Сколько же талантов было загублено в те времена! Сколько стихов не дописано и песен прервано на полуслове!.. Увы, вот и автор клеветы на стихи Решетова не то что «до половины», а ни в зуб ногой не понял вразумительной речи поэта, будучи начисто лишенным способностей поэзию воспринимать.

Другой раз Алеша таким же образом разбудил меня по поводу другого стихотворения. Помнится, я пробурчал, что он мог бы, мол, и до утра подождать.

— Ты что, спать сюда приехал? — парировал Алеша.

Он прочитал мне только что написанное стихотворение «Мама». Хоть и спросонья, но я сразу врубился, что ему необходимо уточнить у мамы, можно ли так ему о ней писать.

Ты слышишь, мама, я пришел —
Твой милый мальчик, твой Алеша.
Нигде я, мама, не нашел
Таких людей, как ты, хороших.

В стихотворении он пришел на могилу матери, которая мирно спала в другой комнате.

Руками желтыми всплесни:
Какое солнце над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.

Стихотворение из разряда шедевров. Оно просится на музыку. Но, потеряв маму в десять лет, я, честно говоря, растерялся.

— Что же теперь делать с ним? Порвать? — нерешительно сказал Алексей.

— Зачем рвать? Но и ждать тоже нехорошо... Если уж оно написано, лучше показать ей.

— Я тоже об этом думал...

И Алеша уверенно пошел в другую комнату, где спали бабушка, племянница Олеся и Нина Вадимовна.

Мне было слышно, как, не включая света, он наизусть стал читать стихотворение. Затем послышался голос Нины Вадимовны.

— Все правильно, Алеша. Так должно быть, чтобы сын приходил на могилу матери, а не мать на могилу сына. И ничего страшного в том нет, что преждевременно писано. Шьют же для себя к смерти одежду, делают гробы. От смерти никуда не уйдешь.

Алеша вернулся, подошел к книжной полке, достал из закладки початую бутылку водки, сходил на кухню, принес кусок хлеба, звеньшко колбасы, и мы выпили с ним на сон грядущий в остатках ночи.

На этом и закончу рассказ, надеясь потом когда-нибудь его продолжить.

АЛЕША

Мы расстаемся навсегда.
Меж нами бурая вода,
Меж нами камни-валуны
И города чужой страны.
Но дебри нашей седины
Неразлучимо сплетены.
Но кожа к коже приросла,
Покуда ты моей была.
Ее разъять и разделить –
Еще живую кровь пролить.

1 1971 г. — это год, когда я приехала (10 января, в середине учебного года) в Березники и впервые услышала об Алеше. О нем мне часто упоминала в разговоре директор музыкального училища, где я работала, Эрна Андреевна Тибелиус, оказавшаяся во время войны в Березниках в числе многих сосланных немцев из Поволжья. Она же поручила мне организовать встречу студентов и педагогов училища с известным уже в городе поэтом Алексеем Решетовым. По телефону мама Алексея категорически сказала, что встречи не будет, так как Алексей серьезно болен (думаю, это был 1973 год). Значительно позже Алеша часто вспоминал и рассказывал мне и о преподававшем у них в школе черчение муже Эрны Андреевны, Романе Христиановиче (ребята его называли «Чиркуль»). Алеша любил рассказывать разные случаи из школьной жизни.

Эрна Андреевна тогда удивила и заинтриговала меня еще и тем, что заметила какое-то сходство (внешнее, в характерах, в поведении?) между мной и Алексеем. Она почему-то опекала меня, рассказывала много о себе и даже ходила как-то с приехавшей ко мне мамой в кино. Оглядываясь назад, в конце 90-х годов, когда мы с Алешей приезжали в Березники на день города, зная уже о моем замужестве и увидев нас в зале на торжестве, она радовалась, что подтвердились ее, так сказать, ожидания и пророчества. Мы с Алешей тогда подошли к

ней и Роману Христиановичу, и Алеша отдал ей подаренные ему цветы.

Познакомил меня с Алешей общим и, пожалуй, самый до сих пор близкий друг в Березниках, Юра Марков. Я в то время занималась музыкой с его маленькой дочерью Катей. Говоря об Алеше, он не раз повторял, что мне нужен именно такой человек. Как позже выяснилось, то же самое он говорил тогда и Алеше... Кроме прочего, Юра часто рассказывал мне о несчастной любви Алеши к Вере Нестеровой-Болотовой, вообще много говорил о ней, о Вите Болотове, об Алексее и о том, как не любили в доме Решетовых присутствие предполагаемых невест Алеши, знакомых с ним женщин. Все это вызывало во мне сочувствие к Алеше и, разумеется, ни о каких серьезных отношениях с ним не могло быть речи. К тому же, еще до знакомства с ним, когда я была в жюри на смотре художественной самодеятельности, и там читали его стихи и поэму «Хозяйка маков», он представлялся мне недосыгаемым для общения прекрасным поэтом. Видела я тогда его лишь на фотографии в местной газете, где была напечатана подборка его стихов. Кстати, именно эта фотография помещена ныне на кресте на могиле Алеши.

И все же, с первой встречи, даже с первого упоминания, он неосознанно запал мне в душу. Зарождались же наши отношения так. Впервые его я увидела в книжном магазине на улице Свердлова, где проводилась очередная встреча книголюбов. Тогда хорошую книгу можно было приобрести лишь если ты состоял в таком клубе книголюбов. Выступали местные поэты: Павел Петухов, Юрий Марков и Алексей Решетов. Юра нас и познакомил. Поэтам подарили книги Есенина, чему Алеша был очень рад, Есенина в его семье любили все. Когда мы вышли из магазина, Алеша, облегченно выдохнув, пошутил: все это, мол, хорошо, только на выступлении, сидя в кресле, ощущал себя, как в кабинете у гинеколога. Он не любил подобные выступления, соглашался на них лишь при крайней необходимости. Его шутка тогда меня смутила. Зато он приятно удивил меня своей отличающейся от других внешностью, приподнято-оживленным состоянием и простотой общения. Он воспринял меня как свою давнишнюю знакомую, да и на самом деле немало знал уже обо мне от Юры, через которого подарил мне свой «Белый лист» с надписью: «Тамаре, незнакомому, но близкому мне человеку. Вот как много я Вам написал». Както, возвращаясь с работы и зная уже его лично, я увидела

Алешу идущим впереди, но из робости так и не решилась догнать его, но с радостью в душе шла я тогда за ним до своего дома. Он зашел в соседний дом, где жили его друг Паша Петухов и близко знакомая Алеше вдовушка Зоя, бывшая когда-то его соседкой в коммуналке.

Позже мы частенько вместе вспоминали день, когда Юра впервые привел Алексея в мою березниковскую квартиру. У нас обоих было ощущение, что мы знаем друг друга давно. Слушали на моем стареньком проигрывателе Эдит Пиаф, говорили о ее книге «Моя жизнь».

Вспоминая об этом событии, он добавлял такие детали, которые у меня к моменту припоминания стерлись из памяти. Например, что тогда, я, чтобы открыть нам дверь, перелезала к себе через балкон соседки. А этаж-то был пятый! Еще — удивление, когда я заметила общее у нас — поврежденные у обоих указательные пальцы и одинаковые родимые пятна в одном и том же месте на лице — у меня круглое, у него вытянутое. Когда мы садились лицом друг к другу, родимые пятна оказывались напротив. Говоря об этом совпадении, он вспоминал бабу Олю, которая как-то по поводу этих пятен сказала: «Это знак того, что Тамара когда-нибудь придет к тебе». Впервые он сказал мне об этом пророчестве бабы Оли перед нашим прощанием в 82 году и оставил ногтем след на подаренной мне своей фотографии. Удивительно то, что след ногтя Алеша со временем стал виднее, а сейчас опять становится почти незаметным. Мне приятно думать, что это тоже знак судьбы. Я удивилась, когда увидела этот знак и на обложке Алешиного трехтомника. Степан Иванович Недвига, оформлявший издание, объяснил его как знак Алешиного выхода во Вселенную. В ту нашу встречу Алеша подарил мне листочек со стихом-экспромтом. Позволю себе его воспроизвести здесь, ведь все, что касается его, для меня очень значимо:

Зря несут на мужиков:
Дескать, взял и был таков.
У любого мужика
Перво-наперво — тоска.
Он работает как черт,
А его никто не ждет:
Не погладит, не пошлет
И за хлебом не пошлет.
Но однажды, в жизни раз
Белый локон, синий взгляд

Он сочтет своей судьбой
И ведет к себе домой.
Спи, мой райский стебелек —
День рабочий недалек.
Спи, мой маленький родник —
Я навек к тебе приник.

В ту пору о нашем сближении не могло быть и речи. Для описания моего тогдашнего душевного состояния я не нахожу нужных слов. Мое душевное волнение повторялось при каждой нашей встрече. С появлением Алеши рядом во мне возникло нечто, отрывающее душу от тела и уносящее ее куда-то из реальности, и тогда все окружающее становилось иным, менее грустным...

В тяжелые минуты, а их у меня тогда было предостаточно, я мысленно взывала о помощи почему-то именно к Алеше — только ему хотела выговориться. Но, узнав по телефонному справочнику его адрес, я так и не решилась найти его дом, дожидаться его во дворе, чтобы рассказать обо всем и попросить совета... Уже после его смерти я нашла в его рукописях стихотворение, которое полностью соответствовало и объясняло мое состояние в ту пору:

Я отчую землю крест-накрест прошел,
Я в каждую двери стучал,
Но краше тебя никого не нашел,
Нигде не обрел Идеал.
Я плакал, я падал, я лез на рожон,
В снегах по-пластунски скользя,
Но очи и губы забытых икон
Твердили: — Не надо, нельзя.

Конечно, насчет «краше» и «идеал» — преувеличение. Я никогда не заблуждалась насчет своей внешности, видя вокруг действительно красивых и ухоженных женщин. И когда я говорила ему об этом в ответ на его комплименты, он настаивал, что я не знаю себя и не вижу, что порой у меня проступает «сквозь лицо — лицо». Однако какая-то укоренившаяся во мне со временем подавленность не позволяла мне до конца этому верить. Хотя, возможно, так и происходило, но лишь в ответ на его присутствие. Все же остальное в этом стихотворении, особенно две последние строчки — абсолютно точно. Сколь же многое открылось мне в его далеко запрятанных стихах, которые я нахожу до сих пор, когда уже кажется, что больше нигде и нечего находить. Просто мистика какая-то. Одним из

сюрпризов был найденный подарок-стишок, написанный на свободном месте в соннике, куда я заглянула 8 марта через полгода после его кончины. Но это было ненужное, возможно, отступление.

Летом 1978 года я, не желая мешать устоявшейся жизни Алеши, но намереваясь устроить свою личную жизнь, приняла скороспешное и глупое решение покинуть Березники с показавшимся мне неплохим человеком. Он уверял, что любит меня, что его таланту тесно в Березниках, и был в данном случае весьма кстати. Было еще одно обстоятельство, которое утвердило меня в этом решении, но о котором не стоит здесь говорить. Помню, что действовала я тогда сгоряча, по принципу — чем хуже, тем лучше. Уезжать мне не хотелось: я любила Березники, свою заработанную здесь за восемь лет уютную квартирку, работу, не хотелось оставлять своих учеников, друзей. В Березниках прошли мои молодые годы, произошло запоздалое взросление, было наделано много ошибок и затрачено напрасно много душевных сил. Именно с этим нашим расставанием, как говорил мне потом Алеша, связан его стих: «Вообразил, что ты жар-птица...» Так жизненные передрыжки и наша нерешительность разъединили нас в первый раз.

Позже, в счастливое время, Алеша часто удивлялся нашей нелепо сложившейся жизни, тому, как два человека, родившиеся в столь далеких друг от друга городах — Хабаровске и Свердловске — могли столкнуться в Березниках, разбежаться, чтобы опять встретиться, уже в Перми, снова расстаться и объединиться уже в Екатеринбурге. Он часто повторял: «Эх, повстречались бы мы, когда нам было лет эдак по 16-20 — вся моя жизнь сложилась бы совсем по-другому». И вообще — он еще в ранней юности мечтал о своем доме, своей семье, о детях. Говорил, что мог бы тогда сделать все возможное для женщины (и не обязательно это была бы я), которая согласилась бы с ним создать семью. К слову, как выяснилось, он и раньше, в 60-х годах, когда я еще училась, наезжал в Свердловск по своим писательским делам, т. е. мы могли бы встретиться уже тогда. Но так уж получилось, что мучительно долгой и непростой была эта наша дорога друг к другу.

Пытаясь обменять мою березниковскую однокомнатную квартиру на Екатеринбург, мы с этим, как выяснилось, использовавшим меня в трудное для него время человеком прожили какое-то время у моих родителей в Свердловске. Тогда, кстати, мой профессор, зав. кафедрой Зинаида Федоровна Ишутин-

на предлагала мне место в аспирантуре. Карьера не вышла. Я отказалась. С трудом нам все же удалось летом 80-го года обменять квартиру в Березниках на комнату в Перми. Но жизнь наша не сложилась. Это было особо тяжелое для меня время. В тот период я буквально потеряла себя. На личной жизни поставила крест. Усиленно старалась скрыть от посторонних глаз свое состояние. От этих усилий в моем поведении появилась какая-то неестественность, но поделаться с собой я ничего не могла. От ощущения непонятной мне самой вины, казалось, что и окружающие воспринимают меня не такой, какая есть я на самом деле. Спасалась работой.

Все эти появившиеся во мне новые черты увидел, все обо мне понял и постепенно помог выйти из кризисного состояния Алеша. Мы с ним снова встретились. Он изредка приезжал в Пермь и заходил к Болотовым, у которых и я бывала. Во время наших встреч я не посвящала Алешу в свои переживания. Но ему, с его пронизательностью, этого, видимо, и не требовалось. Он сам многое сумел угадать и понять. В этот период Алеша буквально спас меня. Очень помогало мне, конечно же, и общение с Виктором Болотовым. Но благодаря именно Алеше началось мое постепенное душевное выздоровление, возрождение. Одно его присутствия для этого хватало.

С Виктором и Верой Болотовыми познакомил меня в один из своих приездов в Пермь тот же Юра Марков, чтобы мне было не так одиноко в чужом городе. К тому же они, оказалось, жили со мной по соседству. Юра с Витей однажды пришли и сказали, чтобы я быстрее собиралась, меня ждет Вера, хочет познакомиться. Когда я впервые увидела ее, возникло ощущение: передо мной египетская царица, попавшая в наше время, больная и усталая от предложенной ей серой местной жизни. Мы начали почти ежедневно общаться, подружились. Я была поглощена только что пережитым, а Вера твердо верила в их взаимную любовь с Алексеем. Он был нашим общим знакомым... Как могла, я поддерживала ее желание относить все его стихи, касающиеся любви, на свой счет (хотя и сомневалась в этом). Упомянутый стих «Вообразил, что ты жар-птица» Вера тоже считала вдохновленным ею. Я искренне разделяла горечь и печаль по поводу ее не сложившихся отношений с Алексеем. Ревности не было. Каждая из нас была занята своими переживаниями. Я даже по ее поручению, во время командировки в родное мне березниковское музыкальное училище, с помощью одного из его друзей, — Володи Плющева, —

разыскивала Алексея, чтобы передать привет от Веры. Я тогда работала в Управлении культуры старшим методистом по средним и высшим музыкальным заведениям Пермской области (по совместительству была концертмейстером в Институте культуры), и мне приходилось выезжать в музыкальные училища Чайковского и Березников.

Вот тогда-то я впервые побывала у него дома в Березниках, увидела Нину Вадимовну, его племянницу Олю (Олесю) и собаку Милорда 1-го. Баба Оля в то время была уже тяжело больна.

Раз уж речь зашла о родных, следует сказать: баба Оля была наполовину грузинкой и русской, дочь русского офицера Петрова и грузинской княгини Александры Георгиевны Нижарадзе. Муж Ольги Александровны, Павчинский — поляк. Дочь Ольги Александровны (мать Алексея Решетова) — Нина Вадимовна Павчинская вышла замуж за Леонида Сергеевича Решетова, русского. Стало быть, в Алеше сошлись три крови: русская, грузинская и польская. А если копнуть глубже — прабабушка Нины Вадимовны, Нина Церетели, была грузинской княгиней, владелицей марганцовых рудников, а прадед, Георгий Нижарадзе — предводитель дворянства в Кутаиси. Из-за этой смеси крови, отразившейся на внешности Алеша Решетова, его как-то в восьмидесятых годах побили, приняв за еврея. Алеша не стал оспаривать своей национальности, защищая, таким образом, всех, кто вызывал у негодеев своей внешностью неприязнь. Он всегда протестовал против любого насилия и несправедливости, беря сторону слабого. На это настраивали его и мысли о своем отце — известном в свое время не только на Дальнем Востоке журналисте (15.2.1910 – 13.4.1938 гг.). В записях Алеша есть и такая: «...Я люблю своего отца больше, чем живого. Но не идут из головы жуткие строчки Юрия Кузнецова: «— Отец — кричу — Ты не принес нам счастья!.. — Мать в ужасе мне закрывает рот». Генетическое сходство Алеша с отцом в характере, поведении проступает, на мой взгляд, во всех переписанных им, с его пометками, письмах отца.

Словом, я впервые пришла к нему в дом. Было это перед Новым 1981 годом. Алеша обрадовался нашему приходу, был оживлен, много шутил. Обстановку в его комнате я помню до мелочей. Стены были обвешаны крупными репродукциями. Низкий диванчик без ножек, перед ним маленький столик или табурет, заменявший столик, напротив — железная кровать, через спинку которой он ловко перепрыгнул, пропуская гос-

тей в комнату. У окна письменный стол и стеллажи с книгами. Пол со следами горящих окурков. Первым делом я передала ему от Веры привет. Посидели, поговорили. Нина Вадимовна принесла к чаю рогалики и масло. Позже, когда я в первый раз побывала у Алеши в Перми, бросилось в глаза, что планировка пермской квартиры очень напоминала березниковскую: те же знакомые вещи в похожей комнате.

Когда Болотовы переселились в свою последнюю квартиру на улице Ворошилова, они и меня сагитировали переехать в дом, находившийся напротив их дома, в так называемую «китайскую стену». Переезд был тогда, кстати, нужен, чтобы скрыться от человека, с которым рассталась. Будучи у Болотовых частым гостем, я познакомилась с их окружением — родными Веры, друзьями и приятелями Вити, здесь я виделась и с наезжавшим в Пермь Алешей. Дочь Болотовых, Белла, еще училась в школе, потом в техникуме. Вера, желая обустроить жизнь Алеши, нацеливала дочь на то, чтобы Беллочка (раз уж у нее самой не получилось) стала впоследствии женой Алеши. Его, правда, такая перспектива не особенно радовала. Да и Беллу тоже.

Алешу с Виктором и Верой Болотовыми связывали сложные взаимоотношения, причиной всех этих сложностей была Вера.

Важное для Алеши знакомство с Верой Нестеровой произошло в 1963 году. Я познакомилась с Верой в Перми в 1980 году и дружила с ней вплоть до ее кончины 17 октября 2003 года. Была я знакома и с ее родителями и некоторыми родственниками. Встреча ее с Алешей произошла так. Она училась в Пермском химико-механическом техникуме. Такой же техникум, только в Березниках, закончил и Алеша, пошел работать на калийный комбинат. Стихи начал писать рано. Писал не на показ, для себя. Заносил их в тетрадку, которая сохранилась только потому, что его брат Бетал ставил ему отметки за каждый стих. Сам же он намеревался продолжить семейную журналистскую традицию, рано начал сотрудничать с березниковскими и пермскими газетами. Штатным корреспондентом, как члена семьи врагов народа, его не могли взять. По этой же причине и Беталу по окончании школы дали не положенную ему золотую медаль, а лишь серебряную. К слову сказать, Бетал учился в той же школе и у того же классного руководителя, что и наш бывший Президент России Б. Н. Ельцин. Алеша лестно отзывался об его отце, много, мол,

хорошего сделал тот при строительстве Березников. В дальнейшие планы самого Алеши входило обучение в Литинституте, но только после окончания учебы Беталом. А пока все усилия Нины Вадимовны и его самого были направлены на материальное обеспечение брата. К тому же необходимо было и снаряжение для альпинистских занятий Бетала. Им приходилось очень много работать, забывая о себе.

Бетя повесился в общежитии в день рождения отца, перед самым рождением своей дочери Олеси, накануне получения диплома. Страшное потрясение и огромная неожиданность для семьи! Это событие повлияло на всю остальную жизнь Алеши. Время надежд на будущее рухнуло, планы на учебу в Литинституте ушли в прошлое. Все мысли и действия Нины Вадимовны и бабушки были направлены теперь на то, чтобы не потерять еще и Алешу, испытавшего тяжелейший психологический шок... Он часто проводил дни и ночи на кладбище на могиле с прахом брата. Его поместили в психиатрическую клинику. Дочь Бетала Олеся родилась через три дня после гибели отца. Баба Оля и Нина Вадимовна упростили мать девочки оставить ее пожить у них — для спасения Алеши. Вскоре мать Олеси, Людмила Павловна, вышла вторично замуж за хорошего человека и родила еще дочку — Леру. Олеся осталась в доме Решетовых. Вся любовь, ранее изливавшаяся на Бетала, теперь оказалась обращена на его дочь. Она стала главным человеком в семье, в центре внимания, заботы всех. Все радовались каждому проявлению ее природных задатков, особенно в рисовании. Она занималась музыкой, английским и французским языками. Долго в семье запретной была тема смерти Бетала. Одной из важнейших тревог было — не передалась бы Олесе от отца тяга к суициду в трудных житейских ситуациях. Жизнь Алеши оказалась поставлена в зависимость от всего этого. Под негласным запретом оказалась даже сама мысль о его женитьбе... пока не вырастит Олеся. Его связи с женщинами за пределами дома терпели, но появление в семье «чужой женщины» исключалось. Пока Олю «не поставят на ноги». Сначала Алеша «бунтовал», на какое-то время даже уходил из дома, но чтобы не огорчать родных, во имя памяти брата — смирился.

Вера Нестерова в Березники приехала на практику, чтобы собрать материал для дипломной работы. Ей было 17 лет. Учеба в техникуме ее почти не занимала, училась она ради приобретения специальности. Делать чертежи и писать дип-

лом в Березниках помогал ей Алеша. Отец Веры, учитель литературы, привил дочери любовь к художественному слову, она тоже писала стихи. В Березниках жила в одном общежитии с другом Алеши Юрием Марковым, уже тогда известным в городе исполнителем собственных песен, тоже писавшим стихи. Он-то и ввел ее в круг своих друзей и знакомых, посещавших местное литературное объединение. Среди них оказались Алексей Решетов, Александр Медведев (теперь московский поэт), братья Акуловы, Владимир Михалев, его будущая жена Валя (Вишенка — так ее тогда называли) и другие. Многих из того березниковского богемного окружения Вера притягивала не только внешностью, но и чистотой молодости в сочетании с открытостью, редким для того времени независимым характером, а также восторженным, загадочно-непонятым восприятием мира.

Как мне потом рассказывал Алеша, она по совету кого-то из друзей пришла к нему домой со своими стихами. Алеши не оказалось дома, дверь открыла баба Оля.

Когда Алеша вернулся домой, бабушка с порога сказала ему: «Где тебя носит, к тебе приходила такая красивая девушка!» Рассказывая об этом, Алеша подчеркнул, что Ольга Александровна редко какую из женщин хвалила за красоту.

Познакомившись с Верой, Алеша влюбился в нее без памяти. В свою очередь он познакомил с ней вернувшегося из Литинститута своего обожаемого друга Виктора Болотова, которого Вера тоже очаровала. Образовался любовный треугольник. Она металась, не зная, кому из двоих отдать предпочтение. Ситуация мучила всех. В отличие от напористого Виктора, Алеша считал недостойным счастья связать себя с Верой. В какой-то мере, думаю, в этом сыграла роль и семья Алеши, сконцентрированная на воспитании маленькой дочери его брата. В конце концов Вера выбрала Виктора, Алеша «уступил ее в целостности и сохранности» (его слова) своему почитаемому другу. Но и Алешу Вера при всем том не упускала из виду. Повышенное Верино внимание к нему тягостно сказало не только на жизни Алеши, но и Виктора. Письма Алеше она писала, находясь еще на практике в Березниках. После — из Перми и Владивостока, куда она уехала к служившему на флоте Виктору, где они и поженились. Оба делились с Алешей своим счастьем, потом последовавшим охлаждением друг к другу. Шли письма в Березники и после ее возвращения в Пермь, куда приехал вслед за ней после окончания службы

Виктор. Тут они окончательно обосновались, у них родилась дочь Белла, названная в честь Ахмадулиной, у которой незадолго до этого побывала Вера. Ответные письма Алеши к Вере и Виктору были не часты. Последнее его письмо датировано 1967 годом. Он направлял и ободрял Веру в ее творческих попытках, хлопотал о публикации ее стихов, а после того как любовный пыл Виктора поулег, жалея, подбадривал ее в трудных житейских ситуациях. Она же, постоянно напоминая Алеше о себе своими письмами, делилась в них своей жизнью с Виктором, тем самым держала на привязи Алешу и мучила Виктора. После смерти его, Вера часто писала нам в Екатеринбург, а когда и Алеши не стало, — мне. Последние ее письма Алеша не читал, отмахивался от них и обрывал меня, когда я все же пыталась их ему читать. Он называл все это надоевшей ему игрой, заполненной взятыми из книг мыслями и заемными чувствами, а письма — графоманией. Но я думаю, что она действительно относилась в эту пору к нам как к единственным оставшимся после смерти Виктора родственным душам на земле. Я знала, как порой нелегко было Вере с Виктором и Беллой. В письмах последних лет она сетовала на одиночество, на то, как плохо ей без Виктора, понимавшего ее лучше всех. Да и Белла уже давно и трудно жила с мужем в Германии, приезжала к матери редко. Однако Алешу приходилось уговаривать подойти к телефону, чтобы поздравить Веру хотя бы в день ее рождения. Я не спрашивала Алешу, как оказались у него его ранние письма к Вере — то ли он их забрал как-то у нее, то ли она их ему сама вернула.

Очень интересны письма Виктора к Алеше из Владивостока. Такой искренности можно только позавидовать. Жаль, что неизвестно, где сейчас находятся Алешины письма к Виктору. Хотя, слухи ходили, что Вера, терпя нужду, хотела их продать...

Став достоянием многих, история сложных взаимоотношений Веры, Алеши и Вити подогревалась разными домыслами, которые Алеша не считал нужным опровергать. И когда я, читая ее письма, намекала, что из него и Веры могла бы сложиться счастливая пара, он отвечал, что долго пытался разобраться и в ней, и в своих чувствах к ней, и понял, что лишь жалел ее. Только в ранний период их знакомства его занимали ее сны наяву и фантазии. Со временем они становились все однообразнее, навязчивее, оказались почерпнутыми из книг, переиначенными на свой манер. Все это могло бы кого угодно

со временем свести с ума. К тому же, ему не нравилась уверенность Веры, что она единственная женщина, предназначенная ему свыше. Изредка общаться с человеком или время от времени изливаться ему в письмах — это одно, а жить с ним бок о бок — другое. В подтверждение не раз я слышала и от Веры: общество Алексея она может выдержать не более двух часов. Хотя, мне кажется, это было кокетством. Виктор же, хотя и был в житейском плане непрост, но все-таки ближе ей и дороже, привычнее. Несмотря на все это, она была для него терпеливой и самоотверженной женой. Но почему-то ей нужны были они оба — два преданных ей поэта-поклонника.

Следует добавить, что женским вниманием Алеша не был обделен. Поклонниц у него хватало. И до, и после Веры у него были увлечения, легкие флирты, как он говорил, а это буквально выводило ее из себя.

В начале 1982 года Алеша, Нина Вадимовна и Олеся переехали в Пермь, похоронив в Березниках бабу Олю. В переезде очень помогли пермские и березниковские друзья. Кое-что об этом писал Роберт Белов. Одной из причин для переезда была и та, что Оля должна была поступать в Институт культуры. Алеша рассказывал, усмехаясь, как писал Оле сочинение к вступительным экзаменам, за которое получил четверку. Памятна для меня встреча у Болотовых с Алешей и приехавшими тогда в Пермь из Березников по литературным делам Юрой Марковым и Сергеем Малышевым...

Обосновавшись в Перми, Алеша работал литконсультантом при областной писательской организации. Главой ее в то время был Олег Селянкин. Наши встречи стали происходить чаще. Каждый день мы перезванивались и договаривались о встрече в Союзе после моей работы. И я в волнении бежала к нему через парк Горького. Там я наблюдала за его умными и деликатными беседами о рукописях с приходившими к нему людьми и вообще за его окружением. Незаметно к концу моего пребывания в Перми отношения с Алешей стали более чем близкими. Как-то раз, летом, Алеша приехал ко мне домой. Это стало полной неожиданностью для меня — добраться из другого конца Перми, не ориентируясь в ней, не зная моего адреса, а зная лишь, что я живу где-то в огромном доме, в «китайской стене». Он стоял передо мной, ошарашенной его внезапным появлением, с загадочным и в то же время торжествующим видом. В руках у него был букет. Оказывается, он стучался в разных подъездах во все двери, пытаюсь найти меня...

И ведь нашел! Как потом мне рассказывала Нина Вадимовна, в тот день он вдруг сорвался с места и выбежал из дома. С лодки она видела, как он во дворе на глазах у остолбеневших людей стал рвать посаженные у подъездов цветы, зубами обрывая у них корни. Не замечая ничего вокруг себя, он помчался дальше и скрылся в арке. Потом еще было немало непредсказуемых, неожиданных, удивительных поступков Алеши.

Когда у папы случился очередной инфаркт, все мои братья и сестры жили семьями в других городах, и, так как я оставалась без семьи, решила вернуться в Свердловск.

Перед самым отъездом произошло знаковое событие в моей пермской жизни: наша поездка с Виктором Сосниным и его женой Ларой к ним в деревню. Три первых дня августа 1982 года. Воспоминания о них потом помогли нам с Алешей выдержать нашу общую житейскую неустроенность, спасали нас в трудные моменты, и именно с теми нашими приключениями связан запрятанный в бумагах, потом найденный мною, как и многие другие, этот вот, Алешин стих:

Мы плыли в лодке-плоскодонке.
Горой встающая волна
Мне, старику, и ей, девчонке,
Была нисколько не страшна.
И удаляющийся берег,
И в черных избах желтый свет
Не в силах были разуверить,
Что даже в смерти счастья нет.

Мы встретились с Витей Сосниным у меня на работе и неожиданно, без предварительных сборов, решили ехать в деревню. Добирались на электричке, на речном трамвае, шли через поля и оказались в прекрасном, почти достроенном доме, в который нас с Алешей поместили. Оба мы всегда воспринимали все, что происходило тогда с нами, как подарок судьбы – неожиданный и удивительный.

Желая отблагодарить хозяев (Витю с Ларой и ее родителей) за гостеприимство, на следующий день мы с Алешей решили набрать на жареху грибов. А так как лес был на другом берегу очень широкой в тех местах Сылвы, нам понадобилась лодка. Погода была по-осеннему холодной, а одеты мы были легко (я вообще в босоножках на высоких каблуках, так и ковыляла по полям). Нам дали теплую одежду и сапоги, великоватые для обоих. Вид у нас был довольно смешной. Витин тесть отдал нам ключ от гаража на берегу (у него там был еще ка-

тер), строго-настрога наказав не потерять его. Я спрятала ключ, как мне казалось надежно, на груди, там, где женщины обычно прячут самое ценное. Мы сели в лодку с двумя корзинами для грибов. Тут выяснилось, что ни я, ни Алеша не умеем грести. Плавать на лодке приходилось, но греб всегда кто-то другой. Я первая смело взялась за весла и вскоре приоровилась грести — не такое уж это сложное дело. Меня раздражала гордость от того, что я веду лодку, не хотелось отдавать весла Алеше, когда тот пытался их отобрать. Мы плывем, я гребу, напротив сидит Алеша, неправдоподобно красивый и молодой (бороду он тогда не носил).

Сначала было холодно. Но солнце светило, и на реке было довольно спокойно. Мы доплыли до середины Сылвы, решили покататься — поплыть дальше вдоль реки. Берега довольно далеко. Разглядывая их, мы не заметили, как сменилась погода, вдруг поднялся сильный ветер, стало темно, появились волны и очень низко, над самыми головами — страшные черные тучи. Лодку сильно раскачивало, в ней появилась вода. Но Алеша оставался все таким же красивым и каким-то отрешенно спокойным. Нужно было догрести до противоположного берега — целью ведь у нас был лес и грибы. К тому же, лес мог нас укрыть от ветра и от ливня, если начнется. Алеша с трудом перебрался с кормы к веслам, моих сил уже не хватало. Я принялась вычерпывать воду из лодки. Кое-как мы добрались до берега. Алеша вылез из лодки, чтобы вытянуть ее на берег. Сапоги его завязли в тине и песке, наполнились водой. Он не мог поднять ног, вытащил сначала из сапог одну ногу, упал, вытащил другую, а потом уж кое-как достал утонувшие сапоги. То же произошло и со мной, когда я вылезала на берег помочь ему. Лодку он все-таки прикрепил, но ее продолжало мотать волной. Мы вылили воду из сапог, вычерпали ее из лодки и взобрались на сухой берег. Неплохо бы разжечь костер, высушить мокрую одежду, согреться и спокойно все это переждать, перекурив, а потом уж пойти в лес, до которого было рукой подать. Но спички и сигареты от нашего купания вымокли и раскисли.

Дождя так и не было, буря утихла. Алеше удалось подсушить спички и частично спасти то, что осталось от коробка и от сигарет. Пока он сушил все это и выжимал верхнюю одежду, я наведалась недалеко в лес. Грибов не нашла. В сырой одежде было холодно. Когда я вернулась из леса, мы посиде-

ли, выкурили сообща спасенный жалкий кусочек сигареты, решили возвращаться.

И тут на реке мы заблудились, поплыли не в ту сторону. Уже темнело. Вода была спокойная, мы долго куда-то плыли. Оба берега были пустынные. Когда на пути попало какое-то селение, мы подплыли, разузнать куда нам двигаться дальше. Но мы не знали названия той деревни, где жил Соснин. А так как мы могли только рассказать о нем, описать его внешность, люди, не знавшие его, помочь нам не могли.

Становилось все темней. Алеша не унывал, говорил, подбадривая себя и меня, что у нас есть еще пара спичек и кусочек спичечного коробка — разожжем, мол, костер и заночуем в лесу. Мы так и собрались поступить. Уже искали место, где причалить. Но тут вдруг увидели догоняющий нас катер и в нем Виктора Соснина с развевающейся на ветру белой бородой. Когда он подплыл, мы увидели его бледное лицо и испуганные глаза. А мы обрадовались! Он, оказывается, уже давно нас выискивал в бинокль, а потом на катере тестя отправился разыскивать. Далековато же мы уплыли. Виктор взял нас на буксир и доставил на свою пристань. Тут выяснилось, что в моем схроне нет ключа. Тут-то мы впервые как следует перепугались. Я перетрясла всю свою одежду. Нашу панику заметил человек у другого гаража. Не этот ли ключ мы ищем... Он нашел его в воде у берега, а поскольку к ключу была приделана деревяшка, тот не утонул. Выходит, я потеряла ключ, когда садилась в лодку перед нашим путешествием. И вот тут на нас с Алешей напал истерический смех. Его вызывало все, что мы видели по дороге к дому. И после бани, когда нас переодели в сухое и накормили, веселье от нас не уходило. По телевизору как раз показывали регату, Алеша шутил, показывая на приближающуюся к финишу байдарку, что это мы плывем, это наша лодка, это мы победители.

Удивительным в этом приключении было то, что мы не простыли, не заболели. Возвращаться домой в легкой одежде было холодно, но и это на нас никак не подействовало. Не оказалось у нас мозолей, хотя у меня они появляются даже после того, как режу хлеб. Все это казалось нам загадочным, непонятным, «булгаковщиной», по определению Алеши. Когда мы приехали в Пермь с корзиной гостинцев из Витинога сада для Нины Вадимовны, первым делом, дрожа от холода, зашли в «Соки-воды», выпили «для сугреву» «Медвежьей крови» и разошлись по домам. У меня уже были собраны в

дорогу вещи. Нужно было поторопиться, чтобы успеть до начала учебного года устроиться в Екатеринбурге на работу.

Вскоре после нашего с Алешей путешествия ко мне ворвалась Вера. До нее дошли слухи о нашем исчезновении. Разразился скандал. Она кричала (я впервые услышала несвойственные ей выражения), растоптала собранный Алешей букет из полевых цветов, его книги. Следом прибежал Виктор Болотов, извинялся передо мной, успокаивал Веру. Я тогда все видела, слышала и понимала, но не могла ничего говорить, настолько была поражена происходящим. А потом вспомнила, как она уже когда-то говорила мне о своем желании жить втроем, в окружении Вити и Алеши (мне это ее желание казалось диким, всерьез я его не восприняла). Алеша, узнав о скандале, учиненном Верой, был возмущен. И тогда, и потом, когда я говорила о своей возможной вине перед Верой, он убеждал меня, что его чувства к ней давно перегорели и ближе по духу ему всегда был Виктор, а не Вера.

Почти сразу после случившегося Вера, добрая душа, чувствуя, как мне тяжело, пришла со своим тортом мириться.

Из Перми провожал меня Алеша. У меня было два чемодана, заполненные нотами и пластинками. Мы сидели в моей полупустой комнате и ревели. Алеша уговаривал меня оставить эту комнату в Перми за собой, здесь мы смогли бы встретиться, когда я приеду, предлагал платить за нее. Но мне надо было ехать. Мы так и не дождались трамвая — поезд уходил вечером, трамваи уже ходили с большими перерывами. Пришлось идти, точнее, бежать. Мне казалось, что он бежит впереди, чемоданы — за ним. Как я ни пыталась взять у Алеши хотя бы один из неподъемных чемоданов, он их сам дотащил до конца. Хорошо, что вагон был первый, у перекидного моста. Мы прибежали, когда в нем уже закрывались двери. Так в конце августа 1982 года мы, обменявшись фотографиями, расстались во второй раз. Я тогда думала, что навсегда.

Но мы снова встретились в том же году в конце ноября. Я прилетела в Пермь из Ташкента (была у младшей сестры). Билетов до Екатеринбурга не было, но был билет до Перми. Тем более мне нужно было забрать оставшиеся в уже проданной комнате вещи. И я полетела.

Продажа недвижимости тогда велась подпольно. Я боялась этой процедуры, мне помогли продать комнату через своих знакомых Болотовы. Продали дешево, зато быстро, и я приехала домой из Перми не с пустыми руками. Потом на выру-

ченные деньги в Екатеринбурге купила пианино, палас, софу, люстру и бра. Новый владелец моей бывшей комнаты тогда еще в нее не вселился — был в отъезде. Крупные вещи из нее я раздала, но мелочь еще оставалась, ее-то я и хотела забрать. Пошла за билетом на вокзал и выяснила: до Свердловска ни в общий вагон, ни даже на проходящий поезд билетов нет. Деваться было некуда, я пошла в Союз писателей, где не раз до этого бывала. Алеша обрадовался, увидев меня. Тогда все, кто был там, собрались на юбилей Авенира Крашенинникова в Дом журналистов. Пригласили и меня. Куда я со своим багажом, в старом зимнем пальто, которое дала мне сестра, отправляя из Ташкента? Но Алеша уговорил пойти. Однако почти сразу его с юбилея забрали. Пришли Оля с гостившей тогда у них ее матерью, вызвала его, Алеша стал быстро собираться и ушел. Оставшись одна, я расстроилась: одиноко, деваться некуда. Я решила пойти ночевать на вокзал. Мое состояние тогда заметил почти незнакомый мне Леонид Юзефович, подсел, расспросил, чем расстроена, и, желая поправить мое настроение, пригласил танцевать. Кончилось тем, что Вера попросила Радкевича взять меня переночевать к себе. Он был тогда после инсульта. Мы пешком добрались до его дома: он с палочкой, я — с чемоданами. Владимир Ильич пообещал, используя связи, достать мне билет на поезд. И достал дня через два.

После этого случая боль и обида на Алешу за то, что он ушел, ничего мне не сказав, были так велики, что я решила забыть его, стереть из памяти все, что нас связывало. Позже, когда я у него допытывалась, почему он тогда так поспешно ушел, он мне нехотя рассказал: его обманули, чтобы забрать домой, а из дома он уже не мог уйти...

Поздно вечером перед Новым 1983 годом мой старший брат Женя кликнул меня к телефону, сказав, что меня спрашивает какой-то Владимир Ильич, это, мол, наверное, предновогодняя шутка. Я взяла трубку. Это был Радкевич. Он поздравил меня с Новым годом и стал уверять, что Алеша Решетов любит меня, а тот случай в Доме журналиста был недоразумением. Потом передал трубку Алеше...

После того звонка наши отношения с Алешей больше не прерывались, сводились они к междугороднему общению по телефону и к редким, коротким встречам. Надежды на счастливую совместную жизнь ни у него, ни у меня не было. Больше в той «жизни» было тоски и грусти, чем радости. При встречах Алеша все время сокрушался — почему-де другим дозво-

лено быть вместе, а нам нет. Но ни он, ни я не могли позволить себе оставить своих родных, чтобы соединиться самим. К тому же, на меня угнетающе действовало холодное отношение ко мне некоторых близких Алеше людей. Я чувствовала себя неуверенно рядом с ними, ощущала неестественность своего положения перед родными, друзьями и знакомыми Алеси, которые не догадывались об истинных наших чувствах, а может, и не желали их по каким-то причинам. Так было. Да и сейчас я иногда ощущаю то же самое.

Но настолько ли это важно было для нас? Меня успокаивало и ободряло то, что говорил мне по этому поводу сам Алеша, он стал определять свое отношение к людям по их отношению ко мне. Понимавших нас и доброжелательно относящихся к нам, слава Богу, было немало, да и сейчас их значительно больше. Но главным я считаю то, что среди принявших меня была мама Алеси, Нина Вадимовна. Впоследствии он не раз повторял мне слова, сказанные ею незадолго до смерти: «Теперь я могу умереть спокойно — у тебя есть Тамара».

Чувствовала я неловкость и перед своими родителями — мчусь к мужчине по первому его зову. Порой ехала к нему сразу после работы на 1-2 выходных дня. Бывало и так, что он, не желая отпускать меня, рвал мой обратный билет, мне приходилось звонить маме, чтобы она договаривалась на моей работе о переносе уроков. Теперь я жалею, что позже, когда мы уже жили совместно, уничтожила скопившиеся от этих поездок билеты. Ненавязчиво я пыталась со своей стороны делать все, чтобы облегчить ему жизнь, всегда старалась помочь в его трудных жизненных ситуациях. Окружающее без Алеси меня мало интересовало. Я жила то во тьме — без него, то в озарении — когда он был рядом. Чтобы переносить порой долгую разлуку и заглушать тоску, все силы отдавала работе и дому. Со мной всегда так бывало: чем тяжелее и тоскливее становилось на душе, тем лучше шли остальные дела. Думаю, вряд ли случайно судьба соединила нас вопреки всему — к нашему обоюдному счастью. И воспринимали мы его одинаково, как «...истинное чудо — почти за гранью бытия...»

Мыслей о совместной жизни с Алешей, а тем более о замужестве у меня никогда не возникало, речи об этом я с ним не вела. Разве это возможно? Даже выйдя за него замуж, я долго привыкала к мысли, что я его жена. Жаль, конечно, что разные обстоятельства и люди то сводили нас, то разводили, что оба мы были нерешительными, разуверившимися в воз-

возможности своей счастливой личной жизни. Говоря его стихами: «...Мы к бедам привыкли. Нам счастье не впрок». Это действительно так. Несмотря на его уверения в своих чувствах ко мне, я слишком долго не могла поверить тому, что меня любят. Сказывался мой горький опыт, неудачные попытки построить семью. Много позже я поняла, что виной всему была моя открытая всем, в том числе и негодяям, душа. К тому же, оба мы больше думали в этой ситуации не о себе, а о своих родных. Так и мучились — каждый забываясь в своей работе.

В те времена Алеша часто повторял мне, что теперь хорошо понимает слова «моя половина» в их настоящем, а не ироническом смысле — не так, как он раньше воспринимал их, слыша от других. Он уверял меня: «Ты не только моя половина, ты — моя лучшая половина» (с последним я, естественно, не соглашалась). Теперь я снова остро ощутила и по-настоящему осознала оставшуюся от этого единого целого половинчатость моего нынешнего существования, растерянность и незащищенность в опустевшем без него мире. Но все же живу — во имя его памяти, и пишу теперь об этом, как могу. Надеюсь, что мои записи помогут близким по духу его читателям лучше понять Алешины стихи, а через них и его самого.

Первый раз ко мне в Свердловск Алеша приехал осенью 1983 года, за год до кончины папы, пробыл у нас недели две. Когда он, приехав, позвонил Нине Вадимовне и сказал ей, что уже дома, она ревниво возмутилась: «А! Так значит это уже твой дом?» И у нее была ревность ко мне, хотя терпимость тоже. Оля же поначалу не очень жаловала меня. Негласной хозяйкой в доме Решетовых была она. После знакомства с Алешей мой папа, тогда уже очень больной, почувствовал, насколько мы с Алешей дороги друг другу. Он даже уговаривал маму поменять нашу екатеринбургскую квартиру на Пермь. Но все осталось по-прежнему и не могло не отразиться на наших настроениях и, думаю, на его стихах. Мы ждали звонков друг от друга. Когда я уходила на работу или еще куда-то с мамой, папа успокаивал меня, говоря, что остается «телефонистом». Я очень боялась пропустить звонок от Алеши.

В 1984 году, 2 октября, умер мой папа; ровно через 15 лет, 2 октября — мама, и 2-го же октября — день кремации Алеши. Такое вот произошло совпадение событий, связанных с самыми любимыми мною людьми. Смягчить боль от потери папы нам помогла собачка Джулька, щеночек, которого подобрали в Перми Алеша и Оля. Его нам с мамой посоветовала взять

Нина Вадимовна весной 1984 года. В доме Решетовых всегда были животные: черепаха, кошка, попугай, подобранные на улице собаки. Кормить же бездомных собак и птиц было у них, а потом и у нас с Алешей в Екатеринбурге, в порядке вещей. Джуля прожила у нас очень долго, была нашей общей любимицей. Хоронили мы ее уже с Алешей.

Примеров его сердечности, отзывчивости множество. Черты эти были присущи ему с детства. Директор березниковского музыкального училища, наша с Алешей общая знакомая, Эрна Андреевна Тибелиус, когда-то в школе, где он учился, преподавала немецкий язык. Ей запомнилось, что в то голодное время Алеша, сам тощий и голодный, отдавал в перерыве между уроками кусочки сахара, выдаваемые ученикам, более слабым детям. В начале восьмидесятых годов, когда Алеша жил уже в Перми, ему позвонил один из березниковских друзей, чему я сама была свидетельницей, умолял достать для своей больной раком жены авиационный спирт. В Перми найти его Алеше не удалось. Он, вскоре приехав ко мне в Екатеринбург, все же достал этот спирт — через нашего общего товарища, «всесильного» Яшу Андреева. Потом он доставал, уже в Березниках, для екатеринбургского поэта Сергея Кабакова какой-то аккумулятор. Доброта его была естественной, не нарочитой, она присутствовала в нем изначально. Даже перед своей кончиной, в больнице, узнав о бедственном положении одного своего старого знакомого, он попросил отослать ему в Соликамск деньги. Об ответной благодарности, которую тот выразил в письме, Алеша так и не узнал. Да он и не ждал ее.

На зимние каникулы, после празднования Нового 1986 года, я приехала к Алеше в Пермь. У них, как всегда на Новый год, стояла прекрасная елка. Заходил Юра Марков с фотоаппаратом, он тогда увлекался фотографией, сделал несколько снимков. Тогда Алеша впервые предложил мне стать его женой. Он завел меня в комнату к Нине Вадимовне и сообщил ей об этом. Она поздравила нас, сказав: «Ну и слава Богу». Мы не узаконивали наши отношения и не афишировали их, поскольку продолжали жить в разных городах.

Позже Алеша познакомился со всеми моими братьями и сестрами, их детьми и внуками, с папиной сестрой, тетей Зоей, к которой любил ездить в гости.

3 апреля 1987 года — 50-летний юбилей Алешы. Я смогла приехать только на следующий день, застала заночевавших у Решетовых Виктора и Веру Болотовых. Нина Вадимовна ска-

зала им тогда: «Все, ребятки, приехала Тамара, вам пора домой — я вызываю такси». Больше всех подарков он радовался прекрасно изданной большой книге с работами Пиросмани. Жаль только, что она не сохранилась, как и многие, дорогие для Алеши книги.

Отношение к книгам у Алеши было двойственное. В детстве о хороших книгах, в которых можно было бы поискать ответы на многие вопросы, не приходилось и мечтать. Семья Решетовых, оказавшаяся в изгоях и заброшенная в Соликамск, всегда трепетно относившаяся к книгам, долгое время не имела возможности их читать. С годами хорошие книги с трудом, но приобретались. Алеша считал: то, что доступно всем сейчас, но чего лишены были многие дети и в его пору, к нему пришло поздновато. Он очень сожалел о своевременно не прочитанном. Но он считал: человек сам должен искать ответы на мучающие его вопросы, размышлять, познавая мир, вырабатывать свой взгляд на жизнь. На главные вопросы в книгах ответы не найдешь. Как и в разговорах, ты можешь получить из книг какие-то знания, подтверждения или опровержения собственным размышлениям. Интересна и игра мысли у талантливо пишущего человека. Но основное — в тебе самом... Среди многочисленных поэтов и прозаиков, им любимых, он особенно выделял Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Кафку, Гете и Данте.

1991 год. Еще одно важное событие. Смерть Нины Вадимовны, с которой у Алеши была глубочайшая связь, прошедшая через всю жизнь, некоторый намек на истоки которой дает запись, сделанная со слов Нины Вадимовны самим Алешей. «Первого апреля 1937 года отец улетел в командировку. Мать, именинница, с утра искупалась. Появился жарок. «За мной придет машина, увезет тебя в больницу, — решил отец. — Если что-то серьезное, я не полечу». Гинеколог сказал: «Рожать будете ровно через месяц. А жар от простуды — ничего страшного». И отец улетел. А мать свалилась дома с температурой сорок градусов. К бабушке пришли гости второго, а третьего маме стало так плохо, что пять раз вызывали «скорую». Кажется, на седьмой раз завопила сама врачиха — скорей в машину. А машины были тогда не приспособленные, обыкновенные ЭМКи. Только накинула тужурку. Боялась родить в машине. Привезли в гинекологическое отделение. А там: «Не к нам, у нас тут оборудования нет, несите в родильное». И там:

« Не к нам, у нее какая-то зараза! Несите обратно! » — « Мы тут бросим! » — взревели санитарки, но все-таки доволокли по этажам до гинекологии. Опустили носилки у дверей, в коридоре. « Не смейте заносить! Я сейчас наведу порядок! » — бросилась куда-то врачиха. И пока она бегала, я родился. В коридоре. У матери оказался тиф.

Сейчас, перебирая в памяти свою жизнь, усмехаюсь иногда: ну чего я так торопился? В этот прекрасный мир? »

Дальше судьба семьи Решетовых круто изменилась, планы на последующую жизнь, которая могла продолжиться в Москве, рухнули. Леонида Сергеевича арестовали за участие в антисоветской правотроцкистской организации. 13 апреля 1938 года, после мучительных допросов с пристрастием, расстреляли. Было ему 28 лет. Бумага из Хабаровска, последняя и самая точная, об этом событии, о стойкости старшего Решетова во время допросов пришла в то время, когда я в очередной раз приезжала к Алеше. Нина Вадимовна и Алеша плакали не скрываясь. Но он в то же время гордился: отец никого не оклеветал, не признал предъявленное ему обвинение.

Когда-то давно на мой вопрос, каким был Алеша в младенчестве, Нина Вадимовна ответила, улыбаясь: « Жуткий обжора и соня — с трудом отрывала его от груди. Он как чувствовал, что нас разлучат, наедался впрок. И когда за мной пришли, мне пришлось обвязать грудь вафельным полотенцем, чтобы не было грудницы. Так и ушла из дома аж на восемь лет! Оставив двух малышей... » Насколько можно было, о своем раннем детстве в Хабаровске после ареста мамы, Алеша рассказал в повести « Зернышки спелых яблок ». После войны была долгая дорога ее детей и матери из Хабаровска в Березники. Здесь после Казахстана и Соликамска Нина Вадимовна досиживала свой срок. Об этом периоде своей жизни — детстве и юности в Березниках — Алеша коснулся в своих набросках к так и неосуществленной повести « Ждановские поля ».

От рождения Алеша был слаб здоровьем, но чуток, нежен душой, сохранив эти качества до конца. В его юные годы, в атмосфере выживания, сверстникам вряд ли было понятно его восторженное восприятие окружающего, трогательное отношение к цветам, ко всем живым существам. Внимание Алеши привлекало то, что не занимало других. Например, его по-особенному притягивала вода. Приехав с бабой Олей и Беталом к матери в Боровск из Хабаровска, он побежал через лес, почувствовав за ним воду. Там действительно оказалась большая

река — Кама. И позже, когда мы приходили на набережную в Перми, глядя на Каму, он всегда вспоминал Амур. Обожал в Березниках речку Зырянку, почти исчезнувшую потом. Очень жалел, что не видел моря. Когда уже в Екатеринбурге мы ходили с ним вдоль Исети, он обязательно задерживался у водосброса около моста. Мы всегда оказывались у воды — на озере Шарташ в лесопарке, в дендрарии, во время наших походов за грибами.

Часто во время наших прогулок по Перми и Екатеринбургу, заглядевшись на какие-нибудь дерево, цветок, травку, бабочку, он удивлялся и сокрушался: вот, мол, где бесплатная красота и богатство. Любой человек может восхищаться, наслаждаться, радоваться, размышлять! И что еще нужно человеку в этой жизни, в которой все созданные людьми материальные богатства не стоят даже какого-то неприглядного с виду создания природы, не говоря уж о венце творения — самом человеке. И он неприязненно смотрел на однообразные, неприглядные здания вокруг, возведенные человеком, но его недостойные.

В детстве Алеша тоже пытался внешне соответствовать окружению, быть таким же смелым и независимым, как другие ребята. С восьми лет начал курить, сбежать с уроков... Как-то рассказал такой эпизод. Бывал с друзьями на рынке, где можно было детям, вечно голодным, чем-то незаметно пожить. Но он не мог ничего сам украсть с прилавка. Пока однажды не увидел маленькие круглые зеркальца с именами на обратной стороне. А когда нашел среди них зеркальце с именем отца на другой его стороне — Леня схватил его и побежал. Продавец за ним. И уже почти настиг воришку, но Алеша испугался и бросил зеркальце.

Он рано научился прятать свои чувства и привязанности от посторонних. Долгое время не давал ему покоя вопрос: такой ли он, как все, или, вдруг, не дай Бог, не такой. Поводов для различных комплексов в ту пору у всех хватало. К тому же Алеша был изгоем, сыном врагов народа. И еще его детское косоглазие, заниматься устранением которого было недосуг. Пытаясь скрыть этот свой недостаток при общении с людьми, он старался не смотреть на собеседников. Предметом насмешек было и то, что его долгое время называли не по имени, а... Гагой. Так звал его когда-то еще не умевший говорить Бетя. Но разве Гага может не быть бабушкиным сыночком? Да и крепким здоровьем Алеша не отличался, не то что брат. Как-

то после одного из возобновившихся в 1980 году приступов эпилепсии, он сказал, что впервые, по словам бабы Оли, случился с ним приступ в четыре года. Он часто болел ангиной и аллергией. В семнадцать лет лежал в больнице по поводу болезни сердца. Он нередко попадал в нелепые ситуации. Вспоминая, весьма выразительно изображал, как баба Оля его «наказывала» за это — стучала костяшкой среднего пальца по его голове, приговаривая: «Тетеря, тихая сапа, урод косоглазый...» Он очень артистично, с метким, но мягким юмором, умел изображать других. При иных обстоятельствах жизни из него мог бы получиться хороший актер, если бы, правда, ему удалось преодолеть боязнь внимательного постороннего взгляда, направленного на него. О чем он даже написал стихотворение:

Бредем ли мы по наледи,
Идем ли по коврам,
Всегда тревожно на люди
Показываться нам.
И лишь от неба звездного
Не прячем мы лица —
Больные дети поздние
Любимого Отца.

Он говорил, что, даже когда они ставили дома — для своих «Отелло», его трясло от волнения. И все же среди близких ему людей в хорошем расположении духа он часто куражился, изображая кого-либо. Что-то неуловимо схожее можно было уловить, глядя на него в такие моменты, то с Евстигнеевым, то с Джигарханяном, то с Мягковым, то с Гафтом, и даже со Смоктуновским. Он любил смотреть старые киноленты, особенно с Чарли Чаплином, обожал Мартинсона, Вицина, Маркова, Грибова и многих других наших и зарубежных актеров и актрис. А вообще характером, манерами, обаянием он очень напоминал мне некоторых героев фильмов, сыгранных Марчелло Мастоянни.

К музыке относился благоговежно, понимал ее и ставил выше поэзии. Превозносил музыку и хороших исполнителей за то, что они, по его словам, могут лучше передать неуловимые для словесного выражения чувства. То, что он понимает музыку, я, наблюдая за ним, видела по тому, как он слушал и реагировал на нее. Алеша знал много песен и романсов, самозабвенно пел, хотя голос и не всегда подчинялся ему. Потому при чужих он не пел. У меня была книжка «В нашу гавань заходили корабли». Когда мы ее читали или смотрели телепе-

редачу с таким же названием, он подпевал и вспоминал другие подобные песни из своего детства и юности. Обожал Вертинского, знал все его «арии» и очень похоже изображал его манеру исполнения. Любил Вадима Козина, Изабеллу Юрьеву, Аллу Баянову, Клавдию Шульженко. О Шалайпине, Лемешеве и говорить не приходится — это его кумиры. Очень внимательно слушал Моцарта, Вивальди, Шнитке, вообще классическую музыку. Иногда, слушая мою игру, — я тогда часто импровизировала, — он подходил к пианино. Иногда сам напевал некоторые из своих стихов, а я пыталась ему подыгрывать. Мы так понимали друг друга! — и это было здорово... Он очень хотел встретиться с Окуджавой, когда тот был в Екатеринбурге, знал его песни, вслух читал отрывки из его прозы. Очень сожалел, что Яша Андреев, имея на то возможность, не пригласил его — пусть не поговорить, но хотя бы послушать его вживую. Встречу с Окуджавой в студии, где был и Яша, мы потом смотрели по телевизору. Яша Андреев был в Екатеринбурге самым близким нашим товарищем, мы, как говорится, дружили домами с первых приездов Алеши ко мне. Навещали его, когда он дважды лежал в кардиологии, и хоронили его, когда он неожиданно скончался от гриппа.

Часто рассказывая грустно-смешные случаи из прошлого, о людях, окружавших его в детстве, Алеша считал это время самой милой и доброй порой. Отсюда и множество его стихов о детстве. Детскость в восприятии окружающего мира сохранилась в нем, ставшим мудрецом, до конца.

Было время, когда говорить открыто обо всем, что на душе, было небезопасно. Потому и писал он больше для себя, так выговаривая наболевшее, не надеясь, что написанное будет когда-то прочитано и уж тем более напечатано. Многие стихи он уничтожал, иные не отдавал в печать. Такие, например.

Какими были мы в начале
Своей неведомой судьбы?
Мы ничего не замечали,
Окромe маминой груди.

Потом отец ржаные крошки
Стал добавлять в мои глотки.
А там по сталинской дорожке
Носиться стали «воронки».

Теперь иные есть машины:
«Продукты», «мебель», «молоко»,

И только днем шуршат их шины,
А жить, как прежде, нелегко.

Нас навсегда оклеветали.
Нас запугали до конца —
И горькой маминой печалью,
И тайной гибелью отца.

В нас появилось озлобленье,
И сила воли, и упрек,
И для грядущих поколений
Святой, бесхитростный урок.

Как известно, в то время многие «теряли себя». И теперь происходит это с людьми, только устремления в наше время у большинства изменились. С Алешей этого не произошло. Он не сломался, не побоялся открыть миру свой богатейший внутренний мир, не побоялся рассказать о своих переживаниях и раздумьях... В «барачной» среде, где подрастал Алеша, употребление так называемой бражки было неизбежным, потому обычным явлением. Позже Нина Вадимовна сокрушалась: тогда еще был жив Бетал, во время застолий Алеша заражал всех остроумным весельем. Гибель любимого брата изменила судьбу его и привычки. Но Алеша оказался не таким слабым, как о нем некоторые думали, до последнего мига своей жизни он оставался в ясном уме и рассудке, а совесть никогда не терял.

Нина Вадимовна умерла 12 мая в больнице. Алеша сообщил мне об этом по телефону, попросил приехать в Березники, где 14 мая должны были похоронить Нину Вадимовну рядом с Беталом и бабушкой Ольгой Александровной. После этого звонка я на какое-то время от волнения даже потеряла зрение — так испугалась за Алешу и Олесю. Мама велела мне ехать, поддержать его. Отпросилась на неделю с работы и выехала в Березники. Встретила меня подруга Таня Лопатина, давний друг и семьи Алеши, чтобы отвезти на кладбище. Похороны уже начались, я не знала места, где похоронены Бетал и баба Оля. Среди хоронивших было много хорошо знавших Нину Вадимовну друзей Алеши из Перми. Ни на похоронах, ни на поминках к Алеше меня не допустили Оля и ее мать. Я, переночевав у Тани, пошла на вокзал, купила билет в Екатеринбург, вернулась, чтобы дожидаться ее с работы, отдать ключ. Только зашла в квартиру, зазвонил телефон. Это был Алеша. Он негодовал из-за того, что я исчезла, не подошла к нему на

похоронах и на поминках. Возмутился, что от него скрывали, где я, пока он не учинил скандал... Выслушав его, я смогла лишь сказать, что меня к нему не подпускают, я сейчас уезжаю домой.

Тогда и потом, он все допытывался у меня: кто это проделал с нами? Я ему так ничего и не сказала...

Приехать к нему в Пермь я смогла лишь летом, в отпуск. В тот год умерла долго жившая у них собачка Бланка. Оля купила на рынке щеночка, которому мы долго придумывали имя и назвали в честь ранее бывшего у них пса Милордом. С ним мы нянчились, носили везде с собой в моей маленькой сумочке, даже в лес. Потом он вырос в огромного, очень самостоятельного и любимого всеми нами пса.

А теперь о нашей официальной женитьбе, которая произошла в Перми в феврале 1994 года. Дело в том, что Оля возобновила тогда отношения с будущим своим мужем, хотела устроить свою жизнь, потому «позволила» и нам узаконить наши отношения, сказав, хватит, мол, нам жить как нехристям. Предполагалось, что Алеша переедет жить со мной и моей мамой в Екатеринбург. Оля же со своим мужем останется в Перми. До этого вопрос об узаконивании наших отношений мы никогда не обсуждали, сам факт совместной жизни казался нам несбыточным.

Спустя месяц после подачи заявления в загс я приехала, отпросившись с работы, в Пермь — предстояла регистрация. Зарегистрировать брак мы должны были 11 февраля, в пятницу, а венчаться — 13 февраля, в воскресенье в Пермском Петропавловском соборе.

Февраль в 1994 году был необычно холодным. В 30-градусный мороз мы мужественно дошли до загса Кировского района, где нас быстро, без всяких церемоний и свидетелей, зарегистрировали, выдали уже готовые свидетельства. Весь следующий день готовились к обручению. Постились, приготавливались к исповеди. Вечером Оля приготовила три одинаковые Священные книги, и мы втроем — Алеша, Оля и я — в Алешиной комнате перед иконой Тихвинской Божьей Матери долго стояли каждый со своей книгой и свечой. Оля читала вслух перед иконой то, что положено — мы следили за текстом и, где надо, молились. Эту икону, а также выданные нам после венчания две иконки и остатки зеленых венчальных свечей мы позднее привезли в Екатеринбург. Алеша все беспрекословно

выполнял. Труднее всего для него было то, что нельзя было курить с вечера и до конца церемонии венчания — почти двое суток. Свои грехи он записал. Где он только их «накопал»? Я не читала эти записи, но видела, что список велик. Он был в тот период очень тих, сосредоточен, серьезен...

С таким же аскетически выдержанным выражением лица он был и в последние три месяца своей жизни...

В день венчания было холодно — за тридцать градусов мороза. Мне пришлось вместо приготовленного для такого случая довольно легкого костюма надеть поверх еще и теплый костюм. Алеша был в огромных черных валенках и в тулупе, который я ему когда-то перешила из сторожевого тулупа Владимира Михайлюка. Мы пришли втроем в Петропавловский храм к утренней службе. Оля тогда работала там, писала иконы, нас служители — отец Николай и его сын, отец Василий — знали хорошо, особенно Алешу. Мы и раньше не раз были в этом храме.

После утренней службы началась исповедь. Алеша исповедовался очень доброму и милому отцу Николаю, который на каждый следующий озвученный Алешей грех удивленно восклицал: «Алексей Леонидович, как же так, неужели и это? Ничего, Бог простит; и это, и это? Не может быть — наговариваете на себя? Ну, ничего, ничего — все это простится». А Алеша все продолжал печально, с мрачным и решительным видом зачитывать свои, как он считал, страшные грехи. Я-то знаю, что, скорее всего, это были незначительные, мало от него зависящие, проступки, раздутые им до размеров грехов. Он всегда судил себя строже, чем следовало бы. Но во время исповеди батюшке даже неловко было за него. Он поспешно накрыл ему голову и пообещал прощение, сказав, что будет молиться за него.

В это время я исповедовалась сыну отца Николая, отцу Василию. Алеша всегда восхищался его проповедями, трепетно к ним обоим относился и всегда с теплотой о них говорил. Я тоже рассказала о своих грехах и покаялась. Самым же большим грехом отец Василий признал тоску. Он строго сказал, что супруги не должны жить врозь и нужно сделать все возможное, чтобы жить вместе. Никогда не забуду как после исповеди, когда я отошла от отца Василия, у меня долго безостановочно текли слезы. Несмотря на все мои старания скрыть их, женщина, стоявшая рядом, заметила мое состояние. Она стала успокаивать меня шепотом, говоря, что это хорошо и что это слезы очищения.

Исповедовались мы с Алешей в разных концах храма, по бокам от алтаря. После службы мы нашли друг друга, и, когда народ стал покидать храм, к нам подошел отец Николай и сказал: «Потерпите, дорогие, сейчас вот обвенчаем две богатенькие пары и потом спокойно займемся вами».

Наконец мы дождались своей очереди. Почти все, кроме нескольких любопытных, покинули храм. Мы окоченели и от холода, и от ожидания. Естественно у нас не было, как у предыдущих пар, ни свидетелей, ни друзей, ни близких (кроме Оли), ни людей с камерами, которые могли бы запечатлеть это событие — никому о нашем венчании мы не говорили. Венчали нас оба батюшки, и Оля что-то вслух читала вблизи по церковной книге.

Все было прекрасно и таинственно. Колец своих у нас не было, поэтому пришлось воспользоваться кольцами моих родителей. Кольца эти, вспомнив о том, что при венчании должно обменяться кольцами, дала мне перед отъездом моя мама. Они были нам обоим велики, сразу после венчания мы их сняли и больше не надевали. Своих колец мы так и не приобрели. Когда мы с Алешей в коронах обходили вокруг алтаря, на меня вдруг нашел какой-то нервный смех — я с трудом сдерживала себя, душила в себе всхлипы. То ли это был смех сквозь слезы, то ли наоборот; то ли смешная ситуация во время этого обхода вокруг алтаря. Возможно, это была невольная реакция на напряжение, которое как нарыв прорвалось, когда я увидела Алешу в валенках, тулупе, серьезного, оглядывавшегося на меня, в соскальзывавшей с головы короне. В общем, ситуация для смеха была крайне неподходящая. Потом Алеша спрашивал, что это на меня нашло? И добавлял, что и сам едва сдержался. Объяснил же он эти оглядывания на меня тем, что очень хотел увидеть меня в короне. Видок, конечно, у нас был еще тот! Так мы с ним и венчались — одетые во все теплое, храм восстанавливался, Алеша, как и положено в церкви, был без шапки.

Мы поблагодарили Отца Николая, отдали ему кагор, гостинцы для внуков — апельсины и яблоки, и он пригласил нас посидеть в трапезной, но мы, поблагодарив его еще и за это, пошли домой.

Вечером к нам пришли Владимир Михайлюк с Ритой — принесли яблоки и две кружки, спели поздравление, пожурили, что никого не оповестили. Мы их попросили и дальше не распространяться о нашем венчании. Потом пришла подружка

Оли Марина — поздравила нас и подарила старинную кулинарную книгу. Эту книгу Алеша потом читал как произведение искусства. В общем, все прошло, как мы и хотели, инкогнито. Да и они-то узнали о нас лишь потому, что и Марина, и Рита тоже были тесно связаны с церковью...

Когда мы приехали домой, в Екатеринбург, мама встретила нас хлебом с солью и благословила иконой Казанской Божьей Матери, сохранившейся после ее с папой венчания. Венчались они, естественно, в советское время тайком. Потом приехали из Тюмени сестра Вера с дочерью Лерой, и было все довольно радостно и весело. Несколько дней спустя дочери моего старшего племянника Андрея, Майя и Женя, устроили для нас дома концерт: Майя играла на скрипке, Женя на виолончели. Обе пели, играли на пианино. Вскоре Алеша опять уехал в Пермь.

В целом же, 1994 год был для нас тяжелым. Правда, летом был мой отпуск, состоялась незабываемая наша поездка по северу Пермской области (через Соликамск в Чердынь и Ныроб) с Федором Востриковым, его женой Ритой и фотохудожниками Владиславом Бороздиным и Станиславом Черниковым. Но, вернувшись, мы узнали, что Виктор Болотов при смерти, дни его сочтены. Алеша так переживал, что, когда мы подошли к его дому, не сразу решился войти, послал меня вперед. Это была последняя — тяжелая, но одновременно и светлая его встреча с другом. Виктор был рад нашему приходу, тому, что мы поженились, был как-то непередаваемо светел, старался держаться бодро. Даже встал с постели, попросив Веру дать ему висевший на стуле, приготовленный Верой, чтобы одеть его на Виктора после смерти, костюм. Несколько минут посидел, поговорил с нами на кухне. Потом, из-за сильной боли, вернулся в свою комнату на кровать, попил воды из Ныробского святого источника, которую мы привезли ему. Ушли мы от него с тяжелым сердцем. На следующий день Вера нам сообщила по телефону, что ночью Витя скончался. Произошло это 20 июня. Потом были отпевание, похороны и поминки у Веры.

После узаконивания наших отношений мы еще какое-то время продолжали жить в разлуках, хотя они были уже не так часты, и закончились совсем после окончательного приезда Алеша ко мне в 1995 году. Но и тогда, случалось, Алеша ездил по разным служебным и семейным делам в Пермь. А прописаться в Екатеринбурге он смог лишь в 1999 году, уже после

смерти моей мамы. Тогда он окончательно распростился с Пермью и пермской квартирой, разделив ее с Ольгой.

Алеша избегал разговоров о себе, старался не обременять никого своими проблемами и не отнимать тем самым время у собеседника. Лишь очень немногим он мог обмолвиться о личных своих проблемах, мыслях и чувствах, да и то вскользь. Порой он нуждался в доверительном, откровенном общении, в литературных советах. Он находил одобрение и поддержку у своих друзей, к которым всегда очень тепло относился. Перечислю здесь лишь часть этих людей, связанных с писательством. В Березниках и Перми это Виктор Болотов, Павел Петухов, Юрий Марков, Вячеслав Божков, Лев Давыдычев, Алексей Домнин, Владимир Радкевич, Надежда Гашева, Роберт Белов, Ирина Христолюбова, Дмитрий Ризов, Семен Ваксман, Валерий Виноградов, Федор Востриков, Анатолий Гребнев, Виктор Соснин, Николай Вагнер, Николай Кинев, Александр Старовойтов; свердловчане Яков Андреев, Майя Никулина, Александр Кердан, Андрей Комлев, Сергей Кабаков, Владимир Чижов и многие-многие другие, близкие ему по духу и творчеству люди. Многих из них ныне тоже нет с нами.

Сокровенное, высказанное так емко в стихах и прозе Алексея, не может не задевать души внимательных и чутких читателей. Он ценил таких читателей выше авторов, верил, что они способны простить его заблуждения, понять и разделить сомнения, быть собеседниками авторского сердца...

Именно таким читателем был он сам. Подобное сейчас происходит и со мной: через его литературное наследие, не отпускающие меня думы о нем и о нас, мною явственно ощущается некая связь с ним — правда, на новом теперь для меня уровне, не материальном. Как когда-то во время наших временных разлук, я продолжаю мысленно общаться с ним, жду и нахожу его поддержку. Порой это похоже на некое наваждение. Как-то однажды он явственно спросил по телефону, что я сейчас делаю, чем занимаюсь? Я ответила, что читаю (не помню сейчас что именно). На это он мне сказал в обычной своей шутиливой манере что-то вроде: «А ты читай только меня». Сначала я этому не придавала особого значения, восприняв как шутку. Но сейчас, перечитывая некоторые, в том числе и его любимые книги, я вижу: мне действительно важнее перечитывать то, что им написано или что связано с ним.

Алеша давно почувствовал трагизм происходивших в нашей стране перемен, ощутил наметившуюся духовную дегра-

дацию людей. Несмотря на кажущиеся после перестройки внешние признаки постепенного материального улучшения жизни, действия большинства людей стали направляться на удовлетворение эгоистических, сиюминутных интересов, на улучшение любыми средствами своего личного благосостояния. Видел он и то, что есть у нас еще и другие мыслящие люди, озабоченные будущим, сохранением духовных качеств. Но их все меньше, они пребывают в одиночестве, от них мало что зависит. Причисляя и себя к таким, он написал однажды:

Пусть мы прозрением озарены,
Пусть наш голос становится вещим,
Мы все равно никому не нужны —
Мы примелькались, как старые вещи.

Переживая разного рода житейские невзгоды, он успокаивал себя, нас с мамой, друзей, говоря, что хороших людей все равно пока еще достаточно. Особенно он огорчался, видя пагубные пристрастия у молодежи.

Как он воодушевился, побывав на отчетном концерте в музыкальной школе, где я работала! Школа базовая, размещалась в специально построенном здании, оснащена самым хорошим для тех лет оборудованием и инструментами, работали здесь профессионалы с консерваторским образованием, обучали детей музыке с 3-х лет. Сюда за опытом приезжали директора, завучи и педагоги из самых разных мест. Они бывали и на моих уроках. Я по своей методике занималась развитием у детей способностей импровизации и сочинительства. У нас проводились региональные конкурсы, в том числе ежегодный имени Прокофьева конкурс пианистов.

Концерт, на котором побывал Алеша, длился более двух часов. Выступали дети со всех отделений. Зал был заполнен, даже в проходах. За весь концерт никто даже не кашлянул. Алеша был поражен детьми, их лицами. Дома он восторженно говорил моей маме, что не ожидал увидеть столько прекрасных, одаренных детей, но при этом опасался, не испортятся ли они, попав во взрослый мир со всеми его соблазнами и дурными наклонностями их подросших сверстников.

И опять всплывают в сознании его строчки:

...Но одумался, но отдышался —
распугали ворон соловьи.
Только вами я и восхищался,
молодые потомки мои!

Алеша не раз бывал в классе, где проходили мои уроки. Он даже по моей просьбе писал стихи, на которые дети потом с удовольствием сочиняли музыку.

Теперь, проходя мимо своей трамвайной остановки, я вспоминаю, как он встречал меня с работы. Но все же он ревновал меня к работе. Мама говорила, что дома он скучал без меня, просматривал расписание уроков, приклеенное к кухонной стене, смотрел на часы и шел меня встречать на трамвайную остановку. За год до своей смерти особенно сильно хотел видеть меня постоянно, настоял на том, чтобы я ушла с работы.

Нашей общей мечтой было тихо жить в уединении где-нибудь в деревне. Еще он хотел свозить меня, продав свою квартиру, в Хабаровск, Владивосток, Грузию и даже в Париж. Любил заходить в магазин и рассматривать, как на экскурсии, появившиеся в изобилии продукты, особенно овощи и фрукты. Всегда помогал мне готовить еду и делал это тщательно и красиво. Еще любил наши прогулки по городу, но особенно, наши частые походы в лес за грибами. Мы ехали в электричке, выходили там, где нам больше нравилось. Но потом облюбовали постоянную станцию — Мраморскую. Мы часто читали друг другу то, что было интересно обоим. Понимали друг друга без слов, часто ловили себя на том, что думаем схоже, а то и одновременно о чем-то начинаем говорить...

И, наконец, самое тяжелое. О смерти. Она чуть-чуть не случилось весной 2002 года. Он первый раз лежал в пульмонологии в Екатеринбурге. Пролежал месяц (больше не держали), выписался с высокой температурой, которую скрыл. К лету он поправился, что стоило огромных его и моих усилий.

Позже я обнаружила в тетради, которая была с ним в больнице, черновики его стихов «Я думал, что не доживу до весны» и «Опустела, одичала, опустела от тоски...»

Алеша очень любил жизнь, принимал ее без иллюзий такой, какая она есть, и всегда самостоятельно справлялся со всеми житейскими невзгодами и неурядицами. Он много размышлял о бренности жизни, о неизбежности конца, как бы готовя себя к достойному уходу. Меня потрясает мужество, с которым он завершил свой земной путь на моих глазах и в буквальном смысле — на моих руках.

Лег он в больницу 23 сентября. Нас торопили с составлением трехтомника, работу над которым мы начали за неделю до этого. Мы рассчитывали продолжить работу в больнице. Но на

пятый день меня неожиданно вызвала по телефону в больницу лечащий врач Алеши, предупредив: я должна приготовиться к худшему. О подробностях трех дней, в которые он боролся за жизнь, когда во мне отчаяние сменялось надеждой, я напишу, возможно, когда-нибудь позже... Умер он сидя, до последнего мига находясь в ясном сознании. Склонил голову на мое плечо, но на плече было твердо, я ему подставила ладони, и он склонил голову на них. Так мы сидели какое-то время. Дыхание его постепенно стало ровным, потом он повернул голову ко мне, улыбнулся и как-то легко вздохнул... Мой племянник Андрей, навестивший его, сказал: « Это конец ». Было 16-30, воскресенье, 29 сентября 2002 года.

Любовь моя к нему не проходит, становится осязаемее. Все мои мысли и чувства, как и при его жизни, сосредоточены вокруг него, словесному выражению не поддаются. По любому поводу в сознании возникают строчки его стихов — всегда очень точные, дорогие... Чаще грустные, они ощущаются как бы материализовавшимися, живыми: успокаивают, поддерживают и отвлекают... Если раньше строки « Нет детей у меня. Лишь стихи окружают меня, словно дети... » он, молодой еще в 1964 году, относил лишь к себе, то теперь они относятся и ко мне тоже. Ныне его стихи тоже стали для меня родными детьми. Кстати, ребенку нашему, о котором мы оба мечтали и который у нас зародился, но при нашей нелепой личной жизни с короткими встречами, неизбежными разлуками и переживаниями по этому поводу не мог сохраниться, было бы теперь за 20 лет...

Екатеринбург. Апрель 2006

ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕПУТЬЯХ

Штрихи к портрету Алексея Леонидовича Решетова

Трудно что-либо прибавить к тому, что уже сказал сам о себе в своих стихах и прозе Алексей Решетов. И все же попробую.

Вспоминаю: мастерская друга Генадия в глубине заблеванного алкашами двора позади кинотеатра «Художественный». Днем Генаша малевал в мастерской кинорекламу, а по вечерам общался тут со своими друзьями, свободными художниками. Политикой они «не интересовались»; тем, что время от времени почитывали и тамиздат и самиздат отечественный, не хвастались и вообще старались внимания к себе не привлекать и посторонних в свой круг не впускать.

Поэтому я и удивился, когда однажды в мастерской у Генаша увидел симпатичного и глазастого поэта из Березников. Поэт сидел за столом, вертел в руках темно-красный прутик вербы с распутившимися желтоватыми почками и улыбался, глядя на них.

— Как воробьята только что оперившиеся, — сказал он и пальцем осторожно погладил одного из «воробьят».

Мне понравилось, как он это сказал, как погладил «воробьятенка», и как блеснула в это время в его глазах весенняя голубизна неба, и все остальное как-то вдруг сразу тоже понравилось в нем. Стало ясно, что за простоватой его внешностью работяги скрывается что-то совсем непростое и необычное.

Его попросили почитать свои стихи, и он, не выпендриваясь, сразу же стал их читать. Прочитал первое, уж не помню

сейчас о чем, стихотворение, потом второе о девочке, несущей от родника в одном ведерке облако, в другом — солнышко, потом третье: «торопливо заглянув в ручей, косы рыжеватые осинка заколола шпильками лучей и накрыла сверху паутиной. И стоит, задумавшись, она, в сапожок брезентовый обуви. Полдень. Наливная тишина. Ждет осинка...» — поэт на мгновенье умолк и, вздохнув с завистью, закончил стихотворение: «...повезло кому-то»...

Все заплодировали и потребовали:

— Читай, читай еще.

В тот вечер березниковский поэт изредка пропускал стопарик, чтоб смочить горло, прочитал почти все стихи из первого своего еще не изданного сборника «Нежность».

Стихи были удивительными. Но еще удивительней было то, как ему удалось не подпасть под влияние фрондерствующих хлестко пишущих последователей Маяковского — Рождественского и Евтушенко. Его стихи были не столько стихами, сколько то карандашными или пером сделанными черно-белыми рисунками, то насквозь пронизанными светом и цветом акварельными, то пастельными снами-сказками в стиле Чюрлениса.

И поэтому березниковский поэт в мастерской сразу же стал своим в доску парнем.

В тот же вечер, вдохновившись то ли внешним обликом кучерявого, лобастого и глазастого поэта, то ли его стихами, мой друг Генаша начал писать его портрет, и, когда тот кончил читать стихи, портрет его вчерне уже был написан.

Выглядел он так. Хаос клубящихся форм, объемов, цветных пятен. И из этого хаоса струящихся потоков цвета и света глаз вдруг неожиданно выхватывает написанное, как через стекло «времени», лицо поэта.

Сочетание натурного письма с попыткой Генаша изобразить неизобразимое, не поддающееся тактильным ощущениям — Время в предельно сжатом Пространстве холста — вызвало какое-то тревожное и даже жутковатое ощущение.

Решетов долго разглядывал свой портрет. Похоже он ему нравился даже в черновом, не отделанном еще виде.

Сорок с лишним лет прошло с той поры. Нет никого уже из тех, кто находился тогда в мастерской. Нет и Алеши, а я все еще помню его стоящим в мастерской у Генаша около своего портрета. И тост, который предложил выпить за него похожий на Поля Гогена Юрка Заботин:

— Мужики, давайте выпьем за то, чтобы этот парень, слушай, как хоть звать тебя, а то неудобно как-то, не зная твоего имени, пить за тебя.

— Алексей... Решетов.

— Вот и славно, что ты Алексей божий человек. Ну вот, мужики, давайте выпьем за то, чтобы Алексей божий человек переплюнул когда-нибудь Серегу Есенина.

Все дружно выпили.

Уходя, Алексей сказал:

— Я к вам еще приду... Ладно?

— Само собой...

Но больше в эту мастерскую Алексей не пришел: прикрыли гебисты подозрительную мастерскую в глубине двора за «Художкой». Человек шесть, в том числе и моего друга Генашу, сгребли, посадили. За тунеядство. Была тогда такая статья для «свободных художников» и поэтов. Загремел по этой статье потом в Питере и Рыжик, Еся Бродский.

...Потом 1959 год. Июнь. Я, оставив свою Рязань, ездил по России, города смотрел. Остановился недельки на две в Перми. Приютили меня Авенир Крашенинников и Алексей Домнин, я то у одного, то у другого ночевал. Пора дальше ехать. Взял билет на поезд и пошел попрощаться с друзьями. Пришел к Авениру Донатовичу. Только что прошла гроза, с Камы дохнуло свежестью. Он вместе с Домниным устроили мне тогда скромный отъезд. Я уезжал в Москву во ВГИК учиться. Попрощался, встал, пошел к двери... И тут она открывается, в проеме экзотическая фигура: босой, мокрый, кучерявый и страшно довольный, в штанинах, завернутых до колен, Алексей Решетов. Его в ванну мыть. Потом с хохотом переодевать. Ни один размер одежды из имеющейся в доме не подходит. Всеобщая радостная клоунада. За стол. Первый стопарь. Теперь закусить нужно. Алексей залезает рукавами в чужие тарелки. Идут мыть запачкавшиеся рукава??? Веселая возня, хохот. Чтение стихов. Сорок с лишним лет спустя я не помню, что именно он читал тогда, потому что поразило меня в его чтении больше всего совестливость. Странные, казалось бы, слова, при попытке определить как именно читает поэт свои стихи... Но именно это — совестливость была свойственна, по свидетельству современников, всем великим русским поэтам при чтении ими своих стихов.

Был он удивительно странным в этот вечер... Я уехал, как потом выяснилось, на семь лет, с редкими короткими наездами в Пермь.

Чем больше я вспоминаю сейчас Алешу Решетова, тем все четче проступают в его необычайно талантливой личности черты трагически насыщенного человека.

Где корни этой его трагической насыщенности? В детстве? Нет, хотя детство его, прошедшее в бараке, стоявшем у самых ворот лагеря, обнесенного колючей проволокой, и было нелегким. Я думаю, мне так во всяком случае кажется, что исток его трагической насыщенности в его впитанной с молоком матери честности, порядочности и верности долгу.

Как князь, лишенный властью всех когда-то дарованных его предкам земель, он наплевал на свое княжеское происхождение и, чтобы смогла выжить его бабушка, вырастившая его с братом, мать и малолетняя племянница, пошел вкалывать на рудник.

Я знал немало людей, подобных Решетову, которых их честность и порядочность погубила. И слава Богу за то, что Алексея его честность и порядочность не погубили. Не берусь обозначать в его судьбе какие-то временные циклы, но это была его Судьба: свято верить в то, что на руинах прошлого можно построить светлое будущее.

Чинов не хочу и червонцев не чаю.
Зачем же сижу и пишу я ночами?
Зачем я не сплю и у Музы суровой
Прошу, трепеща, драгоценного слова?
Хочу, чтобы вам, горюны-горемыки,
Чуть-чуть помогли мои грустные книги.
Хочу, чтоб моя невеселая чаша
Была бы куда тяжелее, чем ваша.

Так писал он в одном из своих стихотворений. И это правда. Он всегда хотел, чтоб его невеселая чаша была бы куда тяжелее, чем наша.

Самым страшным, пожалуй, в жизни тех, кто родился в годы террора, было время хрущевской оттепели, когда вытало, как собачье дерьмо, выражение «как бы», знак, стирающий грани между «есть» и «нет». Вроде как бы появилась вдруг наконец-то свобода и как бы нет, началась вроде как бы жизнь и как бы не жизнь. Целое поколение шестидесятников вляпалось в это собачье дерьмо. И Решетов тоже.

В 1967 году я окончил ВГИК, на распределение не поехал, остался в Москве. Получаю от Авенира Крашенинникова письмо: приезжай, мол. Приехал в Пермь. Решетов был уже членом Союза писателей, но у него за семь лет, которые мы не виделись, были напечатаны всего лишь две книжки: сборник стихотворений «Нежность» и повесть о детстве «Зернышки спелых яблок». Меня приняли на работу на пермскую студию телевидения заведующим сценарным отделом. В архиве студии ни одного сценария. Одни воспоминания артистов, да и тех уже нет среди живых. В моей убогой берлоге, в старом деревянном домике у моста, ведущего к двум вокзалам — железнодорожному и речному, стали бывать Виктор Петрович Астафьев, Лев Иванович Давыдычев, Геннадий Солодников, Авенир Крашенинников... Я уговаривал всех их писать сценарии документальных фильмов. Отказывались: «не барское дело, мол... Мы — писатели, ты — сценарист, вот и пиши их».

— О чем? — спрашиваю.

— О Решетове, — подсказал Алексей Домнин. — Лучше поэта на Урале никогда не было. Ты с ним знаком?

— Шапочно...

— Так съезди в Березники, познакомься ближе.

В тот же вечер я позвонил Алексею, услышал:

— Ничего о себе рассказывать я не буду. Так что не приезжайте.

Я не знал, что думают, как относятся к людям «дети врагов народа». Не представлял, как буду писать о нем сценарий. Тогда я ему предложил:

— Напишите сами об эпохе тридцатых годов и о вашей жизни в эту пору...

В ответ:

— Ничего я писать не буду...

Он настороженный человек, а я в ту пору, нахальный...

И поехал я к нему в Березники в надежде его уломать, уговорить.

Обстановка суровая, встреча жесткая. Улица Ленина. Дом с аркой, в которой пахнет собачьей мочой. Решетов с глубокого похмелья, помятый. В дом пустил. На стенке в его комнате портрет Хемингуэя. На постели расстелен бушлат.

Очень короткая встреча, не более получаса. Разговаривать о деле, меня сюда приведшем, он отказался вообще. А я не могу найти к нему подхода. Что ни скажу — молчит, лишь сопит в ответ. Наконец:

— Я без мамы этого решить не могу. Как мама скажет, так и будет.

Входит Нина Вадимовна. Какое-то темно-коричневое платье на ней, белый, много раз кипяченый воротник. Предельно строгая.

Леша пересказывает наш с ним разговор, но не суть того, о чем, собственно, речь: что фильм о нем затевается... Леша совсем ступешивается, каждое его слово вязнет в нем.

Нина Вадимовна встала у стенки рядом с портретом Хемингуэя. Меня как током шибануло: ничего общего между нами! И точно.

— Ничего не выйдет, — говорит. — Рано вам фильм снимать. Надо материалы к нему собирать, а у вас, как я понимаю, ни чего нет.

— Ну что же, — говорю, — в таком случае, до свиданья.

— Прощайте, — не подавая руки, говорит Решетов, и вдруг: — Погодите! А мы с вами не встречались, случайно?

Он мучительно что-то вспоминает, глядя на меня.

— Было дело, — говорю.

— Где? Когда?

— В Перми, в мастерской за «Художкой».

— Странно, — говорит он, — мастерскую помню. Хозяина Генашу тоже помню. А вас — нет... Со мной такое обычно не случается, я всегда все помню.

И все же спрашивает:

— Что с Генашей? Поступил он в Академию художеств?

— Не успел, — поясняю. — Посадили как тунеядца. Пытался с собой покончить. Спасли. А потом он совсем спился и как-то зимой замерз у подъезда дома, в который его не впустили...

— А что стало с моим портретом? Он сохранился?

— Вряд ли...

— А с тем парнем, что был похож на Гогена?

— Его фамилия Заботин. Тоже сидел за тунеядство. Сейчас член Союза художников, участвует во Всесоюзных выставках...

Помолчали. Я собрался уходить. Алексей вдруг перешел со мной на «ты»:

— Ты не обижайся, что я скверно встретил тебя. Зайди завтра. Только не домой, а на солемельницу. Усек?.. Там и поговорим.

В номере гостиницы меня вдруг осенило. Так вот на кого похожа мать Решетова! Долорес! Есть такой портрет Долорес,

на том потрете в ней вся горечь Испании. А вот в ней, в Нине Вадимовне, — вся горечь России. Она — камень, Алеша — осколок камня. Потом я такую горечь видел еще только у Плисецкой: стоит в полном одиночестве, в черном, на сцене...

На солемельницу к Решетову я пошел. Посидели за обшарпанным столом. Рядом поднимаются со дна моря, высохшего еще двести восемьдесят миллионов лет назад, огромные ящики-скипы, со страшным грохотом изрыгают они из своих утроб руду, которая стремительным потоком несется дальше по транспортерам к жерновам дробилок. Дрожат стены. Дрожит потолок. Дрожит пол. Мне в этой обстановке жутковато. А Решетов, в затасканной телогреечке, каска на столе, спокойненько сидит у дергающегося, как заарканенное чудо-юдо, стола и так клево, классно, так кайфно опохмеляется, что у меня аж слюнки текут, глядя на него.

Вдруг, как черт из преисподни, появляется мужик с вытаращенными глазами и орет:

— Начальник! Беда: этот ё... кратер-кран опять к ё... матери сошел с рельс, а ты тут, мать твою перемать...

— На, дерни и успокойся, — протягивает ему стопарь Решетов. — Не впервой ведь. Поднимем.

— Эт само собой, — принимает водочку мужик, занюхивает ее собственной ладонью и кивает на меня. — Салага тоже пойдет с нами мудохаться?

— Естественно.

— Так пусть напялит на барабан каску, — озабочивается мужик.

...Кратер — кран лежит на боку. Вокруг его громады, матерясь, суетятся рабочие. Решетов хватает лом и кувалду. Я тоже прошу дать мне в руки какое-нибудь трудовое орудие.

— А по шее не хошь? — спрашивает Решетов.

Поэт вкальывает, орудует то ломом, то кувалдой... Жалею, что нет кинокамеры, нельзя снять грязное, потное, вдохновенное лицо поэта не с пером в руках, а с тяжелым ломом в забое, где может в любую минуту затрещать крепь и рухнет тогда на головы людей черный каменный потолок.

...Вечер. Бредем после смены с Алексеем по городу.

— Вот здесь, — показывает рукой Решетов, — была после войны обнесенная колючкой огромная зона, в ней сидели власовцы, бандеровцы, немцы и репатриированные на родину из разных стран, бежавшие из немецких лагерей русские пленные... А вот здесь около самых ворот лагеря со строгим режи-

мом стоял барак, в одной его половине жили охранники лагеря, в другой бывшие зеки и я с братом, мамой и бабушкой.

— Страшно было? — спрашиваю.

Он не понял.

— Страшно чего?

— Жить в бараке с бывшими зеками?

— Ты что!.. Это были образованнейшие интеллигентные люди. И очень добрые.

— А вот здесь было болото, — показывает Алексей на благоустроенное обжитое место, — был мостик через речушку, кочки, старые лодки, белые срубы деревни. Кстати, возле одной из старых лодок на берегу речушки состоялось мое первое в жизни любовное свидание с девчонкой, которую я любил, а она, зараза, изо всех сил старалась избавиться от моей самой первой в жизни любви. У нас у мужиков как? Видишь женщин по частям, в щелочку, а потом складываешь из этих частей свою.

Вот так шаг за шагом уговорил, уломал я в тот свой приезд Алексея сниматься в документальном фильме. А через неделю руководство студии после прочтения моего сценария выволокло меня «на ковер» где мне было сообщено, что Пермь не Москва и чернушный мой сценарий в дело не пойдет. А еще через неделю вызвали меня повесткой в известную в Перми «башню» (с которой, говорят, видна Сибирь), и какой-то подполковник задал мне вопрос: почему я вот уже год живу в режимном городе без прописки?

— Потому, что я до сих пор не могу уговорить жену поменять комнату в Москве на жилье в Перми.

— Не пропишетесь завтра, — предупредил подполковник, — вечером вас отконвоируют на место вашей прописки.

Я складывал в чемодан вещи, когда раздался стук в дверь. «Все! — подумал. — За мной пришли». Налил полстакана водки, залпом выпил и открыл дверь. За дверью улыбающийся Решетов с симпатичной женщиной.

— Не ожидал?

— Ожидал, только не вас, а конвойных...

Протянул ему уведомление: «...в случае непрописки в течение 24 часов будете отконвоированы на свое постоянное место жительства».

— Суки... — процедил Решетов. — Говорил же я тебе: не дразни собак лагерных, загрызут. Сгноят. Обращался к кому-нибудь за помощью?

— Нет.

— Ну и зря. Вер, побудь с ним тут, — обратился он к спутнице, — приготовь пожарть что-нибудь, а я позвоню и быстро приду.

Я взял ведро и поплелся с ним к колонке. Пока ходил, Вера где-то отыскала почти ведерный самовар. В палисаднике я натолкал в самовар щепок. Повалил удушливый дым. Почему я клял очень уж хозяйственную спутницу Решетова.

— Положи в самовар из печки горячих углей, — протянула мне Вера совок с пылающими углями. Сама она, подоткнув подол платья, принялась драить пол.

Часа через полтора вернулся сияющий Решетов.

К его приходу пол был вымыт, стол накрыт. Фыркающий паром самоварище водружен на стол. Батон, колбаса, торт нарезаны.

— Все улажено, старик, — подвел итог Алексей. — Завтра зайти в обком комсомола к Руфине. Она сделает тебе прописку в общежитие. С ней познакомишься — не пожалеешь. Все. Есть хочу.

Не было у меня больше в жизни такого застолья, как в тот вечер. Окно настезь. За ним белая ночь. В ночи огромный лиловый куст цветущей сирени. Доносятся отдаленный стук колес проходящего поезда, пароходные гудки на Каме. Свет не зажигаем, лиц, Алексея и Веры, не вижу. Только в отсвете падающих на решетку самовара углей различаю то руку Алексея, глядящую руку Веры, то руку Веры, глядящую его руку. Вдруг с Камы доносится полонез Огинского. Защемило сердце. Я возьми и ляпни:

— До чего же вы, ребята, счастливые! Вы даже не подозреваете, какие вы счастливые!

Вера всхлинула, выскочила из-за стола к окошку. Алексей за ней. Обнял ее за плечи, стал успокаивать.

Утром Алексей уезжал в Березники, а Вера на вокзал встречать возвращавшегося после трех лет службы на флоте мужа, Виктора Болотова.

Вспоминается, вспоминается, вспоминается то время, но уже не светлое, а какое-то серое, как осеннее небо.

Шесть лет после этого вечера я не видел его. Но слышал, что он всерьез запил. Пришлось даже лечиться.

1973 год. Первые сухие снежинки. Идем с Верой и Пусиком, беспородной сучкой, навестить Решетова в дурдоме. Вера

несет домашнюю стряпню, я десять пачек «Примы», за которой полдня стоял в очереди, и книжку Мозма о дружбе-вражде Ван Гога с Гогеном.

Обшарпанные ворота дурдома — психиатрической клиники.

— Дальше не пойду, — говорит Вера, отдает мне сумку со стряпней. — Дальше мне нельзя. Запретил Селянкин (секретарь пермского отделения Союза писателей) видиться с Алексеем. Да и не хочу осложнять отношений с Виктором.

Вестибюль дурдома. Три бюста: Железного Феликса, конечно, Ленина и затесавшегося между ними Павлова. Вышла нянечка, доложила:

— Алексей Леонидович в курилке. Можете пройти и поговорить с ним.

В курилке сизо и жарко. Толпа пациентов сгрудилась вокруг Алексея, который что-то вдохновенно им втолковывает.

Окликаю. Он не реагирует. Прислушиваюсь к тому, что он говорит:

— ...кривые с максимумом или минимумом называются экстремальными. А горбина и впадина на кривой носит название экстремума...

Подшел доктор в халате и, заинтересовавшись что говорит Алексей, остановился возле меня.

— Так что умозаключение, мужики: чем больше пьешь, тем хуже для здоровья — неверно. Потому что эта прямая пропорциональная зависимость чрезмерно упрощает природный процесс. Значимая зависимость не прямая, а гауссиана. То есть экстремум. Прямая же пропорциональная зависимость может сработать только при первом приближении, когда собеседники примерно одинаково очерчивают для себя границы ее применения. Если же один из них выходит за область применения функции, у собеседников возникает несогласие.

Смотрю на доктора. Тот стенографирует речь Алексея.

— Раздвинув рамки питья от нуля до бесконечности, — продолжает Алексей, — мы увидим, что есть некий оптимум алкоголя для здоровья. Если человек пьет больше этого значения, то он вредит своему здоровью, если меньше — тоже.

Пациенты слушают Алексея как пророка. Да он и похож на него в сизом дыме курилки

— Оптимум питья, мужики, лежит где-то в районе стакана хорошего, марочного сухого вина в день... Та же история и с психическими заболеваниями. Чем комфортнее жизнь в стране, тем больше в ней шизы, депрессий, самоубийств и убийств.

В экстремальных матрицах организм мобилизуется. В комфортных расслабляется.

Врывается в курилку разъяренная тетка из столовой. Орет:

— Ужинать, алики! А ну пошли, гении долбаные, козлы вонючие.

Чуть не сбив меня с ног, все рванули в столовую.

Жутко мне было видеть среди них Алексея Решетова.

— Ну, что? — встретила меня Вера.

— Успокойся, все с ним нормально, — соврал я.

— Слава Богу, — перекрестилась она.

Прошло еще девять лет. Я встречался с Алексеем лишь во время его кратких приездов в Пермь. Пил он мало, перешел на пиво. Избегал встреч с пьющими. Боялся сорваться.

Как-то сидели мы с ним у пивного ларька возле его любимого дерева, потягивали пивко, и, похоже, что он был счастлив в этот момент. И вдруг горестно вздохнул.

— Ты чего это, старый, так тяжело вздыхаешь? Твое любимое дерево шелестит, облачка плывут, прикормленные воробушки чирикают...

Алексей налил себе еще пиво.

— Да вот, то холодно слегка, то что-то жарко, а жизнь проходит.

— Ну и что?

— Так жалко!

Может, это и есть свойство настоящего поэта — будить улыбку там, где должны литься слезы. Может быть, та, пронизанная краткостью его стиха, его емкость — ни что иное, как способность преодолеть непреодолимое. У японцев с древнейших времен существует такая загадка: человек висит над пропастью, привязанный к тоненькой веточке. Если он не будет предпринимать никаких попыток к спасению, то так и умрет над этой пропастью. Если же он будет пытаться спастись, то любое его движение приведет к тому, что он сорвется.

Алексей как-то хитро, в то же время задумчиво посмотрел на меня:

— Что ему надо сделать для того, чтобы спастись?

— Взывать к помощи, — ответил я.

— Нет. Всего лишь взлететь. Это же его единственный выход остаться в живых.

— Сам додумался до этого?

— Сам до этого не додумаешься, надо видеть. Надо, чтобы был пример, понимаешь? Я, когда мне было еще 6-7 лет, не раз

видел, как это делали другие. А потом научился и сам. Понимаешь, не нравится то, что вокруг тебя, — придумай, войди в свой мир. Это и есть, хоть и не совсем, но отчасти взлет.

Интереснее всего с Алексеем было не пить, не разговаривать даже: сидеть, молчать, «переговариваться» взглядами...

Как-то в пьяной компании. В комнате крутой мат. Хочешь спать — одевай наушники. По радио читают Решетова. Врубаю радио на полную мощность. Читает стихотворение, посвященное Вере: «Я встреч с тобой боюсь, а не разлук...» Второе посвящено Наде: «...когда блеснет коса...»

Мужик, вдребезги пропитый:

— Вы хоть знаете, кто это написал?!

Отвечаю:

— Решетов Алексей Леонидович.

Как даст он кулаком по столу, все полетело на пол:

— Эх вы!!! Это Пушкин написал (мать... мать... мать...)

А теперь другое. Пермское отделение Союза писателей. Темноватая комнатенка литконсультанта Алексея Решетова, два окна, выходящие в чахлый скверик во дворе Дома чекистов. 1982 год. Жуткое время... В магазинах пустые полки. Даже в закрытом обкомовском буфете не всем партаппаратчикам дают колбасу.

С почестями похоронен серый кардинал секретарь ЦК КПСС Суслов. Идеолог происходящего. Его место занял генерал армии, Герой Социалистического Труда, председатель КГБ Андропов.

Лишен Советского гражданства Аксенов.

Возобновилось глушение западных радиостанций.

Интеллигенты на всякий случай сушат сухари.

Письменный стол литконсультанта завален графоманскими стихами.

Алексей сидит за ним сгорбившись, как ворон, читает свежий номер «Нового мира».

Взрывается:

— Ну это уж слишком. Послушай, — говорит он мне и читает:

По Спасской башне сверьте время.

По сердцу партии себя.

У нас у всех одна арена,

У нас у всех одна судьба...

Мы у мартепов, где гуденье,

В цехах и шахтах тоже мы.

Мы коммунисты. Мы идейны,

Принципиальны и прямы.

Он швыряет журнал в мусорную корзину.

В комнату заглядывает Селянкин.

— Рабочий день закончился. Кого-то ждете, Алексей Леонидович?

— Никого.

— Ждете, когда я уйду? Чтобы начать с ним, — кивает на меня, — керосинить?

— Обижаете, Олег Константинович, Алексей не пьет, — парирую я.

Алексей встает из-за стола, под конвоем Селянкина мы выходим на улицу.

— Вот так я и живу, переехав в Пермь, — говорит Алексей. — Дома под надзором матери и племянницы, на работе Селянкина. Посидим на лавочке в саду Горького?

Невозмогу ему. Не из тех он, кто жалуется на жизнь, откровенничает. Достала его житуха. Заговорил о матери.

— Оторвавшись от Березников, ставших для нее родным городом, от своих подруг, как пересаженное в зрелом возрасте дерево, не приживается в Перми мама, сохнет, болеет. Все лежит в своей комнате, глаза ее живут совершенно отдельной от лица жизнью, в них и страдание и какая-то упорная мысль, ко мне обращенная, просьба, которую не может и не хочет высказать. И еще упрек в ее взгляде. Я понимаю, конечно, что это упрек вечно больного человека к здоровому... Когда я выхожу из комнаты, ловлю на себе ее взгляд, полный тоски и обреченности, а приходя, всякий раз испытываю чувство какой-то вины. Понимаешь?

Я понимал. Так же вела себя перед смертью и моя мама.

Может, тот давний разговор с Решетовым я сейчас передал не совсем теми словами, что тогда говорились. Но ведь воспоминание — не чтение протокола.

Может показаться, в части тех тягот, что в ту пору переживались Алексеем Решетовым, я виню и Олега Константиновича Селянкина. Суровым был этот прошедший войну человек, после войны сам много пивший — сначала оттого, что все никак не мог найти своего места под солнцем. Но теперь-то он изо всех сил пытался спасти Алексея, оградить его от липнувших к нему и спаивающих его «друзей». И он действительно спас его как поэта.

...Откуда-то появился у ног Алексея подрагивающий от холода кобелек. Решетов оживился.

— Ты посмотри, какой хороший песик, глазки умненькие, ушки симпатичные, ухоженный, благородных кровей кокер. Видно, что потерялся...

Но это был мнимый кокер — типичный двортерьер. Он признательно в ответ на ласку сопел, вилял хвостиком и норовил завалиться на спину...

— Взял бы я тебя, друг, домой, да там мама больная, и племянница собак не любит. Есть хочешь? Понятно — хочешь. Слушай, — это он уже ко мне, — сбегай в магазин, купи псу пожрать что-нибудь. А я пока тут с ним поговорю.

Алексей любил животных с детства, он и тогда, по его словам, чувствовал не особенно свойственное детству одиночество. Животные ему его скрашивали, вернее, создавали иллюзию не-одиночества и благосклонности к нему мира. Это родство душ и сближало меня с Алексеем.

В другой раз: жарница, дышать даже на берегу Камы нечем. Горло у меня и Алексея пересохло, страшно хочется пивка холодненького. Рядом ларек, крохотная забегаловка всего на три столика «в стояка». У бочки с пивом бабища шире бочки. А денег-то, оказывается, у нас нет. По карманам все мелочь. Стоим и, смущаясь от презрительного взгляда буфетчицы, складываем грош к грошику. Наскребли-таки на две кружки. Алексей протягивает буфетчице на ладошке нашу мелочь. И тут его блатарь какой-то бац по руке. И разлетелась наша мелочь.

Выглядели мы в этот миг с Алексеем еще теми... А наш обидчик вальяжно, спокойненько говорит:

— Не мелочитесь, фраера. Натe вот... — и сует Решетову сотенную купюру. — Попейте, интеллигенты, вдоволь пивка.

Решетов побледнел, потерял дар речи. А блатарь ушел.

Стою и смотрю на Алексея, зажавшего в кулаке столик. Наконец Решетов разжимает кулак: «А пошел ты...» — дальше следует горняцкий мат, и он швыряет сторублевку на пол, пинает ее и идет к выходу.

Иду следом:

— Зря ты, Леш...

— Чего зря?! Я буду с голода подыхать под забором, землю жрать, но милостыню ни от кого не приму.

Я был тоже гордым, обиделся.

— Это значит я, что ли, побирушка? А пошел ты, мон шер, знаешь куда!..

Так я впервые с ним поцапался. С этого момента мои отношения с Решетовым испортились. Но еще больше осложнило наши отношения то, что я сблизился в это время с его очень сложным другом Виктором Болотовым и его женой Верой: жить стал рядом с ними, встречаться почти каждый день. Много трагифарсов случалось в эти годы в доме Болотовых, в том числе и с участием Решетова, но особенно мне запомнился один, произошедший в день рождения Виктора Мартыновича.

5 января. Празднично одетая в приподнятом настроении Вера заканчивает сервировку раздвинутого стола не менее чем на двадцать гостей. На столе цветы, шампанское, конечно же, водяра, закусь всякая, даже икра, кажись, но не черная и не красная, а кабачковая. Судак заливной. Фрукты в вазе.

В углу наряженная новогодняя елка.

Вера, напевая, с нетерпением ждет гостей. Среди них должен быть и особо почетный гость, своего рода свадебный генерал — гривастый, седой уже Лев Иванович Давыдычев.

Его все нет. Явно нервничая, Виктор Мартынович, как глухарь на суку, токует, поблескивая своими знаниями, хоть и не возвращается в кругу высоколобых философов и экономистов:

— Экономические законы, Леш, экономические силы, экономическая динамика — это все, конечно же, важно. И парламент, и гражданские свободы, и справедливый суд, и возможность эмигрировать, и многое чего еще. Все важно. Но не доста-точ-но... Россия — особая страна. Эмоциональная страна, пассионарная, сосредоточенная на своей внутренней жизни, на вековых духовных поисках... Пока не найдет свою особую, высокую, объединяющую всех идею, не найдет идеал, не поднимется она с колен.

Алеша Решетов помалкивает...

Пришел поэт Николай Бурашников с женой, Герман Митягин приехал из Осы, соседка старуха-фронтовичка, подруга Веры, еще кто-то.

Болотов к этим гостям даже не вышел. С нетерпением ждал Давыдычева. А Лев Иванович все не шел.

Решетов, тоже с нетерпением ждавший Давыдычева и возможности наконец-то сесть за стол, взорвался в ответ на тираду Виктора:

— Не надо ничего искать, Вить. Ничего нового не будет найдено, Виктор Мартынович. Искали уже. Бог знает, сколько сил на это потратили. А жизнь — она мимо прошла.

Совсем иное, чем у Виктора, смысловое наполнение слов. Неподдельная горечь так и сквозит в них... Виктор и я изумленно смотрим на него. Никогда прежде Решетов на эти темы так не говорил.

— Не надо, говоришь, Леш? Идеи не надо? А что надо? Чем тогда жить?

— Тем, что есть, тем и надо жить. Все у нас уже перепробовано, одно только не пробовали: жить тем, что есть... И чем люди во всем мире живут.

Задребезжал звонок.

Виктор кинулся к дверям:

— Наконец-то!

Разносчик телеграмм. Их целых пять.

Виктор, не читая их, кричит:

— Вера, хватит ждать Леву! Давай за стол!

Вера сникла.

Уселись. Во главе Виктор в белой рубашке и галстук. По левую руку Вера, по правую Алексей.

Виктор взялся было за бутылку с водкой, но Вера остановила его:

— Коля, — к Бурашникову, — открой шампанское.

Коля открыл, разлил по фужерам женщинам, ну, а мужикам плеснул в стопарики водочки, поднял руку вверх и запел:

— «Не бродяги, не пропойцы...» — он кивнул Виктору, подтягивай, мол. Тот подхватил:

— «За столом семьи своей. Вы пропойте, вы пропойте, славу женщине моей».

Нахмуренное лицо Веры засияло, как солнышко из-за туч.

Алексей поднял стопку:

— За хозяйку дома.

Все дружно выпили.

— А теперь за хозяина дома, — объявила Вера и кивнула Николаю Бурашникову. — Туш!

И Коля выдал туш, да еще какой:

— «Когда услышу марш военный... А он — в неслыханной тиши — гремит, гремит во всей Вселенной до уголков моей души...»

Тут Вера подхватила:

— «И полный грусти изначальной, прощальной грусти всех времен, любимый голос твой печальный услышу в нем, услышу в нем...»

Болотов от сюрприза даже прослезился.

Все захлопали.

Виктор начал было благодарить Бурашникова, но Коля прервал его:

— Это Вера, ее идея. Встаньте, Вера Ефимовна, Виктор Мартынович, поцелуйтесь.

— Потом, — смутился Болотов.

— Нет уж, сейчас, сейчас, сейчас...

Виктор неловко поцеловал Веру. Я посмотрел на Решетова. Тот улыбался.

Хорошо начался тот день рождения, а вот кончился он, как всегда.

— За дружбу, за семейное счастье, — предложил Решетов тост.

Виктору почудилась в его голосе издевательская нотка, и он вдруг взорвался:

— Пшел вон, Решетов! Увольняю!

— Не дури, Виктор, — вмешался я.

— И ты... и ты тоже пшел вон. Увольняю!

— Вить, ты же мне обещал... — взмолилась Вера.

— Пшла вон, сучка. Увольняю всех к чертовой матери!

Он попытался встать, потянул за собой скатерть, полетели на пол бутылки и все остальное приготовленное Верой ко дню рождения.

Вера заревела.

Гости кинулись кто к Вере, кто к Виктору.

Мы с Решетовым оделись и, не прощаясь, ушли.

Виктор действительно бешено ревновал Веру к Решетову, оскорблял ее, выгонял из дома. А потом, протрезвев, на коленях со слезами в глазах умолял ее простить его. И она простила.

Вскоре доктора обнаружили у Виктора рак горла. Больница, облучение. Он сбежал после этого из больницы с полуоблезлой бородой. Сбрил ее и запил. Близкие ему люди боялись, что он покончит с собой. Похудевшая, почерневшая Вера не спускала с него глаз. И у Алексея как раз в эту пору горе: умерла его горячо любимая мать.

Не буду вспоминать то поистине кошмарное время. И на каком политическом фоне: в стране переворот за переворотом...

Совершенно случайно наткнулся я на обращение писателей, под которым стояла подпись и Виктора Петровича Астафьева, к Ельцину. Я позвонил Решетову, прочитал обращение по телефону:

— «Эти тупые негодяи, защищающие Советскую власть, уважают только силу. Так не пора ли, Борис Николаевич, продемонстрировать всем им силу...»

Решетов долго молчал, потом глухо спросил:

— Что ты хочешь от меня услышать? Осуждаю ли я Виктора Петровича, подписавшего это обращение к Ельцину? Так вот, хорошо слышишь меня?

— Хорошо.

— Я не осуждаю его. — И бросил трубку...

Через день танки в центре Москвы в упор стали расстреливать Белый дом. А еще через несколько дней с опухшим от пьянки лицом президент Ельцин, со свечой в руке рядом с Патриархом всея Руси Алексием Вторым, тоже с зажженной свечой в руках, был показан по телевидению во время поминовения душ погибших.

Я начал воспоминания о Решетове с того, что он — фигура трагическая. Если бы он сумел на самом деле отстраниться от времени, был бы равнодушен к нему, если бы нашел свою независимую от него нишу — ему было бы легче жить. Все трудности, потери в его жизни были бы тогда всего лишь случайными фактами его биографии. Но это не так. Фактически они были и остались до конца — не проявлением его общей изначально заданной трагичности, а его судьбой, прочно укорененной во времени. Он верил в этот мир. Верил в возможность его изменения к лучшему: «Еще мне кажется, не поздно другому времени прийти». Это жило в нем до самого конца. А время не оправдало его надежд.

...Возвращаюсь как-то после спектакля в театре оперы и балета домой. Осень. Часов одиннадцать вечера. На лавочке возле памятника Ленину в театральном сквере сидит старик, потягивает из бутылки пиво, рядом собака, которую старик ласкает, даже вроде разговаривает с ней. Мимо, не обращая на него внимания, идут разодетые, веселые, сытые «новые русские» люди. Да и старик на них тоже не обращает внимания. Пригляделся: Господи, да ведь это же Алексей! И сразу же вспомнились его строки:

Мне душа нелегкая дана
Я ни с кем не пробовал ужиться.
Только тень осталась мне верна
Ест и пьет, и спать со мной ложится.
О, как я бываю одинок...

Схлынула публика. Пусто стало в осеннем сквере. Я все не решался подойти к нему. Почувствовав на себе мой взгляд, он поднял голову, посмотрел на меня, узнал и позвал:

— Иди сюда. Посидим. Как жизнь?

— Как в анекдоте: «Почему тебя не устраивает новая жизнь, старик? Да потому, что я ее не устраиваю».

Алексей вздохнул.

— Меня тоже. Как поживает Вера?

— Тяжело.

— Я тоже один, — он отшвырнул сигарету.

И вдруг заговорил о наболевшем, что неудержимо стало рваться из него:

— Вот всю жизнь стремился я к писательству. Да ведь и ты тоже к умению доверять бумаге свои невзгоды. Доверишь — и вроде бы преодолеешь их. И что в итоге? Одиночество — больше ничего. Я, конечно, и раньше был один. Я один всегда даже среди самых лучших, самых преданных друзей, меня любящих, даже с женщинами. Никогда мое одиночество меня раньше не тяготило. Потому что необходимо было — писать в нем стихи, думать, читать, выпивать, естественно... Знаешь, как я любил прогулки с самим собой после работы в забое, после грохота и пыли солемельницы? Тогда в дождь и мороз крепла моя душа, училась довольствоваться самой собой, на себя лишь надеяться. Людей, способных переживать вместе со мной мои фантазии, у меня сроду не было.

А вот теперь, после смерти мамы, мое одиночество стало другим — сиротским. Почему никого на свете больше не интересуется моя жизнь и судьба? Ну кто теперь за меня порадует или огорчится, кроме моего Милорда?

Он закурил.

— Все вроде как бы есть у меня и как бы нет. Есть как бы дом и как бы нет его после смерти матушки. Как бы есть друзья и как бы их нет. Есть как бы жизнь и как бы ее нет, старик. Понимаешь, нет жизни...

Милорд у ног Решетова ластился к нему, чувствуя настроение хозяина. И я подумал о себе, что мог бы сказать слово в слово, что и Алексей, если бы ни я, а он встретил меня вот так же одиноко сидящим на лавочке в сквере.

— Хочешь послушать, как мы с Милордом поем? — спросил он вдруг меня. — Споем, Милорд?

Собака сразу же наострила уши, подняла морду кверху и по-волчьи тихо, а потом все громче и громче завывала. И Алек-

сей стал тоже подвывать Милорду. И я сам в этот момент тоже был готов присоединиться к ним...

Это была последняя встреча с ним до переезда его в Екатеринбург.

...25 мая 2002 года моя жена и дочь навестили Решетова в Екатеринбурге.

Жена мне рассказала, Алексей был счастлив, очень счастлив со своей женой Тамарой. Наконец-то сбылось, хотя и наполовину, то, о чем он мечтал всю свою жизнь: теперь он имел свой теплый уютный дом, души не чаявшую в нем жену и вдохновение, как в юности — он писал с утра до поздней ночи. Иногда даже ночью вскакивал с постели и с трудом (он тогда уже ходил неуверенно) добирался до стола, чтобы на клочке какой-нибудь бумаги записать прущие из него строки...

Мне много раз приходилось от него слышать в Перми из пушкинских «Египетских ночей»:

«Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеимен и которое никогда от него не отпадает.»

Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он откуда-нибудь, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы что-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни дорогого для него человека, тотчас же пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете? Влюбится ли он — красавица его покупает себе альбом и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сына или дочку и заставляет читать стихи такого-то, и стихотворца угощают его же изуродованными стихами. И это еще цветы ремесла! Ягодки горше...»

В Перми все друзья и знакомые, а их у него была тьма, считали Решетова своей собственностью, существующей для их пользы и удовольствия. Это его бесило: «Я ничья собственность. Даже не божья. Бог не собственник». Но только лишь в конце жизни своей в Екатеринбурге освободился он от притязаний всех друзей, знакомых на него. И стал по-настоящему свободен. А ныне Алексей не воспоминаний достоин — больших раздумий, и не только о нем самом и о людях его окружавших, но прежде всего о том, что государство натворило со всеми нами в XX веке.

Перед отъездом моей жены и дочки из Екатеринбурга Решетов подарил нам свою последнюю книгу стихов «Темные светлы» с надписью: *«Валерию и Надежде Виноградовым, близким, дорогим людям, от всего сердца. А. Решетов. 25.5.2002 года»*. Было это всего лишь за два месяца до его внезапной кончины.

Думаю, уходя из жизни, Алексей вполне мог бы оставить на своем письменном столе точно такую же записку, как Виктор Петрович Астафьев, его старый друг. *«Я пришел в мир добрый, родной и любил его бесконечно. А уйду я из мира чужого, злого и порочного. Мне нечего вам сказать на прощанье»*.

Да, мог бы, вполне мог. Но не оставил подобной записки, потому что никогда не осуждал тот мир, в котором жил, каким бы этот мир ни был, он любил его.

Вот, пожалуй, и все.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Валерий Виноградов закончил работу над своими воспоминаниями об Алексее Решетове за три дня до собственной мучительной кончины. Исключительно честный талантливый человек, он обладал одним свойством, помешавшим ему в полной мере реализоваться как литератору — его требовательность к самому себе переходила все мыслимые границы. Свои сценарии, рассказы, повести он уточнял, шлифовал, переделывал десятки раз, стремясь к абсолютному совершенству и, не умея вовремя остановить этот процесс, бросал почти все, над чем работал...

Воспоминания об Алексее Решетове он писал, находясь в полном смысле слова на смертном одре, преодолевая чудовищную слабость и боли в уничтожаемом раком теле. Однако и физические страдания не отменили его требовательности к себе. Оставались считанные дни его жизни, а он все переделывал и переделывал, не поднимаясь с постели, уже написанное. За три дня до кончины, не в силах уже держать в ослабевших пальцах карандаш, он надиктовал мне еще несколько страничек уточненного текста. Так что воспоминания эти — не только словесный памятник Алексею Решетову, но и самому Валерию Виноградову. Он остался верным своей натуре до конца — в полном смысле этого слова.

О, МАТЕРЬ ПОЭТА — ГАЗЕТА

НА СТАНЦИИ ЖИЗНЬ¹

«...**Т**ак маленький Алеша Решетов, выходец из семьи интеллигентов, в «птенчиковом» возрасте оказался в самых глубинах народной жизни, среди люда барачного, тертого и битого, клейменого и бесправного, обойденного почти всеми плодами культуры, знавшими от нее самый край: кино, гармонистов «под шафе», да еще радио с патефонами. Многие из этих людей искали забвения на дне винного стакана, буйствовали во хмелю. Но в то же время они имели в себе нечто очень важное для детей, живущих среди них; в этом нечто заключались крупницы участливости, доброты, жалости к слабым — остаточки от разгромленного христианства в среде повального атеизма... На них-то, на нравственных «мощах» этих, выживало наше поколение — детей, обожженных ГУЛАГОМ, войной, послевоенной безотцовщиной...

Мы то ведаем, чьи мы потомки,
Разрази Чарльза Дарвина гром... —

этими строками Решетов полушутливо адресует свое родство волкам, то есть наиболее вольной, нетронутой распадом части Божьего мира.

На уцелевших крупницах христианской нравственности, уже давно ставших фундаментом нравственности народной, в вечном преклонении перед носителями ее, с верой в нее, как в скалу, способную устоять перед любым штормом, и выросл Решетов-поэт. Выростал словно бы из самых потаенных глу-

¹ Газета «Звезда». 6 ноября 1990 года.

бин сердца народного. Я сравнил бы его поэзию с кардиограммой, снятой с народного сердца в послевоенные и наши нынешние годы.

Алексей Решетов всем опытом своей прежней жизни, существования своей семьи, знает: не нужно никогда желать людям зла хотя бы потому, что зло придет само, без понукания и зова...

А теперь немного о другом.

О том, как однажды, где-то в конце ноября 1966 года в редакцию газеты «Молодая гвардия», где я, вчерашний механик нефтепромысла, начал работать, зашел Лев Иванович Давыдычев, первый преданный поклонник Решетова, знаток его начинающейся поэзии, собиратель его рукописей.

В тот день я собирался ехать в Березники на городскую комсомольскую конференцию. Выяснилось, что и Давыдычев едет в ту же сторону поздравлять Решетова с приемом в члены Союза писателей. Лев Иванович пригласил меня составить компанию.

Поезд приходил в Березники рано. Из вагона мы вышли в предрассветную тьму. Только что выпавший снег был по-осеннему рыхлый и скользкий. Я взял Давыдычева под руку, и мы, скользя, держась друг за друга, отправились через полгорода пешком на Ленина 8, к Решетовым; их дом почти против калийного комбината, где Алексей работал в ту пору на солемельнице рабочим.

Трудней, чем камень философский,
Нам хлеб насущный добывать... —

писал он тогда в одном из стихотворений.

Эта командировка оказалась едва ли не самой контрастной в моей жизни.

Из сумерек улицы мы вошли в приветливую квартиру Решетовых. Я никого здесь не знал. Ну, Льва Ивановича-то ждали... Мы зашли в вытянутую комнату Алеши (отныне я только так и стал его называть, перехватив домашнее бабушкино «Алеша» — в обращение к внуку, бесконечно ею любимому), с кроватью вдоль стены, с кушеткой против кровати у другой стены, со стеллажом возле дверей и стареньким письменным столом у окна (третий этаж, прямо над продуктовым магазином). Пол, выкрашенный светло-коричневой краской, в черных оспинах от бросаемых на него горящих окурков. Возле письменного стола на полу папки с рукописями и чет-

вертушки бумаги, испещренные мелким почерком, — черно-вики, подготовленные к «аутодафе»...

Мамой внесена «закуска» в сковороду и на тарелках, поставлены рюмки — требовалось немедленно отметить событие. Как-то само собой было решено: я остаюсь здесь на постой, как-нибудь разместимся вдвоем на кушетке и на кровати. В первую же ночь выяснилось, что у Алеши в комнате в связи с приездом гостей (так это было и потом многократно, всегда) вообще не спят.

...Стихи: свои, чужие... Байки в мастерском исполнении Льва Ивановича... снова стихи, Алешины, в незабываемом, завораживающем его исполнении...

Может, чет — а может, нечет...

Может, плакать — может, нет...

Может, утро — может, вечер...

Может, темень — может, свет...

Все смешалось: темь, свет, радость, печаль.

Нам долгие ночи с тобой коротать,

Стихи, завывая по-волчьи читать,

Спаси меня, милый полуночный друг! —

Душа и природа — в предчувствии вьюг.

...Спыхватываюсь. Да ведь на улице солнце уже вовсю! И комсомольская конференция скоро.

Бегу.

Во Дворце культуры полный зал молодежи, возбужденной общением между собой. Здесь все совершенно иное, чем там у Решетова. Говорят о какой-то «Республики Химии», построенной будто бы ими, хотя на самом деле здесь республики нет и в помине, а среди строителей полно не комсомольцев, а «химиков», вчерашних полноценных зеков.

Из конца в конец зала перекачивается отрепетированное скандирование хором:

— И вечный бой, покой нам только снится!!

Знают ли они хотя бы, что это Блок?

Бегу за ответом. На меня смотрят не понимая: какой Блок? При чем тут Блок? И в глазах лихорадочный наркотический блеск...

А в это время другой конец зала:

— Коммунизм — это молодость мира, и его создавать молодым!!

У меня уже пропал аппетит спрашивать, знают ли они, что это Маяковский.

Взрывается середина зала:

— Не можешь — научим, не хочешь — заставим!!

— Чему научите? — кричу...

— Чему надо, — весело смеются...

...Неужели в это же самое время тут же в городе худощавый молодой поэт со впавшими щеками, только что принятый «в писатели», читает свои стихи о совсем другом? Почти не верится... Но я внутри себя словно бы слышу голос Алеши:

Я знал человека. О нем,
Должно быть, вы слышали прежде:
Он в свой непостроенный дом
Входил в непошитой одежде,
Садился поближе к огню
В несуществовавшем камине
И ласково гладил жену,
Хотя ее нет и в помине.
И в этой нелегкой судьбе,
В особенно горькие миги,
Искал утешенье себе
В никем не написанной книге.

...Так, в такой вот фантазмагории и прошли у меня эти два, или даже три дня в Березниках: то в возбужденном, словно бы чем-то опившемся зале, то в бессонной комнате поэта, заполненной не только сигаретным дымом, но еще и иной атмосферой, которая ни кричать хором, ни врать в одиночку не позволяет, атмосферой искренности и правды — основы жизни, текущей здесь.

На обратном пути выяснилось, что билетов на первый поезд нет. А их вечером шло два. Березники провожали новобранцев в армию.

«Как это нет билетов?» — самонадеянно думалось мне.

— Я сейчас обо всем договорюсь.

И отправился я к одному из вагонов состава, возле которого толпились одетые, как на уборку картошки собрались, призывники. Тут командовал майор. Ему я и объяснил ситуацию.

— Нет вопросов, — охотно согласился пустить нас в вагон до Перми майор. Оказывается, о Давыдычеве он слышал, покупал для детей его книжки. — Подходите перед посадкой...

И мы спокойненько принялись ждать посадки.

Наконец, началось... Засуетились провожающие, кинулись попрощаться. Поднялась лихорадочная суета.

— Учись писательской наблюдательности, обрати внимание, кто кого и как целует, — толкнул меня Давыдычев. — Вон, видишь, парень девушку... Он рот раскрыл, а она нет. А вот смотри, смотри... как парень с парнем: каждый норовит инициативу взять, — хохотнул он.

Новобранцы, подпираемые разгоряченными провожающими, поднялись в вагон. Пора и нам. Протискиваемся через толпу.

— Товарищ майор, — напоминаю о себе.

Он стоит на верхней ступеньке, держась обеими руками за поручни, оттеснив широкой спиной, туго обтянутой шинелью, стриженных под нулевку подопечных и проводницу. На него напирают сзади. Снизу толпа тоже уплотняется, тянется к поручням...

— Можно заходить? — кричу я снизу.

Он явно не узнает меня, да и я его с трудом. Взбугрились на его скулах желваки, зло сжался рот и, главное, глаза — бешеные, словно бы не понимающие речи...

— Куда!! — теперь уже на меня кричит майор.

— Вы разве забыли?

— Назад!!

Подошва майорского сапога впечатывается мне в грудь. Пальцы оторвались от поручней, я валюсь назад, едва не на Льва Ивановича. Поезд плавно трогается. Прощай, майор! Ты настоящий молодец...

Мы пошли на вокзал, нервно хохоча.

«Если бы майор знал стихи Решетова, ну, хотя бы «ищите без вести пропавших»... Там есть такие строчки...»

Давыдычев сейчас же их цитирует:

— Ищите их по белу свету
Ищите мертвых и живых!
И если всюду скажут: — Нету!
Найдите их в себе самих.

Только это не про майора, он никуда не пропадал... Как он тебя... Нечего лезть через служебный вход...

Через несколько лет Алексей написал стихотворение, в котором есть такие строки:

Ни малейшего блага по блату
Не имел я — не то ремесло...

... Когда я впервые прочитал его с четвертушки листа, испи-санного Решетовым, мне сейчас же вспомнилась наша с Давы-

дычевым попытка «по благу» проникнуть в вагон с новобранцами...

У нас с ним тоже «не то» оказалось «ремесло».

Года через три после этой памятной поездки в 1965 году в Березники, мы, на этот раз с самим Алешей, попали в типичную для того времени «газетную переделку».

Вышла его замечательная книжка «Белый лист», вторым тиражом. Время идет, а отклика в прессе нет. Да и в самой книжке нет предисловия, в котором бы растолковывалось, что это за стихи здесь помещены? В чем их особый интерес? Мне тогда казалось — я знаю, в чем именно он заключен.

И я написал статью, которую озаглавил «*ПРЕДИСЛОВИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО*».

За давностью лет, привожу ее целиком.

«К книгам стихов принято писать предисловие или, во всяком случае, аннотацию. К сожалению, ни тем ни другим сборник «Белый лист» не сопровождается. То, что вы прочитаете — не рецензия, скорее заметки или своеобразное газетное предисловие к сборнику стихов талантливого поэта.

О ГИТАРЕ, ГРОМЕ И ДЕЛЬФИНАХ

Недавно я отдыхал в селе на берегу Чусовой. Было время гроз, и на домики, скалы, сосны, лес то и дело обрушивались потоки воды.

И вот в один из грозовых вечеров за окнами сверкнуло летучее пламя молнии и всю округу сотряс небывалой силы раскат. Обычно в здешних местах гром слышен несколько дольше обычного — виной тому скалы. Вот и в тот раз поворочалось громовое эхо и успокоилось. Но сквозь шум дождя услышал я мелодичный звон. Звучала над кроватью гитара.

Я не случайно вспомнил этот эпизод.

В тот раз мне подумалось, что, в сущности, если записать на магнитную пленку произвольные отзвуки гитары, то можно будет по ним определить, когда гром раскалывает небо, когда хозяйка ненароком стукнула о косяк двери подошмой...

Все в этой гитаре находило отзвук. Не так как гром в скалах, а по-иному: не похож ведь гитарный звук на громовое эхо.

Может и грубо, и неточно сравнивать поэта с такой вот гитарой, но доля истины тут есть. Тем более, что поэзия рождается не в тишине, как иные думают, а под громы жизни. Только иные поэты становятся «на горло собственной песне», чтобы на голос грома откликнуться тем же, а иные не делают этого, и жизненные громы свободно играют на «струнах их душ». Мне кажется, что забывать этого нельзя, когда мы говорим о том или ином поэте, дабы не перепутать черного с белым.

Ну а что касается свойств таланта Алексея Решетова, то он и относится как раз ко второму варианту.

Язык «лобовых громов» понятней людям. Для его расшифровки порой не требуется сердце – достаточно одного ума. В «Белом листе» есть об этом прекрасное стихотворение.

Дельфины,
Милые дельфины,
Мы вас научимся беречь!
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.
О, разыгравшиеся дети,
Вас не обидят корабли,
И вашей кровью красить сети
Отвыкнут жители земли.
И вы, поэты, как дельфины,
Не избегайте с нами встреч —
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.

БЫТЬ ВЕЛИКАНОМ

О духовном здоровье нации старые философы судили по отношению ее к женщине. Благородство в помыслах о женщине, — говорили они, — не донкихотство, а духовное здоровье, которое приподнимает человека над животным примитивом.

Можно в подтверждение здоровья русской поэзии привести множество цитат из лучших поэтов от пушкинских до наших дней. Да вот Б. Пастернак:

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.

Здесь нет и тени от поэты — стихи написаны в 1959 году незадолго до смерти, больным, успевшим испытать в жизни все

поэтом. Нужно иметь сердце великана, чтобы пронести подобную чистоту через все колдобины жизни.

...Я много раз перечитывал в «Белом листе» это вот:

В эту ночь я стакан за стаканом,
По тебе, моя радость, скорбя,
Пью за то, чтобы стать великаном,
Чтоб один только шаг — до тебя.
Чтобы ты на плечо мне взбежала
И, полна ослепительных дум,
У соленого глаза лежала
И волос моих слушала шум.

И чем больше вникал в строки, тем яснее осознавал духовную причастность этого стиха к рыцарскому ряду любовной русской поэзии. Эта, одна из благороднейших традиций нашей поэзии настолько мощна своей чистотой, что любая рифмованная продукция иного настроения просто отлетает в сторону. (Нужно иметь есенинскую лирическую силу, чтобы выдержать и устоять рядом).

Светлолюбивы женщины. Они
Не могут пыль на стеклах окон видеть,
Им докучают пасмурные дни,
Их черным словом так легко обидеть.
И светonosны женщины. Нельзя
Представить даже, что за темень будет —
Исчезни вдруг их ясные глаза
И маленькие матовые груди.

Рыцарская (не будем стесняться этого слова) чистота помыслов о женщине пронизывает все лирические стихи Решетова. Но односторонняя чистота не может быть радостной. Поэтому, мне кажется, решетовская любовная лирика печальна. Таков опыт лирического героя его поэзии.

Окошки вроде желтых клеток
Для шахмат. И по ним порой
Передвигается нелепо
Разбитый вдребезги король.
Его ладьи лежат в пучинах,
И офицеры спят в земле
Его жену чужой мужчина
Увез в серебряном седле.
Он прячет горькую усмешку
В седую бороду свою.
О, если б маленькую пешку
Найти у бездны на краю.

Одну из тех, кто и без денег,
И без дворцовой мишуры
Тобой живет, с тобою делит
Все беды шахматной игры.

И снова сквозь эти строки видится тот добрый великан. Он не обнажает «шпагу», чтобы драться за иллюзорное счастье обладания, он обнажает сердце.

Чтобы ты на плечо мне взбежала
И полна ослепительных дум
У соленого глаза лежала
И волос моих слушала шум.

И тогда в обнаженном сердце он чувствует боль, от которой доверчивые люди не умеют защищаться. Что делать...

Увы, я счастлив... Лишь порою
Я вспоминаю, словно сон,
Что мир еще не так устроен,
Как мог бы быть устроен он.
Пылинка ссорится с пылинкой,
Им тесен солнечный простор,
И гном заносит над былинкой
Микроскопический топор...

...Я не анализирую стихов, а пытаюсь наметить путь, по которому можно было бы прийти к наиболее полному пониманию любовной лирики Алексея Решетова, богатой на тонкие оттенки.

ГЛАЗА НА ТОНКИХ СТЕБЛЯХ

В одном из стихотворений Решетов пишет:

Душа и природа в предчувствии вьюг.

Другое заканчивает строками:

Потерять, как женщину, природу,
Мучиться и сохнуть без нее.

Почему так высоко ставит поэт природу, возводя ее в ранг высшего лирического чувства, хотя это иное чувство, нежели любовь к женщине, и корни его иные.

Чтобы понять корни решетовского отношения к природе, нужно обратиться к маленькой поэме «Хозяйка маков». Сюжет ее прост. Мальчишка лезет в сад Кузьмичихи за маками для первой своей любимой — девочки Ленки. А Кузьмичиха...

...Трех сыновей она на фронт послала,
Три ворона накаркали беду.
Тогда три грядки старая вскопала
У стихнувших соседей на виду.
Три грядки серых под весенним небом.
И грядки те напоминали ей
То три кусочка аржаного хлеба,
То три могилки русских сыновей.

На этих грядках цвели маки. И Кузьмичиха на них поймала мальчишку. И вот, полубезумная от горя, она принимает его за младшего сына. Но потом, опомнившись:

Бери — чего уж! Мертвым не помогут.
Бери цветы, они нужней живым...
...Они живым нужней...
Холодный ветер
Хлестал наотмашь по лицу меня,
Когда я нес цветы святые эти,
Цветы из негасимого огня...

С тех пор бессловесная природа этими самыми маками точно прикоснулась в сознании мальчика к человеческой трагедии.

И вот в другом месте книжки:

Снится сон слепому человеку,
Будто тихо шепчутся леса,
И срывает, нагибая ветку,
Он большие, спелые глаза.
Будто он вставляет их в глазницы
И бросает черные очки
И глядят с восторгом сквозь ресницы
Круглые, как косточки, зрачки.

Это совершенно новое, и в то же время в этом есть неуловимая связь с маками Кузьмичихи. И вот с обостренным чувством снова листаю «Белый лист».

Ты знаешь, что такое рань?
Ты просыпался рано,
Когда стекло оконных рам
Мерцает как-то странно...

А за окном еще птахи не поют, и еще росы не выпали, и спит земля на трех китах. А в ней:

В ней кости и зеленые медали
Солдат, которых девушки не ждут.

И через несколько листов:

Убитым хочется дышать.
Лежат бойцы в земле глубоко,
И тяжело им ощущать
Утрату выдоха и вдоха.
Глоточек воздуха бы им
На все их роты, все их части.
Они бы плакали над ним,
Они бы умерли от счастья!

А мы живем. Мы дышим за них, любим за них, удивляемся земле, на которой живем, наслаждаемся этой землей. Вот откуда эта жадная пристальность в ощущении чуда, которое называется миром земли, природой. Отгремели военные грозы, но их трагические шумы до сих пор рокочут в струнах «гитары» поэта.

СТАЛЬНЫЕ ИГЛЫ ПОЭТА

Есть книги, которые нужно читать очень медленно. Их строки, как золотые гвозди, впиваются в мозг, поднимая рой мыслей. Иногда одна строка становится камнем преткновения в споре миллионов. Например. Шекспировское, вложенное в уста Гамлета — «Быть или не быть?» Эта фраза — большее, чем просто поэтическое обобщение, когда за строкой встает зримая картина. За этими словами кипят человеческие страсти в несовершенном человеческом мире.

Стихи Решетова свойством подобных обобщений наделены щедро.

Когда музеи закрывают,
Когда за окнами темно,
Портреты тотчас оживают
И с натюрморта пью вино.
На берегах пейзажных речек,
Где над кострами вьется дым,
Портреты-женщины лепечут,
Мужчины плечи гладят им.
И любо им пожить как людям,
О том, что на сердце, сказать,
Заплакать, если больно будет,
Смеяться... В рамки не влезать.

Это не сочинение на тему «музей». Не каприз поэта: захотел, вообразил и написал. Это, если хотите, стихи о несостояв-

шесмя мужестве — мужестве плакать, не скрываясь, когда тебе больно; мужестве смеяться во все горло, когда тебе смешно; мужестве выйти из уготовленных для тебя обстоятельствами жизни рамок существования; мужестве быть человеком.

Разве нет вокруг нас людей, которые бывают сами собою лишь во сне, когда «закрывают музеи» и людям-портретам незачем изображать из себя тех, кого они обычно изображают?

Что делать, но даже Чехов всю жизнь выдавливал из себя раба. Даже чистейший, кристальной души Чехов!.. Но, заметьте, делал он это не во сне, а на глазах у тысяч читателей. А это огромное мужество освобождения.

...И любо им пожить, как людям,
О том, что на сердце, сказать,
Заплакать, если больно будет,
Смеяться... В рамки не влезать.

Слышите усмешку?.. Чуть приметную, но беспощадную усмешку над людьми-портретами, лишенными мужества жить по-человечески.

Но человек должен найти себя в человеческом мире!

Ищите без вести пропавших.
Ищите древних, молодых,
Полотна дивные создавших,
В боях Россию отстаивших —
Ищите их! Ищите их!
На душных стенах одиночек,
На полустлевших письменах
Ищите днем, ищите ночью
Их золотые имена.
Ищите их по белу свету,
Ищите мертвых и живых!
И ЕСЛИ ВСЮДУ СКАЖУТ: — НЕТУ!
НАЙДИТЕ ИХ В СЕБЕ САМИХ!

Вопрос стоит ребром: быть или не быть? Продолжается спор на земле.

Возле иудина древа
Черные птицы галдят.

Они галдят:

«Ты маленький человек! Ты винтик. Что ты можешь? Кого ты испугаешь своим маленьким мужеством? Что ты изменишь на земле со своей маленькой честностью?»

Они галдят:

«Один конец и у тебя — кого предали, и у тебя — кто предал, и у тех, кто никого не предавал, кроме самого себя. Ты так мал, человечек, так мало значишь, что тебя можно сравнить лишь с безобидным ежиком, с его безобидными колючками».

Идет вечный спор на земле. Вот мнение поэта.

И все-таки нельзя
Не чують превосходства
Над черной силой зла
Смешного донкихотства.
И все же нелегко
Тому, чье имя волки,
Пролезть через ушко
Твоей стальной иголки.

Поэт спорит. И пока он спорит — нелегко тому, чье имя волки. И пусть:

Возле иудина древа
Черные птицы галдят...

Потому что есть на земле люди, которые могут сказать:

Правда — моя королева.
Я — ее старый солдат.

И в этих словах слышится человеческое: «**БЫТЬ!**»

Через несколько дней после опубликования этих заметок, придя на работу, я с первой же минуты ощутил во всех четырех кабинетах и коридоре редакции газеты «Молодая гвардия», обычно заполненных табачным дымом, какое-то взвинченное напряжение.

Что-то случилось.

Тут же возникла секретарша редактора Юрия Николаевича Вахлакова и, ободряюще мне улыбнувшись, позвала:

— Шеф ждет...

Юрий Николаевич, недавно пригласивший меня на работу в газету, сидел в своем маленьком угловом кабинетике за письменным столом, он был явно расстроен.

— Видел? — протянул мне свежий номер областной (в ту пору партийной) газеты «Звезда».

В глаза бросился угрожающий заголовок: «*Что за «ПРЕДИСЛОВИЕМ»...*». И пояснение: «*Об одном выступлении газеты «Молодая гвардия».*»

Я выхватил глазами в тексте явно разгромной статьи сначала свою фамилию, потом снова свою (в газете обо мне самом никогда еще не писали), потом фамилию Алеши... Читать написанное было не тревожно, хотя за подобными публикациями в партийной прессе обычно следовали оргвыводы. Но что мне, вчерашнему механику, парторганы могут сделать? Не посадят же в тюрьму как диссидента. Ну, вернусь обратно на нефтяной промысел. Алеша же вот ходит на свою солемельницу, и это никак не мешает ему быть настоящим, совершенно свободным от чьего бы то ни было догляда, поэтом.

В самом деле не тревожно, но противно было мне все это читать.

Вот этот любопытный документ эпохи, ставший частью биографии и моей и Решетова.

«Пред нами номер областной газеты «Молодая гвардия» за 17 июля. На третьей странице опубликована обширная статья Д. Ризова «Предисловие, которого не было» — о сборнике стихов А. Решетова «Белый лист» (второе дополненное издание). То, что молодежная газета решила поговорить о творчестве молодого поэта, правомерно. Но тот ли это разговор, который нужен Решетову? Познакомившись с этой книжкой, мы не увидели главного — творческого роста поэта после выхода в свет первого «Белого листа», не ощутили художественного и гражданского возмужания автора. Стихи, пополнившие сборник, к сожалению, не улучшили его, а напротив, сделали слабее. Решетов, вероятно, с ведома издательства, исключил несколько прежних стихотворений, притом — в большинстве своем зрелых и дорогих читателю. Усечение это он с лихвой восполнил, правда, новыми стихами, включив их в сборник тридцати. Но многие из них, на наш взгляд, — творческая неудача автора.

Читая статью, невольно задаешь себе вопрос: какую же все-таки задачу поставил перед собой ее автор, какую выбрал цель?

Стремясь начать как-то помонументальнее, помасштабнее, Д. Ризов пишет о том, что однажды в грозу услышал, как на раскаты грома откликается висящая над кроватью гитара. «В тот раз, — говорит автор, — мне подумалось, что... если записать на магнитную пленку произвольные отзвуки гитары, то можно будет по ним определить, когда гром раскалывает небо,

когда хозяйка ненароком стукнула о косяк двери подошником...»

«Может и грубо, и неточно сравнивать поэта с такой вот гитарой, — продолжает автор, — но доля истины тут есть. Тем более, что поэзия рождается не в тишине, как иные думают, а под громы жизни. Только иные поэты «становятся на горло собственной песне», чтобы на голос грома откликнуться тем же, а иные не делают этого, и жизненные громы свободно играют на «струнах их душ». Мне кажется, что забывать этого нельзя, когда мы говорим о том или ином поэте, дабы не перепутать черного с белым».

К сожалению, мы вынуждены продолжить эту длинную, затуманенную велеречивостью, запутанную цитату, дабы, как говорит сам автор, не спутать черного с белым: «Ну а что касается свойств таланта Алексея Решетова, то он и относится как раз ко второму варианту. Язык «лобовых громов» понятней людям. Для его расшифровки порой не требуется сердца — достаточно одного ума. В «Белом листе» есть об этом прекрасное стихотворение».

И далее в статье приводится целиком стихотворение «Дельфины». Приведем его и мы, прежде чем разобраться в смысле всего процитированного писания.

Дельфины, милые дельфины,
Мы вас научимся беречь!
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.
О, разыгравшиеся дети,
Вас не обидят корабли,
И вашей кровью красить сети
Отвыкнут жители земли.
И вы, поэты, как дельфины,
Не избегайте с нами встреч —
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.

Скажем сразу: до смысла высказывания, предваряющего эти стихи, высказывания пространного и не слишком грамотного, добраться не так-то легко. Но если попытаться, получится вот что. Дескать, по-разному воздействуют на поэтов «громы жизни». Одни, испугавшись, перестают писать, Другие, на струнах чьих душ «жизненные громы свободно играют», пишут по-прежнему. Тогда-то, мол, и получают настоящие стихи, пример которых приводит газета.

И получается (желает или нет этого автор), что за образом его «любовых громов» жизни скрывается не что иное, как некое грубое давление на художника. Но тот «на горло собственной песне» не становится, пишет. И не чувствует Д. Ризов, превознося «Дельфинов», что в стихах этих поэт предстает не как певец, «любезный народу», зовущий его на борьбу за все прекрасное на земле, а как некий не очень понимаемый, притом притесняемый подвижник...

В тоне безоговорочного восхваления написана вся статья. В ней превозносятся и те стихи, что действительно заслуживают доброй оценки, и те, что должны бы вызвать критические замечания в адрес поэта. Причем формулировки порой настолько туманны, что до смысла иных и не добраться. Автор сравнивает Решетова то с Б. Пастернаком, то с С. Есениным. Он напрапалую хвалит стихи:

В эту ночь я стакан за стаканом,
По тебе, моя радость, скорбя,
Пью за то, чтобы стать великаном,
Чтоб один только шаг до тебя.
Чтобы ты на плечо мне взбежала
И, полна ослепительных дум,
У соленого глаза лежала
И волос моих слушала шум.

Оценивая эти стихи, как причастные «к рыцарскому ряду любовной русской поэзии» (?), автор статьи и не помышляет взглянуть в глубь стиха.

Увлечшись дифирамбами, автор (и, следовательно, молодежная газета) цитирует и другие слабые стихи Решетова («Душа и природа в предчувствии вьюг», «Нету милее напева»), вошедшие в новый сборник, ставя в ряд с ними те подлинно художественные произведения поэта, которые читатель знает по первому «Белому листу» — такие, как «Убитым хочется дышать», «Ищите без вести пропавших». Он всюду сопровождает их комментариями, очень похожими на те, которыми снабжены «Дельфины», — настолько заумными и лишенными подчас логики и смысла (вроде «их строки, как золотые гвозди, впиваются в мозг, поднимая рой мыслей. Иногда строка становится камнем преткновения в споре миллионеров»), что порой просто невозможно понять, что же хотел сказать автор. Но самое удивительное, что газета с готовностью (судя по месту) предоставляет ему свои страницы.

А ведь газете было что сказать, если бы она поставила целью выступления помочь поэту вновь обрести собственный голос, который, если судить по целому ряду стихотворений, А. Решетов начал терять. Просто никак нельзя было обходить молчанием такие моменты творчества, как уход поэта в «стихи о стихах», в сновидения, а таких в новом издании немало. И факт этот не может не настораживать: не говорит ли он, что у Решетова исчерпался круг тем живой жизни, что все чаще замыкается он в узком чуланчике личных творческих переживаний. Настораживать это должно тем более, что очень многие из последних стихов Решетова проникнуты некоей надмирной скорбью, нотами разочарования и обреченности.

Добрую услугу оказала бы молодежная газета поэту, если бы помогла ему разобраться в стихах «Пегасу хочется в ночное», «Ах, Пушкин, Пушкин, милый Пушкин», «Душа и природа в предчувствии вьюг», «Нет детей у меня. Лишь стихи» и других, если бы убедила Решетова, что порой глубокая мысль в них подменяется созерцательностью, игрой в парадоксы («за мои печали плата»), что многие из его стихов стали грешить литературщиной на манер этих строк: «...Милосерднейшая плаха, чудодейственнейший плен», «...полна ослепительных дум», «...пепел твоих золотых черновики». За всем этим исчезает ценное качество поэзии Решетова — тонкая и подлинная ее человечность, ее глубина, а за этим далеко и до мелкотемья.

Но автор «Предисловия...», говоря его же словами, не сумел разобраться, «когда гром раскалывал небо, когда хозяйка ненароком стукнула о косяк двери подойником». А не разобравшись, возвысил все творчество Решетова сплошь. В том числе и многое, от чего со временем, наверное, откажется сам Решетов.

Автор статьи, оценивая поэта, которого любит, мог ошибиться. Но ведь есть редакционная коллегия. Ей-то полагалось быть более принципиальной в оценке рецензируемых произведений. Тем более сейчас, когда так заострилось общественное внимание к творчеству художников слова, к его идейной направленности, к задачам его непрерывного совершенствования.

Известно, что художественное творчество успешно развивается лишь в том случае, когда получает принципиальную — доброжелательную и требовательную, подлинно партийную оценку. А в «Предисловии, которого не было» не только отсут-

ствует такая оценка, но и сам восхвалительный тон статьи работает не на пользу поэту.

А. Черкасов.»

По правилам того времени подобная критика в партийном издании должна быть в самые короткие сроки перепечатана теми, кого «старшие товарищи» выдрали... Публичная демонстрация покорности при этом обязательна. Требовалось в знак покаяния не только перепечатать «критику», но и посыпать голову пеплом — опубликовав информацию о «принятых мерах»...

Пока редколлегия совещалась у редактора, решая как выйти из всей этой истории «малой кровью», в редакцию пришел Лев Иванович Давыдычев. Не мимоходом зашел, а специально.

— Готовитесь к самобичеванию? — поинтересовался он, таинственно улыбаясь. — Поди уже заслали в набор звездинскую статью?..

Это был действительно самый больной пункт среди всего набора предстоящих неприятностей. И отвертеться от него, по нашим прямолинейным понятиям, нельзя было никак.

«Что за «Предисловием» действительно готовили в набор, а это — больше чем половина полосы нашей малоформатной газеты. Значит, читателям пройти мимо такой публикации, не заметив ее, было просто невозможно. Этой перепечаткой мы как бы смачно плевали сами на себя. И в Алешу Решетова, между прочим, тоже. Публично отрекались от дружбы с ним. Он-то нас простит... Это мы знали заранее... На то он и Алеша Решетов...»

— А ведь можно и иначе, — подбросил нам надежду Лев Иванович. — Руководство «Звезды» в большом накале чувств. Это я точно знаю. Такой накал долго не держится в себе. Если придержать перепечатку, через неделю они дадут еще одну реплику — на этот раз по поводу задержки перепечатки. И будет эта реплика строк в десять — не больше. Вот ее и перепечатывайте...

Мы сразу же вцепились в идею Давыдычева. Тогда можно будет эту последнюю публикацию «Звезды» в десять строк набрать петитом, загнать в какую-нибудь газетную «пазуху», где ее никто и не заметит.

...Последнее слово за редактором. Отправились всем колхозом к нему. Редактор задумчиво, явно колеблясь, постучал торцом карандаша о стол и сдался.

Все произошло именно так, как планировал Лев Иванович. Через неделю «Звезда» разразилась еще одной репликой в наш адрес, объемом в предсказанные десять строк, которые были тут же набраны петитом и загнаны куда планировалось, в самый неприметный уголок газеты.

А через некоторое время Володя Михайлюк привез из Березников к случаю написанный Алешей Решетовым экспромт. В нем явно просматривались следы этой истории. В книжках Решетова он не публиковался.

О, мать поэта — газета,
И хочется мне закричать,
Поскольку тебя для клозетов
Скупают в «Союзе-печать».
Но что бы ни происходило
На свете, как перед концом,
А ты по утрам приходила
Ко мне с побелевшим лицом.

ЮДОЛЬ ДЕВЯНОСТЫХ

Я познакомилась с Алексеем Леонидовичем в 95 году (прошлого, как принято теперь говорить, века). В тот год в Пермском книжном издательстве шла работа над моей первой книгой «На тот большак...» Издательство находилось на втором этаже дома № 30 по улице Карла Маркса (ныне Сибирской), а Союз писателей на первом. У писателей был симпатичный холл, где можно посидеть, покурить и поболтать в непринужденной обстановке. Дальше холла я не рисковала заглядывать: писательская организация была для меня «святая святых».

И вот приходим мы с Мариной Викторовной Лебедевой, редактором издательства, на первый этаж, а там стоит высокий, сутулый, худой мужчина в джинсах. Марина Викторовна тихо говорит мне: «Это Решетов». Во все глаза гляжу на него, но так, чтобы не заметил. Я давно знаю его стихи, в двенадцать лет прочитала его «Нежность» и сразу выучила два стихотворения наизусть: «Ищите без вести пропавших», «И во сне покой неведом людям». Стихи очень легко запомнились.

Алексей Леонидович скоро ушел, и по-настоящему мы с ним познакомилась через месяц, причем произошло это совсем легко. Он подарил мне «Иную речь», которую я читала, не сдерживая восклицаний: «Вот мастер-то Решетов! Вот душа-то! Вот Россия-то моя где!»

Издание моей книги задерживалось. И вот сижу как-то в писательском холле (он же курилка на два этажа) и думаю, сколько еще будут продолжаться мои мытарства? Входит с улицы Решетов. Здоровается и садится рядом. Вынимает «Приму», чиркает спичкой. Пальцы длинные и худые. Смотрит на мою сигарету с фильтром:

— Господские...

— Сорок семь миллионов за книгу! — поражается, слушая мои сетования на директора издательства. — И еще двадцать просит? — (Деньги до 98 года не деноминированные).

И говорит, что год назад его тоже «нагрели». Восемь миллионов у разных коммерсантов насобирали с протянутой рукой заместитель главы Березников Игорь Александрович Неверов — на «Иную речь»; оказалось, мало, два миллиона издательство еще заставило добирать.

Мне дико: ну ладно — я, я никто, но — Решетов?!

Алексей Леонидович добавляет ворчливо:

— Отдали бы эти десять миллионов мне, я бы и ручку бросил, ходил бы каждый день пиво пить.

У него в Перми «свой» пивной ларек — «у танка». Действительно у танка, поставленного в честь Уральского добровольческого танкового корпуса. Однажды пошли за пивом вместе. Дождь шел, я зонтик взяла, и мы худо-бедно под ним от дождя прятались. Но увязался Сергей Маленьких. Пришлось зонтик ему отдать, чтобы не лез третьим. Он, нисколько не смущаясь, что не Решетов, а он под зонтиком, начал читать свои стихи. В каком-то месте у него не склеилась рифма, попросил Алексея Леонидовича:

— Оригинальную хочу к слову «цветы».

— Кранты, — мгновенно нашелся Решетов.

Я любила его. Любила в нем ум, чуткость, стихи, прозу (повесть «Зернышки спелых яблок»), и его особый, решетовский, юмор. Бывая в Перми (я ведь в Губахе жила), бегала к нему домой. Не всегда ему охота было, чтобы к нему приходили, но так-то уж мне хотелось, что поворчит, поворчит в телефонную трубку, да и скажет: «Ну, приходи».

Он сильно кашлял. Порой от приступов кашля говорить не мог. Глотал таблетки.

— Я вас вылечу, — не раз насылалась ему. — Сливки прямо с фермы, горячее молоко...

— Тогда будет понос.

Таковыми репликами он как бы сразу отстранялся от забот о нем. Не хотел, чтобы люди, и без того обремененные всяческими проблемами, взваливали на себя еще и эту.

Дома у него страшная бедность. Сидит на металлической односпальной кровати, сгорбленный, худой, облокотясь о колени локтями. Думает что-то долгое, отвлекается от дум едва ли не вздрагивая — словно окликнули внезапно. Визиты мешают ему, он порою бы рад никого не видеть, чтобы не отвле-

кали, но без общения тоже не может — живой человек. Глядя на него, я невольно задумывалась о жизни вообще: делаем не то, что хотим, нужное перебивается ненужным (а может быть, «ненужное» как раз и нужно?), полная неясность: зачем, к чему, почему именно так, а не «как надо»?

В углу комнаты — письменный стол, на котором ни рукописей, ни набросков, ни лампы с абажуром — писательской атрибутики, — случайные вещи лежат случайно оставленные. У торцевой стены — полки с книгами. Завешены шторой. Есть еще «сервант» — изобретение семидесятых, куда можно ставить рюмки, бутылки, книги, вазы, да что угодно; в нем на полочке несколько книжек Алексея Леонидовича.

А со мной начали происходить метаморфозы. Прежде ни с кем из моих знакомых в Губахе я о Решетове не говорила, а тут вдруг сами они — десятками стали читать его стихи наизусть! «Решетов! Решетов!» Оказывается, у одного есть «Чаша», у другого «Белый лист», у третьего то и другое, у кого-то «Нежность» или «Зернышки спелых яблок»... И такая большая любовь к творчеству Решетова!

Но как тяжело он жил в 90-е годы! Пенсия да крохотная писательская стипендия — вот и все доходы. А расходов много. Ольга (Олеся), племянница Алексея Леонидовича, вышла замуж; сколько можно он ей помогал. Жена Тамара (они, кажется, в 94-м поженились), жила в Екатеринбурге, хотелось и к ней съездить. И в Перми на что-то жить надо, хоть о еде он совершенно не заботился — было бы пиво; одежда и того меньше его беспокоила. «Иная речь», книга-чудо расходилась плохо, не до книг было людям в те годы: зарплату месяцами не получали. Денежной помощи от друзей Решетов не принимал, зная прекрасно, что сами перебиваются. Помочь ему можно было только схитрив. Александр Федорович Старовойтов — директор библиотеки им. Горького, брал «Иную речь» якобы на реализацию, на самом деле дарил книгу студентам вузов, а деньги «изыскивал» в своем кармане. Потом устраивал читательские встречи. И насколько же прекрасными они были! Был полон вдохновения Решетов, были счастливы студенты увидеть воочию автора. Я тоже схитрила однажды. Получив в Губахе за свою изданную наконец-то книгу два миллиона, один привезла Алексею Леонидовичу, сказала, что наше управление культуры покупает у него на эту сумму «Иную речь». Он поверил. У него была детская доверчивость. Только испугался, что надо бумагу подписывать: на них фигурируют тысячи,

а реально получаешь рубли, потому что вычтут с тебя и подоходный налог, и пенсионный, и в какие-то фонды, и черт знает куда еще. Я его успокоила, сказав, что бумаги не будет. В этот день, 26 декабря 1996 года, меня принимали в Союз писателей. После процедуры приема, небольшого застолья, мы пошли с Решетовым к нему домой. Время было часов одиннадцать вечера. Я знала, что придется у него ночевать, захватила с собой халат. До этого отдала ему деньги, он отсчитал экземпляры «Иной речи», мы их какими-то бечевками перевязали — завтра унесет мой сын, а мне не утащить, они как кирпичи тяжелые. Сын у меня учился в политехническом университете, жил в общежитии за Камой, у него я и останавливалась, когда приезжала в Пермь, благо сосед сына постоянно околачивался где-то в городе, у девчонки.

И вот сидим на кухне, пьем кофе, говорим, но не о литературе.

— Переверните свою чашку, — говорю я Алексею Леонидовичу. — Я потом в Березники ее увезу, Галине Евгеньевне Корнильевой, она погадает вам на кофейной гуще и всю правду скажет. Она в Ливане жила, научили.

— Давай, — неожиданно легко соглашается он.

Допивает кофе и опрокидывает чашку на блюдце. Время проходит, заглядываю, — нет, гуща комком. Снова пьем. Опять он чашку опрокидывает. На этот раз слишком жидко: со стеклок стекло. С третьего захода — получилось. Поставил чашку на подоконник, обсыхать.

Говорит о моей книге:

— В тебе сидит великое — Россия, и хрен ты ее чем сдвинешь!

Потом дает почитать свои новые стихи. Они написаны от руки в простой школьной тетрадке. Одно стихотворение мне не совсем понятно. Спрашиваю:

— Почему никого нет в доме?

— Ты же видишь: стол накрыт, еды полно...

— А-а! Жизнь наша. Все есть, только людей скоро не останется.

— Меня вот этот момент смущает:

Все ушли, исчезли где-то.
Лишь в восточном уголке
С деревянного портрета
Бог глядит в немой тоске.

— Может, в «переднем»? Или в «правом»?

— Не знаю, — честно признаюсь. И в этот момент передо мной открывается то, как Решетов, мастер, выверяет каждое свое слово!

Стихов в тетрадке немного. О тех, кто пишет много и быстро, Алексей Леонидович говорит: «У них муза круглосуточная». Или: «Как складно!» От первого мазка до завершающего, у него долгие бессонные ночи.

За разговорами время летит незаметно. Я решаю, что пора спать. Иду под душ, переодеваюсь в халат. Но Алексей Леонидович спать не хочет, да и у меня от нескольких чашек кофе сна ни в одном глазу. Сидим в его комнатке (есть еще две комнаты, в одной из них телевизор, который он не смотрит), говорим теперь только о литературе, точнее, говорит Алексей Леонидович, а я слушаю.

Он сидит на своей кровати, я в кресле Милорда (пес у Решетова любит спать в единственном кресле, все сидение в шерсти). У Милорда абсолютно вольный график: хочет, сутками на улице бегаёт, хочет, домой идет. Алексей Леонидович рассказывает, как однажды едва привел его от Перми I. Зовёт — нет, не соглашается; тогда запел, и тут уж Милорд сдался: шел за ним до самого дома и слушал.

— Иногда вместе поем, — говорит Алексей Леонидович. — Я тут вот, на кровати, он — в твоём кресле. Умнейшая собака!

Милорд — дворняжка. Откуда он у Решетовых, не знаю, но живет давно. Случается, Алексей Леонидович уезжает в Екатеринбург, и Милорд неделями на улице. Кто его кормит? Где ночует? Это о нём стихотворение, написанное в 96 году:

Едет собака в трамвае куда-то,
На контролеров глядит виновато:
Где же ей денежек взять на билет,
Если хозяев давно уже нет.
Имя свое позабыла она,
Черную шерсть замела седина,
Ест иногда, что Господь подает,
Мечется, ищет, надеется, ждет.

Сейчас я немного забегу вперед. В 2001 году издательством «Банк культурной информации» (Екатеринбург) была выпущена книга Решетова «Темные светлы». Редактировал профессор Уральского университета Л. Быков. Почему-то решил, что в стихосложении разбирается лучше Решетова, и кое-где изменил авторский текст. В «Едет собака» получилось:

Где же ей денежек взять на билет?
М о ж е т , хозяев давно уже нет?

И потерялась логика: собака же позабыла имя свое.

Но дело в том, что Быков согласовывал исправления с Решетовым! Это была его глубочайшая ошибка. Алексей Леонидович соглашался с любыми критическими замечаниями по поводу своего творчества: не хотел быть авторитетом для самого себя. И вот результат:

Оригинал:

Порой мне кажется, что мама
Не умерла, не умерла.
И в глине вырытая яма
Пустой закопана была.

Зачем смотрю я исподлобья
На сиротливое жильё?
Зачем я плачу у надгробья,
Здесь нету косточек ее.

Порой сомненья не бывает,
Что ныне, присно и вовек
Повсюду с нами пребывает
Любимый самый человек.

Довольно тихо оглянуться,
Открыть со скрипом ворота,
И нам, как в детстве, улыбнутся
Живые мамины уста.

Это стихотворение написано в 2000 году. Я помню, как читал его Алексей Леонидович по телефону Дмитрию Ризову, я тогда сидела у Ризова в кабинете в редакции «Профсоюзного курьера». Помню, как Дмитрий Гилелович воскликнул: «Алеша, ты написал гениальную вещь!» И был еще один момент, связанный с этим стихотворением. Я готовила большую публикацию о Решетове. Выверяла каждое слово, ведь это Решетов! Высылала черновики Алексею Леонидовичу. Потом сама приехала в Екатеринбург, где он жил уже постоянно. Это был июнь 2002 года. И вот тут-то, слушая исправленный вариант моей статьи, он вдруг забрал у меня листы, внимательно во что-то там вглядываясь. И — после долгого молчания (я вся измаялась, в чем дело?) проговорил глухо:

Правка Л. Быкова

Порой мне кажется, что мама
Не умерла, не умерла.
И в глине вырытая яма
Пустой закопана была.

И зря смотрю я исподлобья *(как можно?!)*
На сиротливое жильё
И на замшелое надгробье
(плачу! плачу! Утеряно главное!)
Здесь нету косточек её.

(Отсюда у Решетова логический переход к общему, то есть у всех у нас не бывает порой сомненья. Поэтому и прописывается дважды слово «порой»: в начале стихотворения и в этой строфе).

Смогу тихонько обернуться *(всё портит!)*
Открыть без скрипа ворота
(какая разница, со скрипом или без скрипа!)
И мне, как в детстве улыбнутся
(было обо всех, стало обо мне!)

— Вот это.

Положил ладонь на приведенное в статье стихотворение «Порой мне кажется, что мама...» и некоторое время смотрел в окно. Я ничего не поняла. А когда возвращалась из Екатеринбургa домой, читая в поезде подаренный Решетовым сборник «Темные светy», стало ясно. Об этом я потом написала ему в письме.

Но продолжу о том, когда я ночевала у Решетова. Говорил он емко, продуманно, знающе. Я слушала, стараясь запомнить все!

Потом я все-таки пошла спать. В комнату Ольги. Там чисто (в его комнате тоже чисто, только он ее в неряшливости содержит) Алексей Леонидович вошел отдать Ольгину шубку, укрыться — одеяла почему-то не оказалось. Заодно принес фотоальбом. И вот сидим на кровати Ольги, бок о бок, он показывает мне фотографии, рассказывает о тех, кто на них изображен, и как-то прижимается ко мне... Он истосковался в своем одиночестве по женской ласке. А я не могла ответить... только сжималась, словно пряталась. Он понял. Пообещал меня утром разбудить, ушел. Но утром я сама проснулась: радио на кухне заговорило.

— Закройтесь, Алексей Леонидович, — заглянула к нему перед уходом.

Он тяжело приподнял с подушки голову.

Вечером я пришла вместе с Егором, моим сыном. У Решетова сидел Владимир Михайлюк, пили водку.

— Тяпнешь? — спросил Егора Решетов.

Он отказался, хоть «тяпать» научился уже. Взяли связку «Иной речи». На улице был дикий мороз. Долго не подъезжал автобус. Егор отморозил пальцы, поскольку был в перчатках: книги тяжелые, шнур резал пальцы, а опустить на снег книги Решетова он бы никогда не посмел.

«Иную речь», сто экземпляров, я отдала в губахинскую среднюю школу № 15, где сама когда-то училась. И какова же была моя радость, когда преподаватели литературы включили эту книгу в обязательную программу!

А о той нашей ночи вдвоем Алексей Леонидович написал:

Вчера ты меня полюбила,
Вчера ты осталась со мной.
Какая небесная сила
Свела нас в юдоли земной?

Какой беззащитной и нежной
Была ты всю ночь напролет.

Но вот королевою снежной
Глядишь — и в глазах твоих лед.

И я трепещу, как преступник,
Неловко укравший кусок.
И кажется все недоступней
Мне твой голубой поясок.

1997 г.

Халат, в котором я сидела «ночь напролет» был действительно голубой, и поясок тоненький. Но, прочитав это стихотворение в 2002 году в «Темных светах», я и не подумала, что оно о той ночи. Два года пройдет, будет в Березниках памятный вечер, посвященный второй годовщине со дня смерти Решетова, это стихотворение не прочтут, а спюют со сцены, и меня вдруг как электрическим током ударит: да это же обо мне! «Какая небесная сила свела нас в юдоли земной?» И для меня и для него жизнь в девяностые годы была истинной юдолью. Да что там... Вся огромная наша держава пребывала в тоске, нищете и неразберихе.

В последнюю нашу встречу с Алексеем Леонидовичем — в июне 2002 года, он, все больше теперь молчавший, внезапно разговорился, и говорил о своем детстве в Березниках, о школьных проделках, о маме, бабушке — о многом. Как я жале-ла, что не взяла диктофон! Торопливо записывала за Алексеем Леонидовичем, но что — запись! И все-таки...

— Песни послевоенные...

Я был партизанский разведчик,
А он — писаришка штабной.
Я был за Россию ответчик,
А он спал с моею женой.

Однажды в студеную пору
Вернулся я с фронта домой,
Залез под кровать незначайно,
А там писаришка штабной.

Я бил его в белые груди,
Срывая с груди ордена!
О, бедные русские люди,
Родная моя сторона!

— Только через много лет понял, какое это чудо, какая чистота и прелесть! Тут все от сердца, вся боль и несправед-

ливость жизни. Барачная муза — это же Россия в гольном виде!

— Творчество — это попытка возратить Богом тебе данное, бессознательное желание отблагодарить за то, что жил в одно время вот с этими людьми, травами, букашками...

Я привезла Алексею Леонидовичу подарок от Светланы Павловны Петровской — художницы-керамиста из Губахи. Подсвечник в виде пенька, по которому тянется молодая поросль из трав и цветов. Решетов долго на него смотрел. Улыбался. Когда уезжала, передал для нее «Темные светы». И еще такую же книгу — для Леонарда Дмитриевича Постникова, влюбленного в Решетова: на территории своего уникального музея в Чусовом он вырастил рябиновый сад.

...И мать говорит мне: — Мой мальчик!
Запомни, когда я уйду,
Что жизнь наша горче и ярче,
Чем ягоды в этом саду.

Есть в сборнике «Темные светы» еще одно *мое* стихотворение. В сентябре 96 года Алексей Леонидович пришел в Союз, я очень ему обрадовалась, полезла целоваться. А он положил на стол тетрадку (за 12 копеек по советским ценам) и раскрыл ее, подозвав меня.

Ты даришь мне больше, чем счастье,
Улыбкой, разлетом бровей...
Ты смерть мою близкую застишь
Точеной фигуркой своей.

Я прочитала, смутилась, солгала в смущении:

— Это вы о маме?

— Нет, о бабушке Оле.

С 97 года Решетов стал чаще бывать в Екатеринбурге. Там его любили. Возвращаясь в Пермь, привозил журналы «Урал» с новыми своими стихами, тепло рассказывал о Майе Петровне Никулиной — главном редакторе этого журнала. Композитор Чижев написал на его стихи цикл песен, прозвучавших по Екатеринбургскому радио. Мы немножко ревновали его к уральской столице.

Однажды мы с Алексеем Леонидовичем заговорили о современных поэтах. По нашей области их тьма тьмущая. Я не большая любительница поэзии, но, читая изредка, ничего, кроме разочарования, не испытывала: у большинства поэтов

либо лозунги вместо стихов, либо распущенность, либо беспомощность. И безответственность почти у каждого! Решетов никогда никого не критиковал, но и он не выносил одного из пермских поэтов — вальяжного, сытого, пустого и наглого. А тот, как на зло, все совался к нему с какими-то услугами. Причем услуги были такого сорта, что унижали Алексея Леонидовича. Рекламу сделал себе потрясающую! Гудели о нем пермские газеты, радио и телевидение. На «Решетовские чтения», организованные администрацией Березников в 99 году и проводившиеся ежегодно, управление культуры Березников непременно приглашало в члены жюри и его. Каково было Решетову? Алексей Леонидович, который не говорил о женщине иначе как бережно, вынужден был терпеть рядом с собой автора подлейших стихов о женщине!

Не помню, каким образом разговор перешел на одного из красноярских поэтов, но Решетов рассказал смешную историю. Оказывается, красноярский пиит взял да и издал «Хозяйку маков» под своей фамилией.

— Ничего, я не обиделся, — улыбался Алексей Леонидович. — Да он еще там две мои строчки подправил, они лучше стали. Так что я даже благодарен.

У Решетова и наши поэты «заимствовали». Прозаик Горланова — тоже. Но она открыто: пришла и попросила несколько строк из «Зернышек спелых яблок» для своего нового романа.

— Бери. — Ему ничего не было жаль.

Поэты и поэтики вились около него тучей. Людмила Пустыльник, близкий друг семьи Решетовых, возмущалась:

— Я не знаю, зачем все они лезут к Алеше. Они ведь не мастерству учиться к нему лезут, они авторитетного покровителя в нем готовят для себя. Они ему всякие услуги навязывают, знают, что он не сможет не расплатиться...

Я в некоторой степени тоже «лезла». В литературу я пришла поздно, ни у кого не учась, кроме книг, Решетов был кладезь. Еще Ризов. Он тогда занимал пост председателя пермской писательской организации, я немного побаивалась его. Сколько они мне дали, два этих мудрых, тончайшей души человека! Никакие литературные институты столько не дадут! Причем «обучение» шло без обучения: они просто высказывали при мне свое отношение к поэзии, прозе, назначению писателя, жизни. И если я теперь писала, то уже видела их перед собой: они были самыми строгими моими критиками и самыми большим доброжелателями. Однажды Людмила позвонила мне:

— Сейчас такое скажу, что ты сразу праздник почувствуешь! Я звонила Алеше, заговорила о тебе, а он: «Нина? Нина не подлая, талантливая, не украшатель, не фантаст... как квас прокисший пахнет — такая у нее повесть «На тот большак». Честная книга, хорошая, — этим надо дорожить. Появилась из какой-то дыры, из Губахи — и сразу с готовой книгой, без протеза, и никому жопу не лизала.

Для меня такой отзыв Решетова действительно был великим праздником!

Пятого апреля 1997 года во Дворце металлургов в Березниках отмечали шестидесятилетие Решетова. Зал был битком набит! Цветов — охапки! Как же его любили здесь! Его вообще везде любили, но тут — особенно. Да и он не мыслил себя без Березников и березниковцев. Сюда, восьмилетним мальчиком, привезла его из Хабаровска бабушка, здесь он 27 лет проработал на калийном руднике, здесь впервые начал писать стихи. Он вобрал в себя всю горечь и радость, всю боль и здоровье этой земли. Я тогда еще не знала, какую жизнь он прожил, и почему Березники дороги ему до кровавых слез. Наверное, здесь и надо рассказать то, что я узнала позже...

В ноябре 2000 года я приехала в Екатеринбург к Решетовым. Привезла инструменты, настроить Тамаре пианино. Но, главное — повидаться с Алексеем Леонидовичем, потому что с 99 года он уже постоянно жил там. Захожу. Дома он, Тамара, Ольга и новый муж Ольги, Анатолий, который сидит в зале, скорчившись.

Первое, что говорит мне Алексей Леонидович:

— Ты не знаешь, почему у человека из заднего прохода кровь идет?

— У моего отца было прободение язвы желудка, и она так шла.

— Значит, надо вызывать «скорую».

Анатолий сидит зеленый. Глаза мутные, щек нет — обвислые щечки. Оказывается, пил восемь дней без просыпа. Ольга, тоже сильно выпившая, сидит возле него. Тамара вызвала «скорую», мы втроем ушли на кухню.

— Понимаешь, — говорит мне расстроенный Алексей Леонидович, — ей о ком-нибудь заботиться нужно... Не будет этого (Анатолия), другого найдет.

Дальше идет разговор о том, как он хотел спасти Ольгу от первого мужа. Поменял пермскую квартиру на Екатеринбург,

здесь разменял на две. (Делал-то это не он, а Тамара, измучившись так, что несколько месяцев не могла в норму войти). Одну квартиру оставил за собой (сейчас в ней дочка Чижова), а другую — Ольге. Она ее сразу продала. Денег было много, долларами. Накупила с *очередным мужем* «Трои» — то ли шампунь, то ли стеклоочиститель, процент спирта большой — целую дорожную сумку! Поволокли в Березники, где Ольга жила пока в квартире Алексея Леонидовича, которую выхлопотал для него Игорь Неверов. По дороге чуть не потеряли сумку с долларами, зато «Трою» довели в целости. Доллары очень быстро исчезли, потом — Ольгину квартиру обворовали: унесли холодильник и телевизор. Потом исчез и «муж», имевший, кстати, семью, горький пьяница. Теперь вот новый «супруг».

— Нет, — говорит Алексей Леонидович, — если судить Ольгу, то всех нас надо судить! (Его, бабушку, Нину Вадимовну). Мы Ольгу не воспитывали, мы ее только любили.

Ольга — очень добрый человек, отзывчивый, умница, талантливый художник, владеет английским языком, обучалась музыке, у нее глубокое чувство юмора. Она замечательная, но... когда трезвая или пьяная не до положения риз. Мать Ольги живет в Москве, замужем. Первый муж — брат Алексея Леонидовича, Бетал, от него Ольга. Что случилось тогда в Москве, почему студент Бетал Решетов покончил с собой, никто не знает. Есть только догадки и предположения, но они ничего не разъясняют. Так же, как остается неизвестной причина ареста Леонида Сергеевича Решетова, его расстрел в 37 году. Что газета «Тихоокеанская звезда», где он работал, поддерживала Блюхера, и за это пострадали все ее сотрудники, только предположение.

Подъехала «скорая». Врач спрашивает Анатолия:

— Что случилось?

— Кислого творога поел.

— А водкой-то как разит!

Анатолию велели собираться, отвезут в больницу. Ольга поехала сопровождать.

Пока Ольга отсутствовала, мы тягостно молчали. Ничего на ум не шло. Тамара принесла дневник Нины Вадимовны. Я стала читать. Писала Нина Вадимовна об аресте мужа, о собственном аресте, об оставшихся сиротами детях. Хорошо бы это опубликовать, но в таком виде нельзя, нужно редактировать. Я списала ее дневник в свою тетрадку. Потом мы разговорились с Алексеем Леонидовичем о его прошлом, и вот так полу-

чилась впоследствии большая статья. Каждое слово в ней выверено. Трижды в процессе работы я высылала черновики Решетову. Потом сама приехала, пыталась уточнить кое-что, но он болел, не до статей ему было. Но все-таки прочитал и сказал, что озаглавить нужно «Ты легким светом вся озарена».

Ольга пришла. Сказала, что Анатолия положили в терапевтическое отделение, что пока не известно, что с ним, но врачи предполагают, печень.

Вроде, как-то на душе полегчало, мы устроили складчину, я и Ольга сходили в гастроном купили водки и пива. Вечер прошел замечательно. Я кое-что записывала, примостившись с краю стола, Алексей Леонидович фыркал:

— Пишет, пишет, прямо писательница какая-то!
Вот эти записи.

* * * * *

На Тамару:

— Она все деньги отняла! А ведь триста рублей! Я был с утра таким богатым! (Я ему стипендию привезла за два месяца).

* * * * *

Тамара:

— Алеша, будешь кофе пить?

— Нет, я пиво пью.

— Кофе!

— Ты не баба, а держиморда.

(Кстати, он никогда не называл ее «мой Моцарт в юбке», как написал в своих «Воспоминаниях» Р. Белов; эта пошлятина вообще с Решетовым несовместима).

* * * * *

Тамара — Алексею Леонидовичу:

— Ты куда? Ты еще стихи должен набормотать на кассету.

— Сама наборматывай. А ты не хохочи! (мне).

* * * * *

Тамара, вчитываясь в рукопись его стихотворения, которое я переписываю в тетрадь:

— Ворчащий?

— Скорбящий! Ворчащие — это вы! (Я и Тамара.)

* * * * *

— Муж у тебя, милая, музейный. Мамонт! По состоянию мозгов.

* * * * *

Мне:

— Как баба ты мне не нужна, и проза у тебя говенная.

— Тонкая лесть, — комментирует Тамара.

* * * * *

Тамара:

— Вытер ботинки кухонной тряпкой.

Ольга:

— По бабам, значит, собрался.

* * * * *

— Где мои семнадцать лет? А-а, вот они стоят! (Ольга и ее сапоги в прихожей).

* * * * *

Решетов о ком-то:

— Он хороший и под одеялом и поверху.

Тамара:

— А ты с ним спал, что ли?

— Хотел переспать, но он: «Нет! Ни за что!»

* * * * *

Я играла на пианино, настроив его. Тамара говорит:

— Господи, такая тишина среди нынешней нашей гадости вокруг... откуда ты берешь?

Алексей Леонидович:

— Может быть, потому, что я не понимаю музыку, я подлый человек.

Тамара:

— Не печалься.

* * * * *

Решетов — мне:

— С тобой нельзя темнить.

* * * * *

Заговорили о Викторе Петровиче Астафьеве и его жене Марии Семеновне. Решетов:

— Марья Семеновна — это и есть Виктор Петрович.

И я вспомнила, как сказал однажды Ризов:

— Марья Семеновна за своего Витеньку бетонную сваю перекусит!

У Решетова к Астафьеву отношение двойное. Рассказывает, что Виктор Петрович вначале писал очень много и очень плохо. (То, что плохо, видно по его первому роману «Тают снега»). Но после двухгодичных литературных курсов в Москве, вернулся в Пермь совершенно иным: смелым и ярким писателем. Сознывая свою силу, стал подминать остальных. Был случай: несколько писателей, Решетов среди них, отдыхая в парке Горького, сильно перепились. Решетов здоровьем никогда не отличался, свалился. Через несколько дней на собрании в Союзе Астафьев гневно кричал, что таким алкашам, как Решетов, места нет в их рядах! А ведь когда бражничали (для писателей — это бесконечные разговоры и споры о литературе, чтение стихов и т. д.), с каким упоением слушал стихи Решетова, особенно «Убитым хочется дышать», сам читал наизусть, произнося не «вдохом», а «вздохом», над чем Решетов потешался. И вот такой позорный столб уготовил ему!

— Смотрю, — говорит Алексей Леонидович, — ряд, на котором я сидел, пустеет, пустеет... И только Радкевич остался: «Алеша, пусть все тебя предадут, я с тобой буду!»

После этого собрания Решетова не издавали девять лет! Для него это было равносильно прижизненной смерти!

Когда в 98 году я побывала на «Литературных встречах в русской провинции», организованных Виктором Петровичем в Дивногорске, вернулась окрыленной, радостной, ибо нигде до этого не бывала, Решетов буркнул:

— На хрена ты к нему поехала?

У меня об Астафьеве тоже сложилось двойное мнение. С одной стороны — пригласил писателей со всей России, оплатив проезд и проживание, дав возможность пообщаться друг с другом, выговориться; с другой — явно поделил их на «сословия»: *маленьких* и *больших*, сильно эту «сословность» подчеркивая. Помню, в холле гостиницы увидела Виктора Петровича в окружении молодых писателей, подошла. Потом заговорила о Перми, Решетове.

— Я выдвигал его на Государственную премию, но... один голос!

И я не поверила, что один голос Астафьева не перевесил пять других голосов. Значит, вранье, набивание цены себе. А цену себе набивать он умел. Говорит:

— Наш оргкомитет рассматривает список приглашенных, и вдруг: «Бойко. Что за Бойко? Ма-аркес будет, и вдруг какая-то Бойко!» — «Не какая-то, а моя землячка».

Слушать это мне было тяжело и унизительно; лучше бы уж совсем не приглашал. (А Маркеса никакого не было, кстати). Но вот кончилась конференция, и в последний день перед сотней кино-и телекамер Виктор Петрович представляет мою книгу «На тот большак...» и, обращаясь к издателям, говорит, что ее надо переиздать.

— Встань, Нина, покажись народу! — просит. А я от неожиданности и волнения лишь приподнимаюсь и слегка кланяюсь.

Там же, на «Встречах», Виктор Петрович попросил меня помочь в сборе материала о Решетове, чтобы издать его книгу в серии «Поэты свинцового века». Я, вернувшись в Губаху, тотчас выслала ему все, что у меня имелось. Потом он позвонил Алексею Леонидовичу, сказал о задумке. Решетов выслал свои стихи. Книга была издана через полгода, называлась «Не плачьте обо мне». Очень был благодарен за нее Решетов! А Виктор Петрович выслал мне один экземпляр (Решетову 400 экземпляров) и написал на титульном листе: «Нина! Вот что получилось из нашей затеи. Спасибо, что помогла! Астафьев». Я долго берегла ее, а потом отдала в этнографический музей города Чусового. Там директор Л. Д. Постников сделал особый пристрой, где помещает все об Астафьеве, а к тому же Леонард Дмитриевич горячий поклонник Решетова.

Вечер у нас плавно перешел в ночь. Алексей Леонидович отправился спать, а мы, три женщины, остались на кухне. Просидели до утра. Тут я увидела, какая нетерпимость между Ольгой и Тамарой. Я была бампером между ними! У Тамары давняя обида на Ольгу. Но здесь надо обратиться к рассказу Тамары о том времени, когда она и Решетов жили в Березниках. Их свела директор музыкального училища Эрна Андреевна Тибелиус, решив, что они друг другу подходят и могли бы стать счастливой парой. Тибелиус после войны работала преподавательницей в средней школе, где учился Решетов, была сослана в Березники из Прибалтики, отмечалась в спецкомендатуре, как и Нина Вадимовна. В те времена она была замкнутой и запуганной, как говорит Решетов. Потом, конечно, время изменилось, спецкомендатуры кончились, она расправила плечи. Я помню ее по 67 году, когда училась в Березниковском музыкальном училище (я там только год училась), а она была директором. Властная до жестокости женщина. Порядок в общежитии — оно располагалось на третьем и четвертом этажах музыкального училища — армейский: в семь утра подъ-

ем, с восьми занятия, перерыв на обед, занятия, ужин, два часа на вечерний отдых, в одиннадцать вечера отбой. Все по звонку. Директор сама ходила по комнатам, позорила студентов за неряшливость, за то, что днем валяются на постелях, что не на месте карандаши и учебники... Ирина Бельмас, преподаватель по классу виолончели, до сих пор называет ее не иначе, как гестаповка. Я была абсолютно такого же мнения. Тамара Катаева приехала в Березники вместе с Ириной Бельмас в 68 году. По распределению Уральской консерватории. Тамара преподавала теорию музыки и дирижирование. Не избалованная, застенчивая, страшно непрактичная в быту, стремившаяся всем всегда помочь, с огромной работоспособностью — она и сейчас такая. С Решетовым у нее завязались приятельские отношения, а потом Тамара в него влюбилась. Была ли с его стороны любовь, не знаю, Тамара не говорит. Но однолюбом он не был: то есть его первая и очень сильная любовь к Вере Болотовой не была единственной, — он влюблялся часто, хоть, конечно, не так пылко. В его любовной лирике присутствие не только Веры Болотовой. (Я видела ее один раз — в 97 году в Перми. Невысокая, полная, немолодая женщина с большими накрашенными глазами, короткой прической, накрашенными губами, бойкая и словоохотливая. Абсолютная противоположность Решетову). Любовь к Решетову у Тамары, очевидно, была вначале сильной, а потом переродилась в привычку любить его. Когда Решетовы переехали в Пермь, ее тоже вскоре перевели туда. Работала в областном управлении культуры на высокой должности. Когда приходила к Решетовым, Ольга заворачивала ее назад прямо с порога. Здесь что-то очень схожее с женитьбой Чехова на Ольге Книппер: Мария Павловна Чехова в штыки приняла невестку. Но, в отличие от Антона Павловича, который умолял жену потерпеть год-полтора, надеясь, что его сестра смягчится, полюбит ее, Алексей Леонидович не пытался облегчить участь Тамары. Знал, наверное, что Ольгу не переломить, а Ольга была для него всем! Но как Ольга ухаживала за Алексеем Леонидовичем, когда после смерти матери он жил один в Перми! (Тамара не хотела в Пермь, ей пришлось бы жить в одной квартире с Ольгой, а к тому же у Тамары сильно болела мама). Даже когда Ольга переехала жить к мужу, она приходила убирать квартиру, стирать, утюжить... у Решетова всегда была чистота. А какие

разговоры между ними были замечательные, ведь Ольга умница, и души необыкновенной.

Где встречались Алексей Леонидович и Тамара, не знаю, но у нее была беременность от него. Мог бы ребенок родиться, но... поехала в Среднюю Азию отдохнуть, назад везла несколько дынь — в подарок семье Решетовых, а ее никто не встретил на вокзале. Сама тащила с этими дынями. А потом — выкидыш. Не может она этого простить ни Алексею Леонидовичу, ни его маме. Но когда Нина Вадимовна почувствовала приближение своего конца, она пожелала, чтобы Алеша и Тамара венчались. Они венчались в церкви на Разгуляе, еще не восстановленной полностью, однако у входа в церковь уже была икона Спасителя, написанная Ольгой. Ольга, когда писала ее, ела хлеб и воду, и, конечно, в рот не брала спиртного. Как и Алексей Леонидович, она была глубоко верующей.

Когда утром Алексей Леонидович проснулся, Ольга и Тамара сразу прекратили распри. Днем я уехала.

Но вернусь к 97 году, когда в Березниках праздновали 60-летие Решетова. После торжественной части был банкет. Народу было много, и все представительные, я среди них чувствовала себя маленькой, и сильно была стеснена этим. Алексей Леонидович и Тамара сидели скромно у края стола. Больше всех разглагольствовал Михайлюк, стараясь ущипнуть то меня, то еще кого-нибудь, кто не посмел бы дать ему отпор. Но... нарвался, наконец. На Ирину Бельмас. Она так его отчихвостила, что побледнел. Я вскоре ушла. А на другой день Решетовы, я, Ирина решили встретиться у Галины Александровны Штейнле. Как готовились к этой встрече Галя и ее муж Виктор! Гале (теперь она директор Березниковского музыкального училища) очень хотелось пообщаться с Тамарой Павловной, ведь она была учительницей Гали, любимой учительницей! Но Решетовы не пришли, их «утащили» на Калийный рудник. Мы сидели за столом одни, расстроенные.

— Сколько бы сейчас было воспоминаний, смеха! — грустила Ирина. — Ведь так давно мы не виделись.

На следующее утро я уезжала в Губаху. И Решетовы уезжали тем же поездом. Моя преподавательница музыки, Галина Евгеньевна Корнильева, узнав, что на вокзале будет Тамара

Павловна, поехала со мной, несмотря на свои 80 лет. Солнечный был день, совсем летний, хоть повсюду еще лежал снег. Я усадила Галину Евгеньевну на лавочку на перроне, и пошла разыскивать Тамару. Она была одна, сказала, что друзья Алексея Леонидовича удержали его в Березниках. Подхватила мою тяжеленную сумку и потащила в вагон — маленькая, хрупкая... Потом мы вернулись на перрон, к Галине Евгеньевне. Очень трогательной была их встреча!

В эту поездку (ехали вместе три часа) мы с Тамарой сразу перешли на «ты».

— Мне Алеша говорил, что тыходишь на меня, — призналась Тамара.

— А мне говорил: «Вы быстро сойдетесь».

Тамара подарила мне фотографию Алексея Леонидовича. Рассказала, как в прежние времена он встречал ее в Перми — с огромным букетом цветов...

Из ее рассказов о жизни с Алексеем Леонидовичем я вывела вот что: ни он, ни она не были подспорьем друг другу; они, как две былинки, притулились один к другому, и любой ветерок пригибал их одинаково.

Решетов был глыбой в литературе, и понимал это. Но с людьми оставался прост и доступен. Любил юмор, любил пошутить сам.

1999 год. В честь Решетова в Березниках проводится областной литературный фестиваль. Впервые молодые силы собираются вместе. Впервые таланты могут заявить о себе, не обивая пороги редакций. Приехал Алексей Леонидович. Он волнуется не меньше, чем те, кто сейчас читает свои стихи со сцены. Выступающих много. Есть хорошие стихи, но большей частью — стихоплетство. Решетов слушает внимательно. К вечеру его лицо сереет от усталости.

Слава Богу, первый день фестиваля заканчивается. Устроители напихивают Решетову целую гору подарков. Сергей Белоглазов складывает все в багажник и подвозит нас — Алексея Леонидовича, Тамару, Ирину Бельмас и меня — к общезнанию, где Решетовым дали на время две комнаты. Среди подарков — ящик пива.

И вот сидим за столом возле ширмы, разделяющей комнаты, пиво пьем. Передо мной лист бумаги и карандаш, записы-

ваю все, что говорим, что происходит с нами. А за окном — белая ночь.

Ирина пристаёт к Решетову:

— Нет, Алешка, ты послушай, послушай мои стихи! «Пришла любовь...»

— Здорово! Спиши слова.

Я падаю носом на стол, Тамара меня укоряет:

— Над чем смеешься? Над святым чувством.

Ира вопит:

— Ты подлец! Ты меня под корень срубил!

— Все, бабы, бросай о литературе, давай морально разлагаться!

— Я уже разложилась!

— Каждому овощу свой срок. Ты разложилась, а я только цвет набираю.

Ира полощет в бутылке и оправдывается:

— Меня дома никто не ждет.

— Бог Индра сидел на пяти слонах, а у тебя один слон — моральное поведение!

Хохочем.

Тамара вспоминает, как я выступала на открытии фестиваля:

— Размахивает руками! Бух по микрофону! И по-детски на него: уберись ты отсюда!

Да, так и было. В зале кто смеялся, кто аплодировал, когда я, совершенно не соображая, что делаю, за «голову» отставила микрофон в сторону.

Теперь Алексей Леонидович сам пристаёт к Ире:

— Главный эпитет найди для себя.

— Я — роскошная женщина!

Он обнимает ее за плечи, и нам:

— Может быть, мы смешно выглядим, но у нас — настоящее чувство!

Ира уже устала от смеха:

— Все, пошли спать, — смотрит на часы, — третий час ночи.

— Нет, я сперва покурю, обдумаю... у меня чувства серьезные.

Потом с таким же затаенным смехом спрашивает меня:

— Тебя N обхаживает?

— Четвертый год уже. Но держусь. Хотя уже тяжело...

— Ах, как ты весело горюешь!

И опять мы хохочем, и сна ни у кого ни в одном глазу.

— На чем ты, когда трезвая, играешь? — с самым серьезным видом спрашивает Иру Алексей Леонидович. Ирина окончила Уральскую консерваторию, преподает виолончель в музыкальном училище. Он очень ценит ее как музыканта. А про одну бездарную виолончелистку сказал однажды: «Играет, как ворона на электрическом проводе».

Я смеюсь. Решетов:

— Сходи в уборную, может, меньше хохотать будешь.

Потом глядит на меня и Иру, и улыбается:

— Майоль не дурак был, таких ваял.

И отдельно Ире:

— Ты была бы в сто раз обаятельней, если б была поскромнее.

Тут Тамара вспоминает:

— Когда ты, Алеша, со сцены говорил, я боялась, чтобы брюки у тебя не спали. Ты завтра стой, как бы подбоченясь, а на самом деле — штаны держи.

— Да, да! — подтверждаю я, и опять падаю носом на стол.

А он снова к Ире:

— Ну, хорошо, ты вся отдашься, но это же мне будет тяжело, я сам создан, чтобы дарить, я никогда не жил в кредит.

Потом — мне:

— Вот если б ты в меня влюбилась, я бы на седьмом небе был, но я бы и презирал тебя за то что ты влюбилась в такую гнусную личность, ведь я-то о себе ВСЁ знаю! Нин! Мы с тобой с первой встречи как родные, а еще ни разу не выпили. Нин! Я хочу тебе понравиться. Но не как мужик, а как литератор.

Тамаре:

— Не насмехайся!

Но мы уже хохочем безудержно. Тогда он обводит нас глазами и ворчит:

— И как только земля держит?

Кое-как идем спать. Тамара и Алексей Леонидович в свою комнату, на односпальную кровать, мы с Ирой — в свою, тоже на односпалку. Вроде бы, уснули... Нет, Алексей Леонидович заводит:

— Нин! У поэтов и прозаиков антагонизм, — (намек на то, что Ира пишет стихи, а я прозу).

И опять хохот, и никакого сна.

— Выкинут завтра нас отсюда, — трагически говорит Алексей Леонидович. Потом прибавляет тихо: — Господи! Как редко такое счастье бывает... Совершенно ребяческая радость, до беспомощной чистоты. Стесняемся ее почему-то...

Утром при ярком свете невозможно без смеха смотреть друг на друга: взъерошенные, помятые... Алексей Леонидович подводит итог:

— Этот фестиваль добром кончиться не может. Надо сразу сейчас прийти и сказать: «Светлая память...» Как народ взбодрится!

Приводим себя в надлежащий вид. Алексей Леонидович вспоминает свою бабушку-княжну и друга Пашу Петухова:

— Паша утром с похмелья лезет к моей бабушке: «Баб Оль! Я тоже сын помещика». — «На! — вынимает она из-под подушки последний трояк. — Подавись!»

Второй день фестиваля прошел очень хорошо, почти без напряжения. Довольны были все: и организаторы, и участники, и Алексей Леонидович.

В 2001 году Березниковское музыкальное училище отмечало свое сорокалетие. На празднование (оно проходило во Дворце металлургов) приехали Решетовы. Я пришла с Галиной Евгеньевной Корнильевой. Все было замечательно! Особенно тронуло, когда в вестибюле два молодых парня целовали Галине Евгеньевне руку. «Вот для чего дается жизнь, — подумалось мне тогда, — чтобы тебя с любовью встречали те, для кого ты трудишься».

Во время банкета я сидела за одним столиком с Тамарой и Алексеем Леонидовичем. Он привез пачку книг «Не плачьте обо мне» и дарил всем желающим. Но настроения у него не было. И как-то говорить было не о чем. Мы ждали Игоря Александровича Неверова, обещавшегося быть на этом празднике, но он так и не явился. Через день я узнала, что Неверов в ту ночь застрелился. Не смог вынести надругательств, какие «демократические» власти чинили над его любимым городом! Это был полный шок для всех нас, кто знал Игоря Александровича. Ведь это же такой был деятельный, талантливый, неугомонный человек! Его самоубийство сильно пошатнула Решетова.

2002 год, начало июня. Я у Решетовых в Екатеринбурге. Лютый холод, морозом обожгло листву, и она черными лохмотьями свисает с кустов сирени, черемух, тополей. Когда я ехала сюда, то от Губахи до самого Чусового — поля подснежников, — это летом-то!

Алексей Леонидович готовит к печати свой новый сборник, Тамара ему помогает: вся «техническая часть» на ней. Видно, что оба они сильно устали и рады хоть чуть-чуть развеяться.

— Иди за пивом! — сразу дает мне Алексей Леонидович полусотенную.

Но Тамара отнимает у него деньги. Ему нельзя пить. Даже пиво. Он настолько слаб, что стакан пива валит его с ног.

О пьянстве Решетова говорят много, но сама я видела его пьяным единственный раз. И то он не от водки опьянел, а от пива. Это было в 97 году летом. Мы тогда пошли с ним к Старовойтову в библиотеку им. Горького, купили «у танка» три литра, а поесть — ничего. У Саши тоже, кроме бутылки пива и подлещика, ничего не было. И что тут мудреного, что Решетов сильно опьянел. Я ведь тоже, когда поднималась из-за стола, чуть не упала на него: попей-ка, весь день не евши.

Коли Тамара в пиве ему отказала, то мы с ним пошли курить. В ванную. В этой ванной кого только не перебывало. Профессора университета, художники, литераторы, музыканты, родственники, друзья... Дело в том, что квартира у Тамары — двухкомнатная «хрущевка», курить в ней — дышать будет нечем. Когда была жива у Тамары мама, Алексей Леонидович и его гости (в основном все курящие), уходили в ванную, там есть вытяжка. Какую картину порой представлял из себя этот совмещенный санузел! Решетов сидел на крышке унитаза — это его «законное» место, остальные кто стоит, кто присел на край ванны, кто втиснулся между стиральной машиной и ванной — на табуретик. И какие разговоры велись в этом санузле! Как высоко в своих мыслях поднимались тут! В 99 году мама у Тамары умерла. Но привычка курить в ванной осталась.

И вот мы курим, я стою, Решетов сидит.

— Я не хочу умирать... — он смотрит на меня своими доверчивыми голубыми очами, в которых совершенно детская мольба: найди лекарство от смерти!..

Он и прежде часто о смерти говорил, но никогда так грустно.

Я его утешаю:

— Все от Бога. Как он захочет, так и будет.

— Это я и без тебя знаю.

И читает мне наизусть свое новое стихотворение о том, что всех посмертных памятников ему дороже один день жизни, да что там день: час, миг. (Это стихотворение, наверное, вошло в посмертное собрание сочинений Решетова, вышедшее в трех томах в 2004 году, — у меня его нет). Потом рассказал жуткое о том, что с ним бывало, когда от пьянства у него случалась белая горячка.

— Белая горячка случается на второй-третий день запоя. Сразу подключается второй мир. *Все* вещи говорят! Труба канализационная, бумажки, тряпки... С Сатаной встречи... Ангелы прилетают, условия ставят: «Ты будешь нашим работником? Нет? Тогда иди к Сатане!» — и взмывают в небо, и я за ними — хоть с крыши, хоть из окна. В этой квартире однажды чуть с балкона не вылетел. Видения: люди живые и мертвые со мной на улице встречаются, — хоть я дома в этот момент лежу, — здороваются, говорят. Трогаешь их, они как полотенце на вешалке, *пустые*. То мне голову отрубили, привиделось самому о себе; кошку потерял, искал на улице; Оля дома ждет... Все как в жизни. Самое страшное, когда встречаешь давно умерших знакомых и разговариваешь с ними, за руку здороваешься, а рука — бесплотная...

Потом мы с ним идем на кухню — Тамара сварила кофе. Но не успели по глотку отхлебнуть, в дверь звонок, пришла торговка, бойко навязывающая чайник и какой-то медицинский прибор «всего за тысячу рублей». Алексей Леонидович машет Тамаре в прихожую, чтобы выпроводила эту бойкую даму, но Тамара не слушает, покупает то и другое. Возвратилась на кухню, доказывает ему:

— Это чайник сам воду очищает!

— Сам заваривает и сахар кладет! — сердится он.

Алексей Леонидович получил губернаторскую премию за книгу «Темные светы». После вычета подоходного налога, у него на руках около 27 тысяч. 17 тысяч отложил для Ольги, а десять — им с Тамарой на все про все, потому что Тамара, как и он, на пенсии. Она вполне бы еще могла работать в своей музыкальной школе при консерватории, но боится оставлять его дома одного. Он тут, как чижик в клетке. На улицу не ходит

вообще. Куда ходить? Праздно гулять он мог только в Березниках, там ему все закоулки были знакомы. А здесь, как и в Перми, он обходился одной-двумя улицами. Но, главное, Ольги нет. Тамара ухаживала за Алексеем Леонидовичем, старалась быть ему помощницей... а он рвался в Березники. Тамара боялась, что в Березниках его споят друзья, измучит Ольга... а тут он месяцами сидел дома один, глядя в окно и ожидая Тамару с работы.

«У смерти тысячи образов. Но начинается она с чувства остановившейся жизни».

На подоконнике стопка листочков — новые стихи Алексея Леонидовича. Я прошу дать почитать. Он в это время читает окончательный вариант моей статьи о нем. Читает невнимательно, все время отвлекается. Да и вообще, по-видимому, его ничто уже не интересует. Тамара приносит мне несколько фотографий и детский рисунок Решетова. (Он не дожил двух дней до выхода этой статьи в журнале «Прессцентр»).

Потом Тамара начинает готовить суп. Я смотрю, как тоненько и ответственно шинкует капусту Алексей Леонидович. По ходу дела, рассказывают мне, что Новый, 2002 год, им нечем было встретить: пустой холодильник... но пришли вдруг Комлевы — Андрей и Алина, притащили вина, продуктов, — праздник получился замечательным, и не потому, что вино и продукты, а просто по душе. (После смерти Алексея Леонидовича я поближе узнаю Комлевых, и что-то подскажет мне, что у них не душа, а выгода. Они быстро сориентировались: Решетов — классик, участие в его жизни, делах сулит им имя).

Я все-таки сходила за пивом. Пообедали и сели играть в карты. Но как-то скучно игралось... бросили; пустяковый разговор завели.

— Какая ты баба, ты писательница, — высказался в мой адрес Решетов.

Потом начал гадать Тамаре:

— Волнения, досада... Вот она! — на стол шлепнулась десятка виной. — Та-ак... Любовь. Та-ак... Испуг!

Я сказала Решетову, что гадала на него по Евангелию (наугад открывая страницу), и вот что вышло: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери и призвавший благодатию Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я бла-

гочествовал Его язычникам — я не стал тогда же советовать-ся с плотью и кровью».

Решетов действительно был сыном Бога. Никогда, не поступался он Божеским, то есть совестью, которая при рождении дается каждому из нас, да вот абсолютным большинством очень уж быстро теряется.

— А себе что нагадала?

— А мое — такое: «Ваша покорность вере всем известна, и почему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло».

Пошли с ним курить в ванную. Я начала разговор о детстве... и вдруг у Алексея Леонидовича загорелись глаза!

— Зацепила ты меня детством!

И стал рассказывать о Березниках, Хабаровске, детских и школьных годах... Потом непроизвольно перешел на поэзию.

— Самая большая ценность в поэзии и в любом творчестве — это человек, сокровенность человека!

А вечером, провожая меня, грустно произнес:

— Я тебя больше не увижу. — И почему-то улыбнулся, словно прося прощения.

А прежде он говорил мне:

— И в дальний путь на долгие года! — он не любил, когда я уходила или уезжала, удерживал.

Июль. 2002 год.

«Милые мои, Тамара и Алексей Леонидович!

...Я еще несколько дней была в Екатеринбурге, и все время у вас. Так много было сказано в тот мой приезд, что можно жить этим объемом еще очень долго. Не знала я Алексея Леонидовича таким азартным, как в эту встречу. Спасибо вам за приют, за тепло, за все очень доброе.

Прочитала «Темные светы». Намазано много, хоть книга, надо отдать должное издателям, выполнена красиво. В послесловии С. Лесневский правильно сказал: «Стихи Решетова отличаются, особенно в последние годы, обостренной совестью». Стало понятней, почему народ идет и идет к Вам, Алексей Леонидович. При Вас коросты отмирают. Чистым становишься, легким. И уж Вы простите тех, кто надоедает Вам, пожалуйста, как доктор».

Больше Алексея Леонидовича я никогда не увижу. Он умер 29 сентября. Накануне я еще звонила ему, рассказывала, что Леонард Дмитриевич Постников от всей души благодарит за подарок — «Темные светы», что он посадил рябиновый сад, и рябины уже большие. Решетов поблагодарил.

Умер он от бронхов, — износились. В последние дни в бреду звал мать. А в последнюю минуту, рассказывает Тамара, вскрикнул: «Мама! Бабушка Оля!» И все, сердце остановилось.

2 октября в шесть утра Ризов, Старовойтов и я на машине выехали из Перми в Екатеринбург. Страшное состояние было у всех троих! Решетова не стало!

В Екатеринбурге дождались, когда подъедет погребальный автобус. Я вошла в него и... сжалась. Длинный-предлинный гроб. Закрыт крышкой. И вот в нем... Алексей Леонидович?! Которого я так любила?! Боже ты мой!!!

Отпевание состоялось в великолепном соборе. Но... великолепный снаружи, собор оказался ничтожным изнутри. У входа — торговля: религиозная литература, мирские газеты и журналы, полу-мирская литература, продажа по баснословным ценам крестиков, молитв, свечей, реестр цен церковных услуг, кружка для роз Богородице... Невозможно было вынести это!

Поп кое-как прожевал над усопшим положенный текст. Какие-то «девы» в кожаных и мужских кепках (в православном-то храме!) пели прямо в изголовье Алексея Леонидовича. Поп вдруг перешел на агитацию, и минут десять агитировал нас (пришедших отдать последний поклон *п о э т у !*), ходить в церковь, обещая нам Божью благодать и закончил словами: «Вот увидите, не пожалеете!» Потом вспомнил, что перед ним усопший и сказал о нем несколько слов. А дальше — дьячок с миской в полтазика стал обходить собравшихся: жертвуйте. Было так гадко, что я ревом редела. Всегда я молюсь в церкви, а тут — будто по камню в руках.

Кого же вы так отпеваете постыдно?! *Свет небесный* вы обгадили своей алчностью, безверием, ничтожностью!!!

Плакала, не могла унять, Ольга, почерневшая, исхудавшая враз. Тамара ни слезинки не проронила, сказав мне потом: «Мой отец не разрешал нам плакать».

После отпевания — кремация. А там, оказывается — очередь: люди как мухи мрут! Назначили на 5-е число.

Вот тут и вспомнились мне слова Алексея Леонидовича, которые сказал в последнюю нашу встречу: «Будет народное восстание! Не против системы, против бездуховности!»

Сам факт кремации поэта был вопиющим! Но Тамару не переубедить. В доказательство своей правоты, заявила, что урну с прахом положит в сумку и на поезде привезет в Березники, если из Березников не вышлют машину. А березниковцы готовы были все сделать, только бы не урну, а поэта увидеть при последнем прощании, поклониться, поцеловать...

В ночь с 4 на 5 октября я не спала. Не было сна. Ни на минуту не было. И вот вижу перед глазами металлический лоток с догорающими углями, и в лоток, как в пепельницу, опущена недокуренная сигарета: дымок еще вьется.глянула на часы: 6.20. Попозже позвонила Тамаре, рассказала про это видение, что, вдруг это и был час кремации Алексея Леонидовича? Она как-то отрешенно ответила: «Может быть».

29 сентября 2004 года в Березниках была презентация посмертно изданного трехтомника Решетова. Много поработала над ним Тамара, найдя в бумагах архива ненапечатанные стихотворения (около двухсот). Но, как говорит Дмитрий Ризов, Алексей Леонидович никогда не терял своих стихов, и эти двести, очевидно, те, которые он не считал удачными, и, следовательно, не желал их видеть в печати.

Дмитрий Ризов считает, что какими бы ни были мотивы, движущие издателями, пусть даже шкурные, они сделали великое дело, и нам всем надо сказать им спасибо. Честно говоря, я не поняла его. Был ли тут упрек пермякам, которые два года палец о палец не ударили, чтобы как-то почтить память Решетова, или он искренне так думал?..

Архив Решетова Тамара не отдала ни в государственный архив Перми, ни в Березники. Позвонила Марии Семеновне Астафьевой и та, овдовев годом раньше, сказала: ни в коем случае не отдавай архив никому, храни дома. Почему она так сказала? В госархиве документы лежат в особых хранилищах, доступ — только в читальном зале и под контролем. А дома? Тамаре бы сделали ксерокопии документов, и она могла бы по ним работать точно так же, как по оригиналам...

Архив небольшой. Много из него утеряно при переездах, многое «помогли» утратить *мужья* Ольги. Они в грош не ставили Алексея Леонидовича. Один из них в 99 году сильно ударил его, повредил внутренности. Его положили в больницу, а там, поднимаясь с кровати, он пошатнулся и, упав на что-то, сломал ребро. Этот изверг и Ольгу бил, почему Решетов и сменял пермскую квартиру на Екатеринбург.

Решетов в глубинах души своей был одиночкой. Его пронзительные стихи о семье, детях, любимой женщине — это разовые порывы, иметь семью, отвечать за нее он был не в состоянии, поскольку в этом случае потерял бы свободу, которой дорожил больше всего. Его женитьба на Тамаре Катаевой... как говорит она, любила его с 69 года, а он чуть ни 30 лет *не решался*. Что-то близкое к Чехову; Антон Павлович (тоже, как и Решетов, женился под конец своей жизни) любил дом, был в молодости страстно влюблен в замужнюю женщину Лидию Авилу, хотел семейного счастья, но... его жена писала, что быстро «почуяла в нем одиночку».

У Решетова с Чеховым много общего в судьбе и творчестве.

15 ноября 2004 г.
г. Губаха.

ВЗГЛЯД БЛОКА

Первый поэт, которого я полюбила в жизни, был Блок. Я помню, как это было: в клубе «Прогресс» на станции Мулянка в библиотеке водилось немало книг с ятями, ижицами, твердыми знаками. Я их избегала. Однажды, когда я тянулась за растрепанным сборником абхазских народных сказок (без ижиц), на меня свалился темно-синий том, он упал мне под ноги, раскрывшись. Я подняла его и прочла «Незнакомку». Мне было девять лет. «По вечерамъ, над ресторанами, горячий воздухъ дикъ и глухъ...». До этого я не любила даже Пушкина, не воспринимала, столбики строк и рифмы мне мешали. А тут эти твердые знаки, эта глухота звука, этот дополнительный воздух — позволили мне вдохнуть поэзию. Так родившемуся ребенку необходимо вдохнуть воздух этого мира. Я абсолютно и сразу все поняла и запомнила эти стихи навсегда. И запомнила лицо Александра Блока на первой странице книги. Вот таким должен быть поэт.

Когда я впервые увидела Решетова, конечно, я сразу его узнала. Он был, как Блок. И не просто потому, что похож, а насквозь похож. На самом деле, как Блок.

Было это, кажется, году в шестьдесят шестом, и, скорее всего, в доме журналистов, «домжуре»... Этот дом на Сибирской, а тогда на Карла Маркса, очень и очень памятен мне. Там столько сердец разбилось, такие появлялись восхитительные лица, такие звучали речи, голоса... Когда-то, задолго до Великой Отечественной войны, в этом самом здании и на том же этаже размещалось общежитие пермского художественного техникума, в нем училась моя мама и жила она в общежитии, в комнате рядом с балконом. Мама видела на этом балконе молодых Аркадия Гайдара, Савватия Гинца, Назаровского. С Гинцем потом всю жизнь дружила. Конечно, она мне рассказывала о тех временах и, конечно, я много чего испытываю к этому дому, к стенам, которые еще мою юную маму помнят.

И вот там в середине шестидесятых был поэтический вечер, на который приехал Алексей Решетов, поэт из Березников.

Незадолго до этого именно Савватий Михайлович Гинц подарил моей маме первый сборник Решетова «Нежность». Я не дословно, но помню дарственную надпись. Гинц вполне имел право сделать ее, потому что был редактором, а возможно, и составителем сборника... *«С радостью дарю книгу поэта, которых редко, но еще рождает русская земля. С. Гинц»*... Примерно так этот тончайший и строгий человек написал своим четким почерком редактора. Этот почерк я хорошо знала. Потому что Савватий Михайлович гораздо раньше сделал маме еще один подарок — рукописную книжку стихов Марины Ивановны Цветаевой. Тогда еще слова «самиздат» широко не знали. Это просто была рукописная книга, довольно толстая, с переплетом из обычного рыжего картона. Изданная собственноручно Гинцем в одном экземпляре. Он говорил, что ему доставляло удовольствие писать строки Цветаевой собственной рукой. Большинство стихов написаны были по памяти. Такой вот был Савватий Михайлович Гинц, первый издатель Решетова.

Стихи в книге «Нежность» были просты и не «сочинены», просто увидены и услышаны. Где? Где-то совсем близко.

Кофточка застенчивого цвета,
Под косынкой золотая рожь.
Женщина, тиха, как бабье лето,
Протянула запотевший ковш.
Ничего она мне не сказала,
Просто поспешила напоить.
Петь устала, говорить устала,
Только нежной не устала быть.

Многие из решетовских стихов я так и помню всю жизнь именно с тех пор. Книжки этой у меня нет. Возможно, она стоит еще на полке одной тбилисской хрущобы, ее, возможно, кто-то иногда читает. Хорошо бы...

Я, можно сказать, на ощупь помню тонкую обложку «Нежности». С серо-желтым рисунком — уральский ландшафт, над ним птицы и облака. Вполне достаточно, чтобы помнить всю жизнь, если под этой обложкой — настоящие стихи.

Помню я и первый свой взгляд на автора.

Решетов стоит у стены, худой, с узким, бледным, безошибочно узнаваемым лицом поэта, в берете, в шарфе вокруг

шеи. Его дымчатые глаза полуприкрыты веками, смотрят неведомо куда. Туда, где нет никого из нас. Взгляд Блока, тот самый.

Поэты, на мой взгляд, красивы. Все. Даже те, у которых совсем «не поэтическая внешность», Николай Заболотский, например.

И Решетов был красив.

Он читал стихи, и каждый в зале, в точности, как и я, понимал, что это читает настоящий поэт. Берусь утверждать, что молодой Решетов, читающий глухо, в одну дуду, как бы и не для народа, был абсолютно всем народом, сразу и целиком, понимаем и принимаем. Более того, слово «народ», когда читал Решетов, приобретало тот самый смысл, который в обиходном сознании почти исчез. Совестно как-то после множества лет проживания на своей территории, но в ссылке и в зоне, при начальниках, чувствовать себя и своих соседей русским народом... Когда читал Решетов, переставало быть совестно. Мы узнавали себя. Приходили в себя.

Как происходит чудо поэзии, чему мы обязаны этим редким счастьем? Родному языку?.. Да. Но еще вот этому дымчатому взгляду, который тебя не видит, видит что-то абсолютное, окончательно важное. И ты, в конце концов, тоже оказываешься там. Куда смотрит поэт. И приобретаешь, хотя бы отчасти, то качество, которое достойно его взгляда.

Я не могла с ним не познакомиться, слишком много общих друзей у нас было. Ирина Христолюбова. Надежда Гашева. Виктор Болотов... Но как именно мы познакомились, я не помню. Скорее всего, у Ирины. Она жила тогда по адресу Малая Ямская, 5. На первом этаже двухэтажного деревянного дома. Хорошо, что на первом, потому что иначе поэт Виктор Болотов, влезавший в комнату Ирины через форточку, мог бы погибнуть во цвете лет. Влезал он в форточку, потому что квартира была коммунальная, и тетя Лиза, главная в квартире жилища, не любила ночных гостей. «Бедная тетя Лиза» — так ее и звали в комнате Иры. Потому что ведь не все же из Ирининых гостей были столь интеллигентны и ловки, чтобы влезать через форточку, как Виктор Болотов, большинство из нас все-таки стучались после десяти часов в двери коммунальной квартиры. И любимая собака тети Лизы, спаниель Джери, залившись лаяла, будя хозяйку.

А по утрам обитатели Ирениной комнаты — нередко и я — просыпались от неистовой барабанной дроби. Это Джери со-

вершала свой утренний туалет, выбивая блох из шерсти и заодно колотя по стенке, возле которой был постелен ее коврик.

Я помню, как впервые пришла в эту комнату, и сразу почувствовала: это судьба, это мое место на земле.

Думаю, что и для Леша Решетова комната по адресу Малая Ямская, 5 была хорошим пристанищем в те редкие дни, когда он наезжал в Пермь.

Он не любил Пермь, он любил Березники.

Вот там, в Березниках, и произошла наша не первая, но настоящая встреча.

Произошла благодаря Паше Петухову.

Паша Петухов, верный друг, глубочайше преданный Леше Решетову человек, понимавший, с каким чудом его свела судьба.

В Березники я приехала в командировку от «Молодой гвардии», зашла в редакцию местной газеты, застала там Петухова, который «как раз ждал Лешу». Дальше, три пронзительных, залитых ледяным дождиком, а потом и посеребренных инеем октябрьских дня мы провели, практически не расставаясь, с Лешей и Пашей. Были и другие люди, возникали, исчезали, снова появлялись. Были какие-то совместные и очень важные походы, сдача бутылок, переезды с квартиры на квартиру. Одно из ярких воспоминаний, как ни странно, гастрономическое. Водка под первую в году строганину. Промороженная лосятина, нарезанная тонкими пластинками, почти прозрачная, посыпанная солью и молотым перцем.

Но то, что я помню отчетливо и «в полном объеме» — это сам Алексей Решетов. Было видно, как он живет. И, что сейчас удивит многих, он жил тогда счастливо. Ему нравился запах этой городской, заваленной желтой тополиной листвой земли, это абсолютное знание (как любимой с детства и зачитанной до дыр книги) родимой местности, проходных дворов, «ямок», «точек», сквериков, где под известной скамьей хранился известный граненый стакан... Это низкое, с желтизной небо, этот горький воздух, этот собачинский холод не раздражали, они были совсем, совсем свои. Леша не был уныл, он был зорек, тверд, глубок и абсолютно внутренне свободен. Он был волком этого леса. Не кроликом.

Конечно, мы перепутали день и ночь. Конечно, мы с Лешей были влюблены друг в друга. Романа не было, мы просто были влюблены друг в друга. Все три дня. Помню, Паша Петухов огорчился незавершенностью истории. Зря. Все сложилось

прекрасно... Вдруг Решетов исчез. Оказывается — просто ушел на работу. Прошла пятница, кончились выходные, звонил будильник, Леша встал и ушел. Он работал тогда на солемельнице, и работал, в общем, нормально, не хуже прочих.

Хочется мне сказать о пьянстве той поры. Может быть, оттого, что были все молоды, а я так просто юна, бесконечное, практически нескончаемое выпивание не только не «смазывало» картину жизни, напротив, словно обостряло зрение и слух. Мы видели и слышали всем сердцем, всей душой себя и друг друга...

Потом мы еще дважды встречались в Березниках, зимой. Однажды я приехала всего на день, Леша болел и все-таки пришел к поезду на вокзал. Помню, как он стоит на перроне, темно, снег идет, светится его папироса.

У Решетова, конечно же, были друзья гораздо ближе, чем я. И все-таки всю жизнь, пока он был жив, я отчетливо чувствовала с ним связь. Я плохой, просто никакой архивариус, но пара записок и несколько страниц стихов, написанных его рукой, у меня где-то лежат. Постараюсь отрыть. Есть и мое стихотворение, написанное после одной из встреч, когда он жил в Перми и работал «консультантом» в Союзе писателей. Консультант, какое-то булгаковское слово. Что-то общее роднит лучших русских литераторов, а также их героев. У Леши был длинный ноготь на мизинце, не стриг... В тот зимний день он хворал, скверно относился к самому себе, тосковал. И пил только сухое вино. Оно называлось «Прибрежное». А за окном мела метель.

Мы встречались редко, но так, будто и не расставались. Когда он умер, на какое-то время мы и в самом деле расстались. А теперь вот, я в новогоднюю ночь 2003 года пишу о нем и чувствую его взгляд. Нет, этот взгляд не на меня. А туда, куда все они, русские поэты, смотрят. Туда, где неизвестно, как и на чем написан текст. Наш текст. На нашем, все вмещающем языке.

«Я ЖИЛ ДАЛЕКО НА УРАЛЕ»

Он писал друзьям удивительно теплые письма. Его обращения, обороты речи были словно из 19 века. О таком эпистолярном жанре уже и забыли. Но именно так писал Алексей Решетов. Нежность, искренность, юмор...

Я процитирую, хотя и не целиком, одно письмо Леша, так как оно имеет продолжение какое-то в дальнейшем.

«Иринушка, Гриша! Добрые ангелы мои! Здравствуйте! Свет и мир вашему крову!»

Я только что очухиваюсь по причине безденежья. Сажу на родной солемельнице в ночную смену. Праздник, шахтеры филонят и мы тоже.

Посмотрел, наконец, твоего «Скакуна». Грустно и светло мне стало, фильм тихий, нежный, ненастырный.

А вот что я хотел спросить на трезвую (полу) голову: кому нужен фильм обо мне? Дело в том, что я уже один раз снимался, это была мука, и делалось «ради Ручьева», как мне сказал Давыдычев. Потом Ручьева похоронили, все было зря.

Надо ли это кино тебе, Гриша, и тебе, Ира? Или самой телеконторе? В последнем случае я откажусь без зазрения совести.

А Пермь меня пока не тянет, опять близких вас, мои дорогие, будут заслонять всякие там... В Березниках тоже не мед. Юрка Марков, уехавши в отпуск, где-то в Москве или у тетки в Одессе. Сын помещика Паша Петухов пьет без меня, так как мои бабки всех мужиков прогнали по телефону.

Только что написал письмецо и Михайлюку... Да видно когда вы меня сажали в поезд, понравились проводнице, или что-то значительное ей сказали. Она меня выгрузила, как фарфоровую вазу. Спасибо, братцы, вам вечное за встречи и проводы.

Обнимаю вас, добрые друзья!»

В письмах Леша всегда ставил числа, но никогда не ставил год. Видимо, в момент написания год казался величиной постоянной. И в этом письме дата — 2 мая, а вот год приблизительно 1979-й. Тогда он с бабушкой, мамой, племянницей жил в Березниках и работал на солемельнице второго калийного комбината.

А продолжение письма в том, что фильм о Решетове был все же снят на Пермском телефильме. Только на несколько лет позднее. В жизни произошло много изменений. Решетовы уже жили в Перми. Многим была знакома их трехкомнатная квартира в доме на углу улиц 25 Октября и Кирова. И казалась уютной Лешина комната с пружинной железной кроватью и старым письменным столом, который иногда превращался в застольный. Это значит: бутылка вина, нарезанный хлеб, ну и еще что-нибудь вроде картошки и лука.

В теплое время года мама Нина Вадимовна всегда сидела в лоджии, где росло много цветов, с ней — любимая собачка Бланка.

Фильм о Леше мы все-таки сняли. В Березниках. Возможно, поэтому он не очень сопротивлялся съемкам (еще раз съездить в дорогой город!), хотя по-прежнему не любил камеру и побаивался ее.

Когда исполнилось 40 скорбных дней после кончины Алексея Решетова, по Пермскому телевидению был снова показан этот фильм (он назывался «Белый лист»).

В фильме есть эпизод: Алексей на могилах бабушки Ольги Александровны и брата Бетала ставит свечку. Потом идет по кладбищенской дорожке. Сутулый, погруженный в свои мысли, с дешевой сигареткой, которую он докуривает, притаптывает каблуком.

Сейчас Леша лежит на этом кладбище. Вся семья вместе.

Но не хотелось бы о Алексее Решетове вспоминать только похоронно. В 65 лет пережито вместе со страной несколько исторических эпох. Кардинально менялась жизнь, кардинально менялись взгляды людей. А Алексей оставался сам по себе. В своих стихах он никогда не пытался угнаться за бурными событиями, тем более политическими, он следовал за своей страдающей душой «и не писал своих героев, а впалой грудью защищал».

Решетов прожил не так уж долго и не так счастливо, как мог бы при его-то таланте. Но, видимо, талант и мешал его

бытовому благополучию. У него не было желания пробиваться локтями, эта сторона жизни его просто не интересовала. Он сам никуда не посылал свои стихи. Приносил только в городскую газету «Березниковский рабочий», да и то потому, что там работал его друг Паша Петухов. Гонорар в городской газете был, конечно, минимален. Леша иронизировал: «А на бутылку хватит?»

Стихи по другим изданиям рассылали обычно его друзья. Помню, Лев Иванович Давыдычев попросил меня на машинке перепечатать рукопись будущего сборника Решетова. Сам Алексей ни о чем не просил и даже ничего не знал. В дальнейшем очень много сделала для издания его стихов редактор Пермского книжного издательства Надежда Гашева.

Алексей никогда никому не завидовал, не жирел на своем таланте, когда стал известен. Он, как ребенок, радовался каждой удачной строчке своих друзей и всегда расхваливал их как мог.

При всей своей доброте, он был человеком острым. Мог вернуть мимоходом такое словечко! Как-то я приехала в Березники. Показываю Леше фотографию: мы с Гришей в ЗАГСе, регистрируемся. Тогда они еще не были знакомы. Леша посмотрел фотографию и вместо того, чтобы поздравить, заметил мимоходом: «А это не Остап Бендер?»

Потом он посвятил Грише стихотворение:

Пусть голова поседела,
Все-таки жизнь хороша,
Только бы раньше, чем тело,
Не умирала душа.

Сейчас, наверное, их души встретились, как и с другими, кто был дорог Леше и ушел раньше.

Вот Витя Болотов...

Алексей очень высоко ценил Виктора Болотова как человека и как поэта. Он всегда настаивал, что стихи Виктора талантливее, чем его. В этом не было никакого кокетства. Березники действительно могут гордиться, что в 60-е годы у них жили два таких ярких поэта, как Решетов и Болотов. Тогда они были молоды, очень молоды, но у Решетова уже вышли две книжки, а Виктор печатался опять же в «Березниковском рабочем». Он выпустил первую книжку, отслужив на флоте. А служил Виктор на Тихом океане, на острове Русском, где когда-то жили мама Алеши Нина Вадимовна и бабушка Ольга Александровна. Через много-много лет здесь же оказался и

матрос Виктор Болотов — как знак судьбы, он словно бы шел по их следу...

Решетов и Болотов никогда не были в поэзии соперниками, но были соперниками в любви. Так вот сплелась их судьба, они оба были влюблены в одну девушку — Веру Нестерову, оба посвящали ей замечательные стихи. Сейчас трудно искать причины и следствия ее выбора, она вышла замуж за Виктора и уехала во Владивосток. Решетов провожал ее на поезд...

Отношения Болотова и Решетова до самого последнего дня жизни (Болотов умер на несколько лет раньше) несли в себе свет и бескорыстие.

Алексей не любил перемен, боялся неизвестности. Он всегда держался за привычный уклад жизни. Боялся дурных вестей. Как раз они во многом определили его судьбу, характер взаимоотношений в семье. В ней судорожно держались друг за друга, как будто их могли разлучить в любую минуту. Бабушка Ольга Александровна, мама Нина Вадимовна, дочка брата Олеся... Смерть брата Бетала сплела их в один узел, из которого нельзя было выдернуть даже ниточку.

В молодости мир талантливого поэта Алексея Решетова в основном ограничивался одной тропой: от дома до калийного комбината, недалеко, через площадь, в дырку в заборе, потом обратно по тому же маршруту...

Откуда же брались стихи?

Что короче нашей жизни дивной?
Этим чувством нам и надо жить,
Чтобы стало песней лебединой,
То, что мы успеем совершить.

Откуда появился сборник «Белый лист», который всех ошеломил своей чистотой, нежностью? И высоким профессионализмом... Загадка. Она и пребудет всегда загадкой.

Леша никогда не видел моря, никогда не летал на самолетах. Под небеса его не тянуло, а вот о море он мечтал. Правда, Финский залив поздней осенью он видел; вероятно, этого хватило его воображению. Еще он мечтал о Тбилиси, родине его предков по материнской линии. Черты его лица были грузинскими, там в Грузии, его бы приняли за своего. И племянница Олеся — ну, внешне просто чистая грузинка. Но и в Грузии Алексей не бывал.

Его еле-еле уговорили перебраться из Березников в Пермь. Дали хорошую квартиру. Все упрямылся, все держался «за соломинку крыши родной». Хотя «родное» — горькое. Город ссыльных. Да вот дорогим стал.

Есть фотография: Надежда Гашева, Анна Бердичевская и я в новой квартире Решетовых ожидаем их приезда из Березников. Моем полы, окна, пьем сухое красное вино. И вот пришла автомашина. Нина Вадимовна взволнована, озабочена. А Леша раздражен. Все ему не нравится: и дверь хлипкая фанерная, и замок не на место вставлен, и еще и еще, к чему можно придаться. Когда они прожили в Перми уже много лет, он все еще ворчал: «Зачем только я из Березников уехал!» Но это ворчание уже было «просто так»... А может быть и нет...

Нина Вадимовна завещала похоронить ее в Березниках. И Алексей тоже. Их завещание выполнили.

В Пермь Решетов приехал не на голое место. Здесь были его старые друзья. И все-таки он постарался выделить в этом многолюдном свой уголок.

Когда Леше было плохо и физически и духовно, он шел в Союз писателей по улице 25 Октября — здесь много транспорта, но зато мало людей... Когда все нормально — выходил на шумную улицу Карла Маркса (ныне Сибирскую). Его портфель всегда был раздут, в нем находилась трехлитровая банка для пива. Пивной ларек у него тоже был один. Он мог и возле него, сидя на пригорочке, пить пиво. А бывало и друзья в это время были рядом с ним, и милые его сердцу женщины. «Дерево возле пивного ларька, ты мне любимой моей показалось...»

Но нелюбовь к переменам не всегда бывала фатальной. Случалось, он в этом своем пристрастии и ошибался. Так на склоне лет он встретил женщину, которую полюбил и женился на ней. Между прочим, они могли встретиться и раньше. Тамара Катаева, окончив Свердловскую консерваторию, преподавала в Березниковском музыкальном училище. Но судьба свела их позднее, когда Решетов жил в Перми, а Тамара в Екатеринбурге. И она стала его судьбой, взяв на себя и ношу проводов Алексея в последний путь. Их счастье было связано с потерями. Умерла мама Нина Вадимовна. Произошли большие изменения в жизни любимой племянницы Оли. Тамара стала Леше его последней «спасительной соломинкой». Ради нее он переехал в Екатеринбург, в город для него совершенно чужой. Но

он хотел в него вжиться, привыкнуть. Не успел. Таким местом для него стала его квартира в многоэтажном екатеринбургском доме, где всегда рядом была его верная Тамара.

Есть у Решетова:

Я жил далеко на Урале.
В почти не доступной дали,
То льдины у ног проплывали,
То сено на лодках везли...

В фильме «Белый лист» Решетов говорит: «Бессмертие писателя в его читателе». Читатель поэта Алексея Решетова будет жить долго.



ФИЗИКИ – ЛИРИКИ

Из цикла «Перемщина» К памяtnому знаку Алексею Решетову

*Поэзия — это ответ гармонией
на дисгармонию бытия.*

Наум Коржавин.

К моменту переезда Лехи для постоянного житья в Пермь литературная дискуссия под таким девизом, бикфордовым шнуром для возгорания которой послужили строчки из стихотворения Бориса Слуцкого «Физики и лирики»:

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
[...] Значит, что-то не раскрыли
Мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенкие крылья
Наши сладенькие ямбы.

затухла и забылась. Помнили о ней разве что ее бывлые лихие участники-закоперщики, да поди еще историки соцреалистики-лингвистики-славистики-нудистики-мудистики — по нужде.

Но сам-то Борис Абрамович, несомненно сам-то про то и не зная, значил многое в решетовской судьбе. Впрочем, ту пошти што святошную-святошную из грешной-кромешной-горемышной Лешкиной житухи ноэлю про то, как без чьей бы то ни было наводки-подначки («[...] одним словом, я знаю об этом поэте ровно столько же, сколько любой читатель, берущий его книгу. То есть ничего.») в столичной лавке провинциальной книги, была и такая, Слуцкий случайно усмотрел похожий на шоколадку миниатюрку-сборничек «Белый лист», облизнулся, прочел вприсест, еще больше того удивился и напечатал в «Юности» коротусенькую, но в исключительной степени лест-

ную статейку о нем, знают многие решетовские читатели-почитатели. А вот состоял ли Б. А. в приемной комиссии Правления ССП, то есть повлиял ли еще и лично на вступление Алексея в Союз писателей, я не знаю.

Зато очень хорошо помню, как прикладывал непосредственно к этому делу руку еще один корифей раннепослевоенной российской поэзии, может быть не столь звонкий-гулкий-обронзовелый, но имевший очень большой внутрицеховой удельный вес, Марк Андреевич Соболев. Один из считанных наследных таки могикан (мудикан, — как подправлял Жженова при употреблении этого термина Астафьев) соцромантизма в его развитом, расширенном и продвинутом виде: его отец, шумный и шумевший в свое время Андрей Соболев, в двадцатых громко застрелившийся на московской бульварной скамейке, с одесской юности дружил с Эдуардом Багрицким, а Марк до войны, до ухода добровольцами — с сыном того знаменитого поэта Всеволодом, ушедшим на фронт с волною Коган-Майоров-Кульчицкий и тоже погибшим (и, соответственно, Марк коротко знаком был и с сердечною подружкой младшего Багрицкого Еленой Боннэр, что позднее сводило его время от времени и с А. Д. Сахаровым). В копилку того, что мир и действительно тесен, могу предложить: где-то в казахстанских лагерях судьба свела Нину Вадимовну Решетову-Павчинскую, мать Алексея, с матерью Всеволода Багрицкого. Что бы сие означало в гороскопе движений и переплетений человеческих млечных путей и туманностей, и обозначало ли чего, гадать не берусь. А было...) «Мне пришлось однажды, как председателю Союза писателей, хлопотать за товарища, сидевшего в тюрьме одесской Чека, которому грозил расстрел (хотя он был решительно ни в чем неповинен). Нужно было непременно добиться перевода его в Москву, где было легче его спасти. Для этого требовались какие-то подписи троих ответственных коммунистов. Две были найдены, для третьей мне указали на «комиссара» (всех тогда называли комиссарами) довольно свирепой репутации, из простых рабочих, который будто бы уважал литераторов. Я нашел к нему ход, и он пригласил меня прийти на квартиру в очень поздний час, почти ночью. Было очень противно, но я пошел. Квартира скромная, скорее бедная; «комиссар» в русской рубашке навыпуск, в кухне возится жена. Стол накрыт (хотя и без скатерти) для закуски, в центре бутылка водки. Комиссар явно доволен, что принимает

писателя. Прежде всего — выпить. Если бы он жил с тем шиком, как его высокопоставленные соратники, я бы попытался уклониться; но дело шло о жизни моего друга, ригоризм можно отбросить; притом скромность обстановки подкупала. Мы пили три часа отвратительный самогон; комиссар не интересовался, о ком идет речь; он рассказывал о себе, о том, как он уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образования и как теперь, после революции, все пойдет по-иному, всякий будет учиться и добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но сознания не утративший, резко сказал: «Ну, давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» и сунул ему лист, который он подмахнул с тщательным росчерком. Перейдя снова на «вы», он прибавил: «Это за то, что вы не гордый человек; а кого надо, мы не пощадим». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоценный документ. Была спасена жизнь писателя Андрея Соболя, впоследствии застрелившегося. Но по крайней мере, он сам решил свою судьбу». (Земляк же наш, М. А. Осоргин.)

Маркони Соболев, сын своего родителя, и сам состоял большим романтиком в жизни и злосчастником например на сцене, потому как после фронта он в актеры не вернулся, а в драматургии ему везло не больше, чем его же пермскому закадычному другу-приятелю Леве Давыдычеву: марконины «Романтики» только в Перми да еще в каком-то московском театральном захолустье поди-ка и прошли. В поэзии же он был советчиком, консультантом для тех, кто и сам все знает, еще и в сталинские года уже значился как бы негласным своего рода арбитром изящества по части поэтического мастерства, русской советских лет изящной словесности — была ведь такая, никуда не делась, и сейчас окончательно еще не повымерла, — наподобие Петрония времен Нерона. Для этого, видимо, надо иметь совершенный, прямо-таки профессиональный читательский вкус и, одновременно, абсолютный слух, чутье, понимание и знание в ремесле. «Решать я даже в детстве не мечтал задачи из житейского задачника, я книги с упоением читал, готовясь для карьеры неудачника», — Марк Соболев.

Но удачные его и удачливые читательские изыскания, а также изыски об изысканном изяществе — или изящной изысканности? — оставим уж в стороне. По неписаному статусу-статуту писательского честного сотоварищества его числили прежде всего неоспоримым судьей по части совестливости, честности и человеческого авторского достоинства.

Видимо, оно тоже далось не даром. У Лешеньки у Домнина его миленькая маленькая повестушка про таежную зверушку начинается фразою «Соболь знал, что такое гроза». Для тех в Перми, кто ее и его, то есть Марка, знал, она стала девизом, слоганом, как бы салютом этому мальчишу-кибальчишу. Так вот: Соболь знал, что такое гроза. «Все будет хорошо, к чему такие спешки? Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички пойдут по четвергам!» Это ходило полуподпольно. Еще даже не до объявления Хрущевым о культе Сталина, а до того как Эренбург пустил в ход понятие оттепели, до выхода под таким заголовком его повести в «Новом мире», то есть при жизни Горько Любимого да как ли не до «врачей-убийц». Ну да. Не Марк, а уже кто-то после его смерти, может быть Надюша Давыдычева? рассказывала мне, что Маркони (который о том, что он еврей, узнал даже не когда его еще юнцом прижопливали в 37-ом, и даже и не на фронте) очень встревожился началом широко объявленной родимыми Партией и Правительством кампанией борьбы с «безродными космополитами» и «западоклонниками» и, параллельно, — лысенковской с «вейсманистами-морганистами», в тайной своей цели и по масштабам охоты за вполне определенного рода ведьмами предельно антисемитской по существу. И он побежал пожаловаться-посоветоваться к Веронике Тушновой, очень почитаемой в то время и за свои стихи, и за характер, душу и образ мыслей, даже среди мужиков-фронтовиков, среди фрондеров особенно. Та его как уж могла убаюкивала: дескать, успокойся, все обойдется, не первый раз замужем, «и-и-и, милые! блокаду пережили — изобилие тоже переживем», все де будет зергут (еврейск. и немецк.) и окей-олрайт (англ. и американск.). Вернувшись домой, он и сочинил де те куплетики, окрестив их еврейскою колыбельной. Природный юморист, самоироник-самосардоник-самосарказматик — это наиболее свободный, самодостаточный и самозащищенный субъект, способный и не токмо на заступничество своим, но на колкие, подчас смертельно, выпады всяческим осаждающим-досаждающим супротивникам...

Ладно-ладно. Совсем не в его уж стиле превосходные степеня ему на плеча, а в бытовом обиходе он постоянно умел обозначаться, как можете понять хотя бы из написанного, заведомым кулемой. Кроме ласкательного местного обозначения эдакого милого незадачи-неумехи, слово это на Урале и в Си-

бири значит прежде всего капкан на соболя. Так вот: Соболя знал, что такое кулема...

А десяток лет позднее того как запомнил, понятия еще не имея об авторе, те зубоскальские побаски-попевки, мне посчастливилось стать его другом. Давно. Но я отлично помню как сие произошло. Мгновенно. Он приехал, несомненно заботами Давыдычева, в группе переводчиков стихов латышей с делегацией рижан на первый фестиваль, или как оно там тогда называлось, содружества пермяков с прибалтами. О том, что такое и кто такое Соболя, я к тому времени уже был наслышан, — и очень, потому как от Давыдычева же, но произошло все абсолютно обоюдоспонтанно. На одной из заседанок мы случайно оказались рядышком. В зале на тот момент было достаточное количество скушно-тошно. Марк мне шепнул:

— Слушай, ты же, не ошибаюсь, здешний? Где поблизости... Лучше уж от водки помереть чем от скуки.

Я его проводил. Только чокнулись за знакомство, он сходу предложил:

— Ты, слышал, благоволишь тутошным-то пиитам? Почитай что-нибудь.

Почитай по наитию, я, похоже, уже понимал что-то о его парусистом бурепросительском мятежном нутре, и память спонтанно моментально оттиснула катренчик Надюшки Гашевой — она тогда еще почти всерьез баловалась стишатами, — именно вот этот:

— Корабль да буря. Любовь да пуля. Дороги мужчин круты. Костер да поле, простор да воля! — кто, если не ты?

Тогда я впервые узнал одно из любимых, хотя бы в то время, марконовых оценочных словечек — непременно с указательным пальцем, приставленным к верхней губе:

— Точня-ак. А за что, собственно, они так вас любят?

И замкнуло. И до самых до смерти, Марковна...

Оказалось, Лешкины стихи уже и тогда были Марку отнюдь не внове, он, видимо, и прежде наслышался их от Левки, а со временем Решетов стал у Соболя одним из любимых, наизусть читаемых, застольных поэтов. (А сегодня вот Сеня Вакман, вспомнив Алексея, напомнил мне, что и у того было то же самое ходовое-любимое словечко — точняк. Лешка ли, из восхищения и по обаянию личности Марка, умудрился у него ненароком собезьянничать-слямзить, хотя и встречались-то

они всего раза два-три в жизни, не больше, просто совпаданка ли такая сошлася смешноватая, память ли моя где-то тута чтой-то наплутала-напутала, все едино ведь мило. Точняк...)

Про рецензию Слуцкого Марк к моменту приема Алексея в писатели тоже наверняка знал, но даже, кабы случись, он, всечиталец, как на притчу сам-то ее бы проморгал, ему о ней, без сомнения, рассказывал Давыдычев. И если даже Борис Абрамович в сем таинстве не участвовал, Соболю и заочная того поддержка тоже поди-ка сгодилась. Но совпадение их мнений дорого прежде всего потому, что составились они совершенно независимо друг от друга и без какого бы то ни было и чьего бы то ни было сиюминутного заинтересованного науськивания.

Еще к тому же в приемной комиссии, как и во всей их остальной жизни, существовала слаженная стойкая связка Соболя-Светлов, не посчитаться с которой было бы невозможно. Прежде всего потому, наверное, что многие, и не без основания, как школяры бритвы и заточки на случай потасовки, рахались их отточенных язычков. Маркони многие годы состоял при Михаиле Аркадьиче младшим другом (это что-то наподобие признания-назначения любимой женой — однако, хвала аллаху, без каких бы то ни было домогательств). Своей животворной, но с грустноватой ироничной горчинкою любознательностью к жизни и поэзии, видимою совпаданкою иных милых характеристик, остроумия и острословия прежде всего, они составляли завидный и очень действенный тандем.

Склонился над огурчиком соленным
изрядно захмелевший полубог
На этом свете перенаселенном
поэт непоправимо одинок.
[...] А мы шумим, смеемся, сводим счета —
он опоздал, замешкался, не спас.
И потому очередной остротой
он грустно отстраняется от нас.
Нет, постой — задержимся немножко.
Вот сейчас, не тратя лишних слов,
посошок мне выдаст на дорожку
Михаил Аркадьевич Светлов. —

это хоть и все что я на тот счет знаю-помню у Соболя, но и того хватит. И сам терновый веник записного острослова Марк, похоже, получил тоже от него же, наподобие наследного эстафет-

ного жезла. А остряги — они и есть самые сердяги, самые что ни на из лириков лирики и есть.

И я вот оболещаю себя параллелью, что и у нас с Марком стало что-то подобное, что на ту же должность, какую он занимал при Светлове, он меня приспособил у себя — в порядке рокировки. Как бы при себе как бы должность он мне такую как бы завещал. И пишу об этом здесь может и не совсем к месту, но с удовольствием, а то ведь может и не случиться другого-то повода. Я не без тщеславия ощущаю и иные всякие наши с ним параллели, неважные и невидимые ни для кого. Например, по Осоргину. По отцу Марк связан с ним и обязан ему по-видимому с года рожденья. Куда уж! Но и я наглею претендовать на некую причастность к миру мною почитаемого писателя-единоземца Михаила Андреевича Осоргина. Ну: априорный агностик любой официозной методы образования (я к тому же и удачливо в сем практиковавший, исключаемый из школы и выгнанный из двух универов) ...несостоявшийся юрист... утверждённый — хотя бы молвою — камер-юнкером и хроникером Ея Величества Камы... — и т. д. И: «Полмира я, во всяком случае, обошел; с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, обладающих тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Америки виноградными гроздьями сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировую жизнью. Их очень мало, таких людей»... (Между прочим, я-то к написанному полуабзацу не имею ровным счетом никакой относительности, зато та четвертушка, где речь зашла о редкостных первозданных лириках по душе, прямиком между прочим касается Марка Андреевича, и Осоргину, я полагаю, удовлетворительно бы было узнать, что прямой потомок спасаемого им от смерти друга, в то время вот только что проклянувшийся, подпадает именно под такую статью, почему я целиком эту выдержку и цитирую; из продолжения же, надеюсь, какая-то малая толика сойдет-ся и в мой адрес; а уж какая именно — судите вы). «...остальные проверяют север по компасу, время по карманным часам. Нравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечательного, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезно, чтобы не завязить ног

в тягучем тексте их логических построений, и трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника».

...Однако виделись мы с Маркони довольно-таки реденько. К концу жизни почаще: были у меня одно время надобности и возможности бывать в Москве. Свою последнюю книгу, по существу однотомник, он мне надписал эдак: «Роберту Белову, другу давнему, надежному, доброму — на память о встречах: редких, но метких, в Перми, Москве, далее везде — твой Марк Соболев. 11.8.89 г.». Может и есть тут тепереча лишку, — в части эпитетов, — да вот поди ж ты... Аванец, верно: нам оставалось еще его десять лет... А и без всякого спросу я у него для себя навсегда прикарманил такую вот афоризму, меня лично правда своею меткостью балующую редко: «Любовь к жизни — чувство взаимное». Но она дала мне толчок выдумать свою, сука буду, собственную — дружба понятие взаимное, неразделенной дружбы не бывает. Даже если это Муму с Герасимом. Или Король со своим изуверышем Блохою. Или Маугли с Акилой, Каа, Багирой. Или Тема с Жучкой.

Или, без жутких разных и изукрашенных метафор, а просто с житейского зрения не равносоответствующая — он же со Светловым. Или дружба бывалых фронтовиков со мной, кривоножкой — Граевский, Астафьев, Маркони сам. Если с Витькой было восемь лет — каких! — разницы, то с ним аж уж четырнадцать. С 37-м для него годом в них, с пожизненной в военном билете начертанной штабным грамотеем-писаришкой надписью — «тяжелое контузии»...

...Так что сразу трое самых что ни на есть, так сказать, квалифицированных лириков — альпинистов, верхолазов тех горных высот вахтили у подножья Лехиногорского восхожденья. К Марку Лешка всю жизнь относился с великою нежностью, Слуцкого заочно, они кажется так и не встретились, чрезвычайно почитал, а Светлова, потом уж потом, очень, на мой взгляд, драгоценно для того отблагодарил прочувствованным душевным стихотворением — кабы тот про то знал. «Женщина у Светлова», называется:

Не опрометчивому слову,
А сокровенному верна,
Явилась женщина к Светлову
На Новодевичье. Одна.

Друзьям звонить — пустое дело:
Один спешит в концертный зал,
Другого рукопись заела,
А третий вовсе «завязал».
Тогда она сказала: — Ну их! —
В карманах мелочь наскребла
И своему поэту в муфте
Бутылку водки принесла.
И вот сидят они за белой.
Он рассказал про Страшный суд.
Она ему «Гренаду» спела,
Как колыбельную поют.
Но, раздвигая обелиски,
Пришел и рявкнул старшина:
— Здесь нету временной прописки!
Здесь постоянная нужна!
Она ушла, поникли плечи.
Но от Спортивной до Филей
Никто за этот зимний вечер
Не встретил женщины милей.

Добрейший некорыстный человек был Лешенька Решетов, наподобие самого Михаила Аркадьевича. Он даже мента, ломящегося по кладбищу словно ДТ по целине, снабдил собственным острословием... Стих посвящен таинственной Л. К. Воистину таинственной. Томуся Катаева (Решетова), когда составляла лешкин посмертный трехтомник и соответственно готовила комментарии к нему, тоже озадачивалась тою загадкой, позвонила Гашевой, мне на случай, остальным предположительно наслышанным пермским друзьям, но так же безрезультатно. По телефону же я попытался что-либо разузнать у Танюши, вдовицы Соболя, да и она ничего сказать не могла, помнила какую-то Нину, Марусю-буфетчицу, но не Л. К. Так что оно осталось маленькой тайною их троих: ее, М. А. и — Лешки. Пусть самая поверхностная, навскидку, но все ж аргументация-иллюстрация в пользу блистательного, суперлиричного тезиса Александра Кушнера: «Загадочна ли жизнь еще? — Загадочна еще!»

...Тут же, сразу по заседанию комиссии Марк отбил телеграмму — Давыдычеву на Союз (и для меня тоже, поскольку знал, как я за Лешку болею): *«Прочел два стихотворения принят единогласно»*.

Все обрачивалось хорошо. В те годы и везде, как и предугадывал Маркони, все будто бы складывалось хорошо.

Все хорошо. Все хорошо!
Из Мавзолея Сталин изгнан.
В Гослитиздате Бунин издан.
Показан людям Пикассо.
Разрешено: цветам — цвести.
Запрещено: ругаться матом.
...Все это может привести
к весьма печальным результатам...

(каюсь, запамятовал, который же из двух легальных почти что антисоветских комиссаров-эмиссаров, уж ли не Межиров? но ежели Слуцкий, то и совсем хорошо. Правда, в 65-ом, к которому и вышел первый Лехин «Белый лист», попавший на глаз — на глас Б. А., и в котором Решетов был принят в писатели, оттеплившего кое-что Хруща уже потурили-согнали с Мавзолея, но что-то чуть-чуть еще было хорошо. (И где? — в концерте Леночки Камбуровой на днях, которой наконец-то додумался-удосужился подарить сборник лехиных стихов и с которой увиделись может последний раз: когда еще теперь нам опять выпадет ее гастроль, мне поехать в Москву делать там нечего, а разгонять тоску не на что, я от Лены впервые услышал философские стихи Пабло Неруды «О жизни и смерти» строкою «Все хорошо — все плохо» — вот, поди уж под занавес, а Лешки уж два с половиной годочка как нет).

Но, в общем, еще хотя бы кое-что в то время было казалось кое-как на посредственно полухорошо, а хотя бы мемориальный «мрамор литенантов — фанерный монумент» (вот это уж точно Слуцкий) Лешке за его выдающие боевые мирные-всемирные творческие подвиги уже и тогда был обеспечен.

И квартиру на переезд из Березников им выделили если не роскошную, то вполне-вполне трехкомнатную: полногабаритную, без всяких там совмещенок, с балконом на Кирова из лехиной комнатки и лоджией во двор из большой, в элитном доме, в самом что ни на есть центре города. Оно конечно — все оно зола, если провериться.

Хлеба — мало. Комнаты — мало.
Даже обеда с квартирой — мало.
Надо, чтоб было куда пойти,
Надо, чтоб было с кем стесняться,

С кем на семейной карточке сняться,
Кому телеграмму отбить в пути.
Надо не мало. Надо — много.
Плохо, если живем неплохо.
Давайте будем жить блестяще.
Логика хлеба и воды,
Логика беды и еды
Все настойчивее, все чаще
Вытесняется логикой счастья.
Наша измученная земля
Заработала у вечности
Чтоб счастье отсчитывалось от бесконечности,
А не от абсолютного нуля.

(опять Слуцкий). Наш же с Лешкой совмещенный, совместно выработанный и отработанный взгляд (совместно воспринимайте буквально, потому как проявился с первых же встреч и донашивался во множестве обстоятельств и переделок, в их числе и тех, которые послужили поводом для посвящения мне стиха, который здесь привожу) был даже и того сверхоптимистичнее. Вот тот стих:

Грустный Бернс

Р. Белову.

Был когда-то я парень не промах, друзья,
И какая беда ни приди —
И себя, и других успокаивал я:
Наихудшее — все впереди.
Покосился мой дом, развалилась семья,
Сердце мышью скребется в груди,
Но еще не развенчана правда моя:
Наихудшее — все впереди.
Дождь устало танцует на кучах гнилья,
Ни луча, хоть глаза прогляди.
Ничего, не грустите, родные края,
Наихудшее — все впереди...

Таковыми же словами: «Смутно на сердце: наихудшее — все впереди. Но... «Претерпевший же до конца спасется» Алексей потом уж потом, в 80-ых даже иль 90-ых заканчивал свои «Записки из «желтого дома»; назвать пообиходнее — просто «дурдомом», где и были в первые же день-ночь написаны, а на следующий подарены мне стихи, постеснялся, или же постеснялись издатели.

Но тогда, когда они написались (1973-й), невзирая ни на что, все наилучшее, а поди-ка даже и наилучшее, потому как молоды мы были, хотя б относительно, было еще впереди. Включая и развеселый-расчудесный-замудесный случай, теперь никому уж неизвестный, кроме меня да — представьте себе! — взаправдашных физиков и до каковского я всячески-ми окольными и околичными дорогами добираюсь.

Я был не то чтобы противником, но единственным, в Перми, если не считать самого виновника, уверенным несторонником его переезда сюда, сколь это ни удивительно — для меня, — поскольку антипермично. Мне казалось, что он только теряет. Прежде всего хоть как-то да отлаженный десятилетиями быт, уверенность в том, что всегда найдутся умелые подпорщики в случае чего — в городе, где почти что все тебя знают и любят. Рассчитывать в Перми на такое же вселюбие как и в родимых Березниках представлялось мне несостоятельным и наивным. И практика, судьба показали, что я, пожалуй, к сожалению оказался прав: когда, случилось, жизнь — причем без какой бы то ни было его вины — в очередной раз загнала Алексея в угол, здесь у нас ему помочь не сумел никто. Ни администрация, никакие общественные организации, включая Союз писателей, ни мы, личные товарищи. И он вынужден был уехать из Перми. Столь же малоосновательным казалось и упование на так называемую *духовную* среду: я понимал, что его окружением непременно станут прежде всего не только и не столько братья по духу, как духи по братине, прилипалы, охочие до примазывания к знаменитостям всех мастей, графоманы особенно. Да и сама-то проникнутая горним духом среда заливала-квасила отнюдь не квасом.

У сторонников переезда были, разумеется, резоны тоже, может и более благоразумные, вразумительные, доказательные и убедительные. Например чисто домашние, семейные Нины Вадимовны, мамы, соображения: Лельке, внучке, дочери лешкиного рано погибшего брата, живущей в их семье, в Перми проще и лучше будет обустраиваться с учебой, работой и прочим; сын и так переработал нужный для пенсии подземный стаж, и достало уж ему ежедневно лазить в преисподнюю и шуровать там кайлом и лопатой по-над самыми способными смертельно завлечь лентами транспортеров с калийными глыбами и камешником. (И было. Знаменитый лешкин указующий перст — словно бы подточенный указательный палец со

сплюснутым, стиснутым с боков ногтем, как бы куда-то нацеленный, в анамнезе появился на свете божием так: Лешка попытался выколупнуть камушек, из-за которого заело, оставило полотно, и его чуть не затянуло всего. Не помню, сам ли он палец вырвал, а кажись, отшвырнула одна из внимательных, заботливых бригадных бабенок, которые его очень привечали и везде опекали. Только вот, из рассказов Алексея, сами-то они, в основном из-за несуразной своей советского образца особенно по морозам «дамской» спецухи-одежи, не раз плошали. Случалось — насмерть... Заточенный перст Алексея, «божьего человека», обычно указывал куда-то вверх; «Колодцы надо рыть в небо!» — Володенька Воробьев-Капризка, по пьяни отменный афорист-юморист, с которым Леха шибко сошелся, когда подсоветывовал ему тексты, стилистику взрослой трагикомической книжки того про войну, уже под конец воробьевской жизни)...

А пенсионный возраст у Лешки еще не сейчас, а в Березниках заделья себе никакого он не найдет, кроме разве что какой нито дохлой пьяной газетчины, а в Перми уж Селянкин что-нибудь да придумает (и нашел — факт). И так далее.

Но едва ли не опаснее ежесменного рубания кайлом по заединам между движущейся лентой и рамой транспортера стало с некоторых пор само одно проживание в Березниках. Помните и судите сами. Лирики, оне ведь чо? — оне лиричеству-ют, физики-разумники, разумеется, физдят, а химичат-то химики. Родимым Партии и Правительству тута как раз приспичило двигать именно опять химию, догонять и перегонять — откуда, куда и из чего что? — Америку на тот раз теперь и по этому делу, и они, конечно, пошли иным эксклюзивным путем. Путь, правда, не совсем сильно новый, протопанный кабы уж не сотнями миллионов невольных каликов переходжих по этапам большого да шолкóвого пути от Соловков через знаменитый Беломорканал и, одновременно, нашенский «красновшерский»-березниковский же УСЛОН, а то еще такая хитровумная аббревиатура-абракадабра — У-СЛОН с довеском 2, то ли Управление Соловецких Лагерея Особого Назначения, или что-то там Урало-Соловецких, Отделения, а тогда надо бы уж абракадабрить УО СЛОН (причем куда более повсеместно известное сокращение УО — Умственно Отсталые), и того способного безропотно сколь хошь ишачить слона выкладывали на клумбе перед вертухайской управой те же безответно и без

отказно-беззаветно вкалывавшие зэки, — до Колымы и потом снова к нам, скажем в Кучино (Пермь-36). Наша пенитенциарная, т. е. наказаний (от лат. poenitentiarius, исправительный, а то еще покаянный; у нас, очевидно, окаянный) система имела единственным действительным своим смыслом спешествовать властям предержажим существовать на халяву, за счет илотского, кабального вкалывания тех миллионов. Ст. 24-два УК РСФСР стала прямо предусматривать род наказания «лишением свободы с направлением на стройки народного хозяйства», и прежде всего химврома. Сопромантик-ясновидец Г. К. Паустовский своим провидением не напрасно лешкин любимый город, никогда не могший спать спокойно (тогда почти что сплошь зэковских, лагерных, ссыльных населенцев, за исключением нанятых иностранных спецов да на показуху какой ни на и будь бригады землекопов-нацменов, вроде Ардуанова, и то уж поди-ка с прослойкой первых раскулаченных — не знал-не видел?) еще при его зарождении окрестил «Республикой Химии», которую время и острословы-злыхатели-антисоветчики потом на законном основании перекрасили в Республику Химиков. В законе. Химиками повсеместно стали называть всех мантуливших сроки по той 24-2 статье. Несметное число их тогда вырастили за сколько-то лет по стране, а в Березниках особенно. Так что даже и достаточно гарантированной возможности попасть в обвал или быть затянутым и размятым лентою транспортера в руднике стала альтернативная вероятность прежде того ни за што ни про што нажать по башке в каждую пору на каком уж хошь месте. «Большая химия идет, большая химия идет», вспомнил Лешка из своей литкружковской юности и даже записал потом, под конец жизни рефрен графоманского полугимна, потому как уж был оборудован какой-то музыкой, состихоплетствованного к тому же ментом. Химия-химия, вся — синяя... Но, с кем попало живя, все равно хоть раз да взвоешь в тую же струю: жить-то надо, вот и Леха сам как-то оскоромился: *«Ни звездный металл для космических трасс, ни всходы весенних полей не могут, не могут, не могут без нас, без наших калийных солей!»* Нужда тож заставляла ж калачики-то ись, писать что ни попада...

Но всякие чужие резоны резонами, мое особое мнение мнением, а, раз уж факт состоялся, хотя бы помочь таскать-ворочить подушки-одежки плоски-книжки и прочую рухлядь я

был обязан. И вот я с запасцем, однако и эдак вальяжно, ни валко ни торопко подваливаю к месту действия, пару фургонов вижу, хозяев покуда — нет. Спрашиваю, это ли монатки Решетовых — и тут же подвергаюсь жесточайшему матерному прессингу обоих водил. Они с самого с ранья заждались грузчиков-разгрузчиков и справедливо догадались, что я тут хоть как-то причастен. А я в свою очередь догадался, — видно, кто-то там из главных закоперщиков, обрешив «глобальные проблемы» переезда, упустил пустяк — таскать-то кому. Это очень устойчивый всеобщий русско-советский, совковский символ веры: ежеле я желанием Божиим осуществляю Его Ведущую, Вещую-Вящую Волю и Промысел в положении эдакого Принципала, — с неруководящею работой мне уж и не справиться, пуцай ее ею озабочиваются, кому уж она, сердешная, отпущена. Или, от того же производные, варианты: сборище артельщиков-помощников было опрометчиво назначено не на то время; или то шоферня расстаралась-перестаралась и прикатили ране раннего, а теперь по совковской же гегемонской манере просто-напросто катают-валяют ваньку, куражатся, качают права.

Потому втолковывать заведенным машинам, что «я тут не я, и она не моя, и я, мол, давно кастрат», и вытаскивать за шкворник кого из тех кто напортачил, пуцай и отдувается-расхлебывает, я не стал: бесполезно и бессмысленно, зря только время терять. Да, но мне-то самому что ж было делать? Схилить-слинять как-нибудь куда-нибудь мне уже не сумеет. Да и не желаю я. Да я и мысль такую для себя считаю допустить западло: оставить, что ли, подставить наверняка и без того доведенных до состояния полуистерики любимых мною людей? Искать свободный телефон и засаживаться обзванивать всех по всему городу пофамильно-поштучно? Шукать-сшибать алкашей-шабашников — где их столько враз и на чьи какие шиши? Официальный же существовавший тогда сервис оставался конечно же не дешевле и ненавязчивее... И так далее, так в том же роде.

Телефон-то я уж, конечно, нашелся, сыскал, куды уж мы нонче все без него. Но главное — нашелся куда звонить.

Довольно многие в городе, но все же по разным обстоятельствам только особо избранные люди знали, что существует такая, в чем-то может и ординарная, но экстра, прежде всего, чээсвычайная, спасательная-спасительная пожарно-похоронная команда. Кодовое название, сиречь кликуха — Кафедра

Общей Физики ППИ, политеха. Мне ее негласная и не подлежащая оглашению строго конфиденциальная деятельность оказалась чрезвычайно доверительно известна прежде всего потому, что эту тайною конторою о ту пору заведовал мой ближайший, самый первый по Перми друг Славка Белецкий. По такой причине причастие-причащение к их святотатским таинствам часом разрешалось и мне грешному. На мое и решетовское (Нины Вадимовны конечно прежде всего) счастье-несчастье день был рабочий, время перед самыми занятиями, Белецкий мгновенно властью своею кого только смог освободил-подменил-отменил, кафедра была в каких-то трех кварталах от квартиры, и в оное одно мановение-мгновение ока, как нам показалось, будто черти из театрального люка или же артисты из преисподней, пред очами предстала та отъявленная чрезвычайно спасительная бригада-ух.

И — понеслось!

Всю ту опуею мне не упомнить. Это был бесшабашный шантажный-авантажный шабаш безбакшишных нештатных шабашников. Причем биндюжных степеней не меньших, чем физико-ученые степени у них же: отличалась эта дружная дружина-полудюжина дюже недюжинными данными в части бытовых перевозок, всяческих ремонтных работ, с оклейки обоями и наладки компьютеров (тогда ЭВМ) начиная и бери аж до самих унитазов, огорода- и ямокопательства (а боле всего поди-ка, кафедра не зря считается общеинститутской, да еще ее тогдашний зав Слава Белецкий одновременно был замом председателя профкома, которые очень отличались именно послесмертною заботою о человеках, — в смысле перевозки-погрузки-выгрузки упокойников. Поскольку это же широко было известно как мое всеми признанное и неоспоримое хобби, это нас и особенно сближало). Перед недальним Страшным судом положи руку на сердце, могу покаяться, что в жизни своей мало что смыслил что в физии, что в лирии, и потому в том никому не судья. Но в ранее названных высоких ремеслах они асами были высочайшего класса (Я знаю, что Венера — дело рук: ремесленник, я знаю ремесло! — Марина Цветаева. Тоже улавливаю и невеликую невольную вольную тавтологию «асы высшего класса»: мое инкассо из кассы ассонансов — вампука, вам пук, вам пук цветов..., та же абракадабра, прошу уж простить). Вот беглый абрис, контур, набросок, этюд, штрихи кое-кого из подельников:

Безотказный и испытанный во всех подобных делах Степа Морев. Мужик в должной степени степенный, из крестьян, может — из поморов. Вечно ему доверяют всякие артельные сборы-поборы, взносы разные, то партийные, то охоцкие, то и те и другие вместе. А поди-ка что и сейчас? Все тама оне похоже еще и сейчас комуняки, заразы, окно у них выходит на Октябрьскую площадь... Научная гордость кафедры, ее единственный, как считали, проявлявший углубленные способности в теории Юра Напарьин (фронтовик-подранок Отечественной, стрелок-радист со штурмовика; еле-еле дождался шестидесяти, далеко послал кормилицу-физику, Пермь, оставил квартиру, семью, махнул в Питер, пошел примаком — влазень, животник нас таких еще на Руси величали — в дом давней своей любви, поступил на трехгодичные — платные! с пенсии-стипендии-то — курсы живописи — до того она была как бы его придурью, самодеятельностью — и обратно животник? — при Академии Художеств, окончил, стал выставляться, даже и покупаться — это в обиженносписивом и тайносвоекорыстном Санкт-Петербурге-то! — и даже теперь, ухвативши глаукому и кажется вообще утерявши, как я же, один глаз, продолжает красить картинки, как они все это называют, выставляться, даже и продаваться... Время от времени его персональные выставки организует у себя родимый альмаматерный политех, давнечко, правда что, не было. Один из немногих коллег, к кому с неизменным почтением относится Женя Широков, непременно встречаются, когда Юра приезжает)... Утонченный, как проволока, Володя Зайцев, изобретатель и соиздатель непрременной и досе незаменяемой на кафедральных заседаниях-сборах «зайцевки». (Тяжело болел, недавно помер). Единственный, кто и зримо выглядел могутным мужиком — Володя Покровский. Но куда могутнее значился в приборналаживании...

Кого запаматовал — извиняйте.

Незадолго перед тем та же симпатяшка-компажка-ватажка в том же примерно составе плюс еще зав параллельной, правобережной физкафедры, поскольку значился зятем, мужем сестры Белецкого, и злоумышленником затеи, Владик Бородин, плюс кое-кто из славкиных дружков сверх политеха, сбацила акт-действие-акцию, занимательную на зрение и завзятых-заядлых массовиков-затейников. В цирковом том аттракционе исполнителей, помнится, было поболее, чем появились у Лехи, но костяк тот же, левобережный, нашенький:

«а те, кто идет, всегда должны держаться левой стороны...», — левой не по-зюгановски, а по-окуджавински. Впрочем, правобережный Владик Бородин был откровенным, почти что открытым, потому что не шибко и прикрывался, антисоветчиком. Кроме антиагитпропа, на тот раз он, видимо, затеял прямую диверсию, задавшись целью вывести из строя всю самую стратегическую в СССР Транссибирскую железнодорожную магистраль непосредственно с начала, в предместном ее наезде на Уральские горы самым что ни на есть шахидским способом. (Слова такого ни рядовые боевики, ни даже и застрельщики этой вылазки и не слышали, у самых продвинутых на уме могли быть разве что камикадзе, бросавшиеся еще на Халхин-Голе с минами на бамбуковых шестах под советские танки, только в нашем случае кидаться следовало под летящие в комуно паровозы. Но сегодня шахиды понятнее. Что касемо диверсионных наклонностей, то они у семейства, промежду прочим, родовые-клановые: по слухам, родителей Белецких прищучивали еще в 37-ом, по счастью неудачно, за попытку взрыва Пермского оперного.) Моджахеду Бородину удалось, с помощью внедрившегося в одну из управ железной дороги жидомасона, несомненного и нескрываемого, Мишки Басса (нашего, между прочим, с Белецким неразлей-вода — оторви-дабрось друга-приятеля, еще одного из особо стойкой четверки, у меня с 52-го года, первого моего в Перми, у остальных и того прежде; Яшка Лемкин только в том художестве вроде бы залицедействованным не был) приобрести для фундамента и чего-то там дачной баньки, как работнику железной дороги по цене всего 20 коп. за шт. энное колич. спис. после кап. ремонта ж.д. полотна отбывших положенный срок шпал. Уложены они были в копешки-штабелешки вдоль левой колеи, коли ехать во Владивосток, возле какой-то станцеюшки, Фермы? Мулянки? а дачка располагалась за правой, все ремонтные так называемые железнодорожные «окна» кончились, движение сделалось особенно интенсивным из-за поднакопившихся составов за перерывы, и нам подфартила эдакая непыльная натуга-напряженка переволакивать при помощи добытых Басом по благу же специальных для таких переносок железнодорожных прихваток-клещей, через сколько-то путей во всю ивановскую трубящей станции когда бегом, — интервалы между поездами были, уж люблю попародокситься! максимально мизерными, — когда ползком (под стоящими составами) в высушенном-то естестве стокилограммовые стоеросовые,

только вверхпузомлежачие (кому уж по нраву — кверху жо-пою) дурищи, как днища дредноутов океанскими ракушами, обросшие путейным шлаком-балластом и черт-те чем намокшие-напитанные. Хрен с ней, с очевидной опасностью для драгоценной жизни, но ведь с риском крупноформатной катастрофы в масштабах родимой родины, в случае если какой дикошарый водило-мудило об нас бы споткнулся бы. Ну кто еще на Руси столь вольготно-весело состав на скаку остановит, в вонючую баньку войдет или добровольно вызовется таскать что рельсы вдоль и поперек путей, что бревна по Кремлю, кроме хилого-дохлого доходяги-интеллигента, хоть физика хоть лирика.

Но все-то у меня сплошные отступления во все стороны, самого-то того события не описывающие. Между тем и мне тоже известна вот расхожая восточная мудрость, такая на моеый лад: сколько ни поминай халву, какую ни возноси хвалу, слаще от этого ни у кого, кроме халвимого, не стает. Сколь ни тужились вона все ведущие лингвисты страны, со Сталина считая, утвердить главным лириком агитатора-горлана-главаря В. В. Маяковского, народ, который языкотворец, во глубине своих сибирских руд не знал в натуре и знать не хотел, пожалуй что, никого, окромя забулдыги-Сереги, Пушкина по анекдотам, да на перемском Урале и уральском уровне сперва Володьки Радкевича, а чуть после, но побольше — вот, Лешки Решетова (да еще мало кому нынче и ведомого пермяка Афони Матросова — но зато прямо во чреве матерного фольклора) — никаких вам поэтов. И кабы Тот Который вам Посильнее Фауста Гете назвал бы «был и остается великим пролетарским поэтом» Пастернака, как поначалу хотел, пролетарьи те самые ни того ни другого как не понимали-не принимали, так и досе ровно свињи в апельсинах, разве что моднее-мандючее надыся был уважаемый Владим Владимыч, а ноне Пастернак.

О Решетове и кафедралы знали, может, столько же, но, авось-небось, по землячеству что и слышали, хотя бы и от меня. Впрочем кое-какие навыки якшания с маститыми лириками кафедра имела еще до того. Белецкий как-то помог организовать дельце, про какое Давыдычев сказал, будто Бог нам всем его зачтет, — выезд за город, на дачу к Левке уже терявшей возможность нормально двигаться, но так и не ведавшей нашей уральской природы писательницы О. А. Волконской

(«Фиалки и волки», «Пермская рябинка»; из тех, из тех! вернувшаяся эмигрантка, княгиня — по мужу). Ноги у нее отекали, а раскачались мы почему-то заметно к осени, и круизилась она у нас, сердешная, в войлочных домашних тапочках... Транспортные дела, поскольку ни Союз писателей в Перми, ни кафедра таких возможностей не имели, ни Белецкий, ни даже и Морев автовладельцами еще тогда не были, а среди писбратии, помнится, не водилось ни одного водилы, одни только, в рифму сказать, рифмачи, обеспечил свою «Волгою» (которая теперь у него лет уж двадцать на приколе: отважный и решительный он мужик — проще бы уж саму реку на мертвый якорь поставить) Радинька Мустафин, скульптор, а по основной своей штатной работе очень хороший человек... Потом еще подмогнули Астафьеву побыть на кладбище, когда он приезжал в Пермь и специально чтобы поклониться близким могилкам, но тогда уже вот Белецкий с Моревым, со своими колесами, но это, правда, было уже значительно после решетовской разгрузки, а то кажется и после его уезда из Перми. Да все равно уж давненько, а Степа Морев, сам-то чалдон сибирский, хрестьянский, только западный, тюменский, и посеясчас взახлеб вспоминает иногда прилично лиричные витичкины матючки...

А я вот потому видимо все юлю и волюню с живописанием самого-то главного эпизода в том эпохальном событии в этом своем опусе, что у меня-то, похоже, просто за сроком давности выветрились из памяти всякие разные частности-подробности, а, может, каких-то там особо смачных вовсе и не было. Утварь-скарб шмотки-манатки носили да носили. Даже круглого катать не надо было, только плоское таскать, и никакой тебе движимой и недвижимой движимости, включая и очередного сменного-постоянного пса-Милорда. Самая громоздкая рухлядь разве что Лелькина пианина, но это как повсеместно у всех интеллигентствующих, при их-то всегда возрастающем благосостоянии...

Да вот же и вспомнилась одна хотя б деталюшка. Именно та штуковина-херовина и осталась последней в кузове, и только Славка с кем-то возле нее. Помня об этом, я, затащив в квартиру какую-то вещьину то ли вещьину, тут же порскнул вниз, на подхват. И офонарел-остолбенел-обомлел. Тот, самый внушительный по габариту, весу и цене, пожиток-нажиток уже преспойно, как чо и есть, жиждился на земле. Как уж они —

вдвоем — умудрились принять-опустить с платформы на высоте собственных их чушек эдакую, Славкино словечко, халязину, об этом вы уж расспросите самого Белецкого. Физики ведь все же оне, именно в их если не власти, то толковище всякие там гравитации, статики-динамики, силы тяжести и пр. Славка — по образованию нефтегеолог, по последней перед уходом во степенные остепененные институтские научники полевой своей должности главный геофизик специализированной гравирадиометрической партии, где «грави» сокращенное от гравиметрическая, остальное и козе понятно, и самым главным прибором у него была не какая там нибуду автомастанция с самописцем и даже не стародавний теодолит, а вага при топоре, лопате и персональной ручной лебедке.

Потом, разумеется, состоялось полагающееся братание. Таким образом, пермские физики и еще преумножили себе и без того неоспоримого почету в подобных самых физических действиях; если придерживаться мнения о правильности и обоснованности выгона самого лирического, на Урале по крайней мере, поэта из его березниковского загона на вольные пермские пастбища, то и оно упоительно (именно) свершилось: стал наш Алексей Леонидович не токмо лирик, но и пермяк в законе. Шумная когда-то, многолюдная, многослойная и многословная славная знаменитая дискуссия приобрела, стало быть, действительную восхитительную восклицательную точку. Хоть и не шибко жирную, на бегу как все ж, но вполне как достойную и окончательную. Все наши волки оказались сыты, а овцы целы. Когда выпадает какая-нибудь тусовка бывалых кафедралов, ту эпопею-опупею поминают почти непременно. Не так давно — по случаю гостеванья в Перми Юры Напарьина. По случаю его восьмидесятилетия. К разговору пришлось, опять напомнилась мне одна из незабвенных деталюшек юркиной фронтальной биографии, — 1/1000000000... непревзойденной военной биографии страны: штурмовики, на которых Юре довелось воевать (забыл вот точно тип, Ил-2 или Ил-10?), помимо прочих, отличались еще и мало кому кроме самих летчиков да конструктора известным качеством — для соблюдения оптимального веса воздухоплавательной машины бронированной была только кабина пилота (так и в советской справочной литературе: «Жизненные части самолета — штурмовика, Р. Б. — как правило защищаются броней»); согласно тако-

му обязательному «как правило» исключению боевой соратник командира машины сражался голеньким; но, голь на выдумки хитра, проявляя русскую солдатскую смекалку, вторые люди экипажа свои кабины по их конфигурации выкладывали подходящими досками; хотя бы отчасти помогало, взяли некоторые фашистские пули...

По свойственному знающим свою цену вполне самостоятельным людям полному безыскусному отсутствию горлохватства и навязчивости ни одному из них в мысль не пришло набиваться Алексею в круг знакомцев. И проходной этот эпизод в его биографии значим, на мой взгляд, не тем, кто и как Решетову помогал, а для кого, и в совершенно случайно выпавший момент, он благодаря своему хорошо известному дарованию оказывался человеком небезразличным и притягательным настолько, что и достаточно серьезные и основательные люди шли, чего-то мало уловимого, той самой что ли лирицизма ради? на совершенно необязательные для них «не солидные» поступки.

За одним они в свой очередной раз опровергли чей-то расхожий довольно ядовитый парадокс в адрес прежде всего интеллигенции: «никогда не обращайтесь за помощью к хорошим людям, хорошие люди ничем помочь не могут»; в пустяках, напрямую не зависимых от общего уклада жизни общества, даже хорошие интеллигенты бывают кое на что способны.

И, будем считать, на этом и закончилась, в нашем отдельно взятом регионе, знаменитая когда-то, шумливая и шумная, дискуссия. Да и везде, наверное, так же, с теми же выводами? — вспомните: навскидку хотя бы — «Девять дней одного года» с Баталовым-Смоктуновским... чету ученых-бардов Татьяну и Сергея Никитиных... вплоть до академика Сахарова с Еленой Боннэр. Буквально на днях вот, поскольку только сейчас читаю, у Жорки Буркова в «Хронике сердца», в его опубликованных вдовой дневниках вычитал парадокс, взыскующий-взывающий приеденить гуманитариев с технарями: «Гамлет — гений. Он — физик, требующий новой лирики». Жора и отродясь значился признанным философом, и в молодые годы учился-учился рассудком страсти побеждать, да так, похоже, и не успел научиться... Не помню, знаком ли был с ним Леха. Скорее всего да, по крайней мере, когда Жорка в Березниках работал: не столь велик городок, чтобы две таких спинозы-зано-

зы как-то да и не соприкоснулись. Во всяком случае, Тамара и березниковский пожизненный лехин друг Юрка Марков говорят, относился Решетов к Буркову расположено очень. Из еще мною здесь названных Жорку наверняка знал Белецкий, еще по университету...

Оно хорошо бы, конечно, когда-нибудь научиться наконец без ощутимых потерь наперед рассчитывать, а по ходу дела выверять гармонию алгеброй, только алгебра завсегда все же зашибала гармонию, а физика (физиология особенно) лирику, а, в свою очередь же, обе гуманитарки — дамы чрезвычайно чувственные да уросливые...

Ну а 28 апреля, в месяц рождения Алексея Решетова, но уже по кое-какому все же устоявшемуся теплу, перед самым выдавшимся в 2005 году довольно редкостным одновременным революционно-религиозным празднеством Пасхи и Первояма, на углу дома номер 22-б по 25 Октября, где расположена та «нехорошая квартира», водружена была мемориальная доска. Мнится мне, что это первая в городе, излаженная не за подачи прижимистых на культуру властей, молодечествующих с жиру каких-нибудь лихоимцев да еще непосильными потугами обязанных общественных организаций, но на взносы понимающих спонсоров, а прежде всего пожертвованиями самого населения, любящих поэзию и памятливых людей, порой прямо копеечными, сколь посильно например студенту, — по спискам, а то и просто в коробку. Инициативу проявили, первый взнос сделали и организовали ее коллективное осуществление вплоть до результата двое ученых, философ из политеха Наби Балаев и директор известного, очень деятельного и работоспособного фонда «Юртин» доктор-филолог, профессор, завкафедрой журналистики классического университета Владимир Абашев, оба тоже ж не такие уж записные лирики, тем более — крутоватенькие богатенькие, но люди по достоинству ценящие культуру.

Мнится мне также по привычной пуганой мнительности, что такое хорошее начинание может общественности выйти и боком: предрержащие властя в один удачный момент хитроумно обрадовано решат, что вы, мол, там собирайте на ваших Решетовых-Пастернаков, а мы уж свои государственные (налоговые) средства будем пускать на нашего Борчанинова (в ко-

жанке, с пашкой-маузером в руке, на лихом коне), Мерзлякова или там Бориса Михайлова — Кл. Рождественскую — для вящей-пущей государственности-патриотичности, а также и поддержания штанов всю-то жизнь перебивавшегося из кулька в рогожку и с кваса на водку какого-нибудь батона Церетели. Но, может, уж напрасно я всего так-то боюсь...

Вообще, впрочем, облаял я тут по привычке администрацию, а может на этот раз и зря: слышал, что недостающую, последнюю мзду в копилку насылался-сулился вносить областной департамент культуры. Правда, в натуре осуществили этот вклад сотрудники (конечно, большим числом сотрудницы) Сбербанка, но протокол о намерениях как бы существовал. А более и знаменательнее того — на этот счет «позволили себе немного лишнего», в сборе средств приняли личное сильное участие, будто как рядовые труженики и почитатели, и. о. губернатора сотоварищи, что, наверное, очень и правильно, нормально, кабы сделалось порядком вещей.

Впрочем, и все это поди-ка не главное. Даже и сама доска. Как заканчивал один из своих стихов прописною для пишущих истиной М. А. Соболев, «Камень мертв — поэзия жива».

Воистину видимо так — жива и живуча, однако, поэзия. И даже рукописи иногда не горят, а вдруг да и возникают. Утром в день открытия мемориального знака Диме Ризову, пермскому писательскому председателю и одному из Лехиных друзей, позвонила Томуся Решетова и в порядке компенсации за свой неприезд по болезни сообщила, что незадолго перед тем совершенно неожиданно обнаружила 28 страниц «заначенного» Алексеем текста даже ей совершенно неизвестных стихов, более 60!

Одно из стихотворений, к случаю:

Что сказать об этой моде старой,
Караул кричать или ура,
Если, как в двадцатых комиссары,
В девяностых ходят фрайера?
Люди, люди, не играйте в жмурки,
Не играйте больше в поддавки —
Нынче в моде кожаные куртки,
Завтра в моде будут «воронки».

А еще лучше — оптимистичнее, да? — вот это:

Не задержусь на этом свете —
Чужую жизнь не заживу,
Хоть солнцу радуюсь, как дети,
И не могу топтать траву.
Я был, я жил, души не чая
Во всем, что было мне дано,
Почти совсем не замечая,
Как непроглядно, как темно.



ТАКИЕ ТИХИЕ ЩЕМЯЩИЕ СЛОВА

Решетов читал тихо, зал умолк, и голос его глуховатый, замирающий на концах строчек, стал слышен и в коридоре, где тоже теснился народ.

Кофточка застенчивого цвета,
Под косынкой — золотая рожь...
Женщина, тиха, как бабье лето,
Протянула запотевший ковш.
Ничего она мне не сказала,
Просто поспешила напоить...
Петь устала, говорить устала,
Только нежной не устала быть.

Тихие, такие тихие щемящие слова...

Каким-то чудом ко мне попал его первый сборник стоимостью в шесть копеек, с облаками и ласточками на суперобложке — «Неж-ность» назывался он. И в названии этом другое слышалось — «Жен-ость», и это ухватил Борис Слуцкий в своей коротенькой сопроводилровке к ранним стихам безвестного провинциального поэта...

Сразу запомнились эти восемь строчек — верный признак их естественности и силы. Непонятно, как все то, что бессловесно жило во мне, преобразилось в эти простые слова. Так же легко легло — «Когда прощально кружат журавли...», «Убитым хочется дышать...», «Ищите без вести пропавших...» Ведь это как раз про моего отца, сгинувшего в сорок первом под Москвой —

И если всюду скажут: — Нету! —
Найдите их в себе самих.

...Именно друг мой Валера Бакшуттов, царство ему небесное, который придумал название для поэтического клуба —

«Лукоморье», и познакомил меня с Надей Гашевой, Робой Беловым и — с Лешей Решетовым. Он так и остался для меня — Лешей. Я послал ему свой первый и единственный сборник стихов «Лик Земли».

Потом я увидел Лешу в один из его не столь частых приездов из Березников. Он был под хмельком. С кем-то здоровался по ручкам, кого-то обнимал, но очень выборочно. Меня он обнял!

Запись от 20 октября 1967 года.

«— Здравствуй, Сеня.

— Ты помнишь меня?

— Зовут тебя Сеня, а фамилию твою не помню. Помню незабвенные строчки — «Уже идет по рекам красноперка, и груша дикая по берегам цветет».

— Скажи, действительно есть подземная трава? Без света, без хлорофилла.

— Вот реалисты хреновы, не верят, суки!

— Ты книжку мою получил?

— Спасибо. Надпись хорошая. Я ее листал и буду листать, пока не свиздят.»

Комментарий: «Судя по блокнотной записи, поразившее меня стихотворение Решетова

Опущу усталую главу:
Поздно для хорошего поэта
Я узрел подземную траву
И потоки косвенного света...

надобно датировать не 1969, как указано в сборниках, а временем не позднее 1967 года».

В застолье говорил Решетов еще тише, чем с трибуны, но слова угадывались, потому что жадно слушались. Тлеющая сигарета (по-моему, он курил «Приму») дрожала в его руке, зажатая двумя пальцами — большим и указательным, и казалось, что дрожит она в такт биению сердца.

— Если есть дар, с этим рождаются. Это единственно точный разговор, потому что творчество, как и наука, познание — понятие философское. Что такое философия — вы знаете. Эта такая же загадка, как и вся жизнь. Если люди поймут смысл — все полетит к чертовой матери. Творчество — это взгляд и передача взгляда. Но что внутри этого — никто не знает. Не надо ничего ожидать определенного. Поэт работает в одиночестве.

С ним говорить или поздно, или рано. Ему невозможно помочь в процессе работы. Подсознание невозможно улучшить никакими разговорами. Мы дожили до предельного ханжества, притворства. Мы не понимаем синтаксиса Пастернака. Безграмотность современного чувства — невозможность пойти в банк. Может быть, потому, что кого-то приучили к нелепой мысли, что поэт — семи пядей во лбу. У Винокурова есть стихотворение — «мне писалось лучше в поездах — в тамбуре набитой электрички...», и так далее, «сладко вдруг под вздохом защемило...», и так далее. Для поэта самое важное — остаться не в детстве, инфантильности, а в отрочестве. Человек своим творчеством себя уравнивает. Богатство души — нет! Душа обязана трудиться, и все такое — нет! Ведь человек борется сам с собой. Это, с одной стороны, омрачает картину, а с другой — дает какой-то шанс. Ведь искусство возникает там, где плохо. Так было у Ксении Некрасовой. А с хорошей жизни оно не возникает. Оно возникает ради хорошей жизни, а не с хорошей жизни. Леонид Леонов сказал: все произведения — загубленные замыслы. А нам и Бог велел. Мне лично критические нравоучения не помогают. Спасибо, что остановили меня...

Как-то в Москве я купил экземпляров двадцать решетовской молодогвардейской «Лирики» и раздарил их друзьям, знакомым и полужнакомым. Люди ходили с этим сборником, прижатым к груди и зачитывали всех — «Откуда это чудо? Кто такой этот Алексей Решетов?» Не думаю, что кого-то можно было поставить с ним рядом...

Сейчас-то понимаешь, какое это счастье было — ловить лешины новые строчки — от Нади Гашевой, от Володи Михайлюка.

Решетов говорил о том, что творчество — это взгляд и передача взгляда. Погрузимся в его строки и посмотрим его очами:

В лесу озябла клюквинка,
Меж кочек лед блестит,
И пар идет из клювика,
Когда снегирь свистит.

Жить хочется! Радость жизни, радость узнавания:

Пока не в тягость дальняя дорожка,
Пока вкусна печеная картошка
С еще сырым колесиком внутри...

Как точно, как мудро сказано:

Нет, ты любовью не зови
То, что на самом деле было
Простым предчувствием любви...

А эти слова как на граните выбиты:

Поэты погибают не от пуль,
Поэтов сокрушают не наветы,
Сам по себе мучителен их путь,
Самих себя не берегут поэты...

Какие тайны открываются перед нами:

И не видать в окне Россию,
Всю погруженную во мглу,
И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу...

И ведь этого Сверчка надо величать с большой буквы, потому что это прозвище самого Пушкина в «Зеленой лампе», и так хорошо знать, что настоящая зеленая лампа для кружка Всеволожского, оказывается, сделана у нас в Перми, на Пожвинском заводе...

Решетов свой рабочий стаж зарабатывал на производстве, в шахте, отсюда — золотое содержание его строк. Ведь работа под землей сродни ночному полету над землей Сент-Экзюпери, и не только в профессионализме тут дело...

Как черный ворон кружит уголь,
И мне понятно, отчего
Хозяйка ищет пятый уголок,
Заждавшись мужа своего.....

Мне всегда казалось, что в «Балладе о волшебном слове» он и ко мне обращается:

Счастливо, геолог!
Счастливо, солдат!
Счастливых и вам
возвращений назад!

И лешина надпись на книге — самый большой подарок для меня: «Сене, милому мне человеку на всю жизнь».

Запись от 20 марта 1983 года. Обсуждение стихов Геры Митягина, полжизни протрубившего у ротора буровой, где «нет железки меньше пуда».

«Решетов: Герман обладает одним недостатком: он не стереотипен. Он не идет в русле гладкого письма. Рукопись среди потока единична. Ксению Некрасову били за отсутствие всего — таланта, ритма. У него есть единичные поделки под общий поток. Но править надо жестоко. Червь залезает только в хорошее яблоко.

Смородинов: Не было ни Гомера, ни Софокла до Митягина...

Решетов: ...Ни Смородинова.

Смородинов: Суньте его редактору, и Митягин исчезнет. Этим стихам в понедельник исполнится сто лет.

Решетов: Ну и что? Аввакум — был полным консерватором по отношению к общественному мнению.»

Эти записи плохо, но передают обаяние и мудрость Решетова. Надя Гашева точно заметила, что у него дар равен уму.

Вспоминается такая сценка. Коля Бурашников говорит мне:

— Помоги попасть на работу в нефтеразведку!

— В учкомбинате тебя могут выучить на помбура, и ты сможешь работать на скважине.

— Да не хочу я учиться, мне бы разнорабочим, подзаработать маленько. На сколько меня могут взять?

Я не знал, что сказать. И тут Леша говорит:

— На сколько? Да на всю жизнь... А там видно будет.

И я понял, что для него это очень важный разговор. Тут вот в чем дело. Однажды партийная газета «Звезда» напечатала большую статью Астафьева «Под одной крышей» о сборнике «22 поэта», где многим досталось — и Валере Бакшутову, и Белле Зиф, и мне тоже: «У Семена Ваксмана в стихах — и «Мелодия Гершвина», и «Издательство «Артия», и «Хромой Магеллан» со шхуной своей «Тринидад», и «Улисс и Итака», и «С перстами пурпурными Эос». Как у дядюшки Якова — товару всякого, вот только поэзии кот наплакал». Правда, компания у меня была хорошая — «Два стихотворения Алексея Решетова — «Пора замаливать стихи» и «Ах, Пушкин, Пушкин...» — пожалуй, могут соперничать с произведениями тех авторов, что из кожи лезут, лишь бы выглядеть «оригинальными».

Одно из этих стихотворений — о трагической судьбе художника — Леша продолжал печатать:

Пора замаливать стихи,
Стихи замаливать пора мне,
Встав за кузнечные мехи
Или обтесывая камни.
Откуда знать, в конце концов,
Быть может, я ценою муки
И отыскал свое лицо,
Но потерял при этом руки.

А второе стихотворение Решетов больше не перепечатывал:

Ах, Пушкин, Пушкин,
 милый Пушкин,
Чего пустой бульвар стеречь?
Приди ко мне, погрейся пуншем —
Гранитный плащ не греет плеч...

Через много лет уважаемый Виктор Петрович полностью изменил мнение о стихотворении Решетова.

Роберт Белов говорил мне: «У Лешки-то брюхо крепкое, а вы с Валеркой с пузырями пошли на дно».

30 марта 1987 года, юбилейный вечер Решетова.

Леша сидел подняв острые плечи и в то же время сторбившись, не поднимая глаз, задраенный в глухой черный свитер. Он был в ту пору похож на артиста Мягкова из «Иронии судьбы».

В адресе издательства написали: «Леша, мы тебя любим!»

Говорили о рябиновом сквере в березниковском микрорайоне.

Вот что Леша прочитал вначале:

...перстни драгоценных женщин...
...золотая заспанная кошка...
...мышиный горошек...
...птичка-синичка...
...в ожерелье сереньких прищепок...

— Ничего, если я буду читать сидя? Мне хочется почитать про Пушкина. Ведь нет у русских людей большего богатства, чем Пушкин.

...но Пушкин в глазах не двоится...
...и снова Пушкин умирал...

Из зала просили почитать еще:

— Я и не вспомню без шпаргалки.

— Подскажем!

Дима Ризов:

— Леша, слушал твои стихи в тысячный раз и думал, а что же такое народная поэзия. Симонов из Киплинга идет, Кузнецов Юрий из древней Руси. Не так уж они и народны, эти стихи белой кости. Народные стихи — это утверждение народной этики. Трагедия тридцать седьмого года, барачная грязь, эпоха всеобщего дефицита — все это навалилось на семью Решетова, чудо, что они не сломались. Каждый день то кайло, то лопату, то лопату держу, то кайло. Лешины стихи — народные. Один крупный писатель, это факт его биографии, наколотся на Решетове, на «Пора замаливать стихи». Я допускаю мысль, что случится катастрофа и останется только томик стихов Решетова. И знаете, что будет? Их будут петь!

Володя Михайлюк:

— Леша не пишет стихи, а роняет. Если ему самому стихотворение не нравится — все пропало! Я спас полтора десятка стихотворений. Он инопланетянскую «Невыдуманную поэму» выбросил с ее потрясающим финалом — «И все вздыхал, что вот уже и снег, А у него не копана картошка». — «Почему выбросил?» — «У нее середины нет». — «Так напиши, закончи поэму!» — «Ее нет». Она есть! Я подобрал.

Как «Дельфины» были написаны? Я тогда работал проходчиком вертикальных стволов. Ужинали как-то за бутылкой: «Максимищ, вот что я про дельфинов прочитал... какой позор, если они пропадут». Через час он будит меня. Читает стихи в моем сонном присутствии. Мне посвятил. А я ему говорю: «Уже почти до половины мы понимаем вашу речь». Надо сказать, что Леша — большой змей, если верить Тютчеву, который сказал, что поэзия — змеиной точности расчет.

Потом артисты читали стихи Решетова. Он поднял голову и переводил почти безумный взор с одного лица на другое.

Вот что он сказал в конце вечера:

— Юбилей — не очень веселая картина, когда человек оказывается у разбитого корыта. Вот. Я помню вашу ко мне симпатию. Сколько прелестных поэтов было в девятнадцатом веке и в других веках, а вы сделали ко мне снисхождение.

Как получается чудо? Как-то был я в компании с Лешей, Надей и Робой, и говорили мы о том, как происходит чудо, которое называется «Отговорила роща золотая...», «Галчон-

ком глянет Рождество...», «Золотистого меда струя из бутылки текла...», лешино — «Скачет воробышек серый, как поплавок из коры...»

Я сказал: «Давайте возьмем пива, запишем наши разговоры и сделаем книгу!»

Все зависело от Лешы, и он сказал: «Я согласен».

Несколько раз мы встречались: надо бы взять пива, поговорить, пока Леша не сказал: «Ничего у нас не получится».

Может быть, все дело в том, что чудо на то и чудо, что оно необъяснимо. После этого я десять лет писал книгу, которую назвал «Я стол накрыл на шестерых», и чудо было в том, что люди сидели вместе за одним столом: «Назначь мне свиданье на этом свете...»

Чудо преображения: мудрая кукушка в подаренных часах прокуковала:

И вот уже мы встали,
И вот уже ушли
В неведомые дали
Без неба и земли.

А вот еще чудо, оно называется: «Портреты тотчас оживают...». «Дворик после войны» — будто продолжение знаменитого «Письма с фронта», и кажется, что дымок от папиросы на лактионовской картине смешан с «горьким запахом щепок» и все утопает в сладостном воздухе весны сорок пятого...

Какое наслаждение — просто произносить, восторгаясь и хвастаясь:

На старых деревьях дуплистых,
Нахохлясь, сидят воробьи,
Как будто опавшие листья
Вернулись на ветки свои.

И, как ребенок, мир невзрачный
Ежеминутно хвастал мне
То красной бабочкой чердачной,
То серой ящеркой на пне.

А давно ли у божьей коровки
Я доверчиво хлеба просил?

Вы не знаете, что это значит,
Когда воеет, как баба, пила
И на маленькой брошенной даче
Мыши нюхают ножки стола.

В огороде же баско!
Раздербанишь стручок —
Ожерельем из сказки
Засияет горох...

Хочу, чтоб моя невеселая чаша
Была бы куда тяжелее, чем ваша.

Какая смелость и чистота:

И вот мы выходим под снег на балкон
Нагие — чтоб вновь удивиться...

Покуда я тетрадь мараю,
Совсем осыпалась ветла
И тучка, розовая с краю,
Уже не полностью бела...

Это очень по-японски написано!
Есенин тоже умел по-японски:

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Будто бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

А как перекликается есенинская «Песнь о собаке» с решетовской «Матерью жеребенка» (заметьте — не «Кобыла», а — «Мать жеребенка»)! А как Леша написал о собаке, едущей в трамвае:

Имя свое позабыла она,
Черную шерсть замела седина,
Ест иногда, что Господь подает.
Мечется, ищет, надеется, ждет.

Надеется! Ждет! А слова «верит» — нет, оно спрятано, потому что нет в жизни хэппи-энда ни для людей, ни для зверей, потому что «исключено сплошное счастье, исключена сплошная мгла»:

Так славься та великая печаль,
Которая на лице человека
Стирает безмятежности печать
И мужеству предшествует от века.

Над погибшим Сергеем Есениным начертали — «Великий национальный поэт» — а он был поэтом для всей Земли. Таков же и Алексей Решетов:

Поэт рождается скитальцем:
Весь мир — его родимый дом.

Он увидел всю Землю и пожалел ее:

От вечной заботы, от вечной тоски
Ее полюса — как седые виски.

Кто-то из великих сказал: «Пророки и большие поэты обходят большие города». Так вот, Решетов — великий поэт из глубины России. Дневник некоего Муханова: «Встал поздно. Пришел Пушкин, долго просидел у меня. Добрый малый, но часто весьма». Пушкин — и «часто весьма»!

Как мало мы удивлялись тому, что Решетов жил рядом с нами на Земле — в Березниках, Екатеринбурге и какое-то время совсем рядом — в Перми. Здесь он числился в Союзе писателей, нет, не консультантом — Литконсулом его звали. Однажды на Сибирской я увидел, как он шел вверх по улице мимо дома Дягилева, гениально свободно шел, погруженный в свои мысли, в своем гениальном беретике, и так хотелось подойти к нему, и страшно было помешать ему, и шел я за ним, сколько смог.

Решетов гениален просто потому, что все время поют в душе его строчки.

О! «Рябиновый сад»! «Цыганка»! «Иволга!»:

Фитиу-лиу! —
И в мире светло, —
Иволга знает свое ремесло!

Скольких людей спасла эта иволга!

Недалеко от пермской тюрьги,
Где, надеюсь, не сиживал ты,
В прикладбищенском тихом овраге
Расцвели голубые цветы...

— Это ведь цикорий, — сказал Алексею Дима Ризов.

— Ну конечно...

В этом стихотворении Решетову нужны были просто голубые цветы возле пермской тюрьги. В другом случае важно было уточнить:

И траурниц с ивы-бредины
Медок не пускает домой...

А почему так — угадывается, и объяснять ничего не нужно.

Мой город тих и невелик,
Без шумных улиц с гаражами,
И облаков прощальный клик
Прекрасно слышат горожане.

Облаков или журавлей? Или журавли за облаками?

Как нам без солнышка туго
Переносить сивера.
Как же его медовухой
Напиваться с утра?

Напиваться или упиваться?

— Да-да-да, — соглашался Решетов и — оставлял все как есть.

Надя Гашева раскрыла мне как-то тайнопись вот этих решетовских строк:

Но волшебная книга природы
Остается со мною пока —
Ее степь, ее вешние воды,
Ее листья травы — до листка.

Чудо в том, что «Степь» — чеховская, «Вешние воды» — тургеневские, а «Листья травы» принадлежат Уолту Уитмену. Но это так незаметно. Так не виден кристалл чистого кварца в чистой воде — кристалл чистой воды. Такова «скрытая теплота патриотизма» Алексея Решетова. От «лжепатриотов», поющих «с великим трезвоном фальшивые песни», его отличает именно это — капитан-тушинская «скрытая теплота».

И Пушкин — постоянно:

Динь-динь-динь! — зазвонит колокольчик...
И снова Пушкин умирал,
И Натали шептала: Саша...

Правда, она рыдала: Пушкин, Пушкин... По фамилии его звала...

О, как бы жили мы без Даля?
Кого бы Пушкин попросил
Поднять его, лишаясь сил?

Пушкин:

Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум...

Решетов:

А я тащусь, иное существо,
За шелестом подола твоего...

В пушкинских бумагах последнего года нашли такие строчки:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...

Решетов:

Не знаю, как в заоблачной стране,
А на земле пощады нету мне.

Есть одно письмо в «Евгении Онегине» — без почтового штемпеля:

На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е...

Но Решетов сумел: заглянул в дом снаружи глазами пушкинской метели:

И тяжело стоять перед окном
И выводить слова любви на нем,
Чтоб только вьюга дальнего села
Их шиворот-навыворот прочла.

О, Алексей Решетов знал себе цену:

Я только тень при божественном свете,
Я только мышка на бриге твоём,
Но поминать нас грядущего дети
Будут, хоть изредка, вместе, вдвоем!

Он постоянно обращался к Мандельштаму. Несколько раз я слышал от него: «Только детские книги читать, только детские книги писать...» Году в семидесятом он пытался написать сказку. Потом увидел мультфильм «Королевские зайцы»: «Увели у меня сказку. Ничего не подделаешь — право первого». Потом все же написал несколько монологов и назвал эту большую для него работу — «Голоса ночных незнакомцев». По слову Володи Михайлюка, Решетов не терпел на белом листе никаких исправлений — бумага комкалась, и на стол ложился новый лист. Может быть, поэтому у него редки большие вещи.

Решетов и с Борисом Леонидовичем на равных. «Вальдшнеп» продолжает (в восьми строках!) «Рослого стрелка», рожденного тягостными всеволодо-вильвенскими воспоминаниями, и нам доступен этот разговор, теперь уже на воздушных путях. Леша сам был вальдшнепом-подранком, и ему дано было в самом прямом смысле «погружаться в неизвестность и прятать в ней свои шаги».

И живопись, входящая в дверь — мандельштамовская «поролока искусства и краски пространства веселого»:

Ты только что встал на постой,
Прилег на казенной постели.
Приходит Саврасов седой,
Грачи, говорит, прилетели.

На тумбочке у постели тети Любы, старой московской художницы, иллюстратора детских книжек, в самые последние ее дни — два тома — Андерсена и Решетова.

— Помнишь, Сеня,

О Боже, как на клюквенном болоте...

— Да-да-да, —

лягушки бедные поют!

— Как ты не понимаешь! Без-за-щит-ные! Лягушки беззащитные поют!

Я рассказал об этом Решетову, но он слушал меня совершенно безучастно.

Есенин, Соколов, Решетов, Рубцов — лирики чистой воды, их стихи, по слову Тынянова о Есенине, — письма, полученные читателем по почте, их строки аукаются.

Решетов:

Золотую девичью ресницу
Я нашел между книжных страниц...
Я смеялся и ведать не ведал,
Что вот-вот, точно сказочный змей,
Никого не жалеющий ветер
Прилетит за подругой моей.

Соколов:

И чья-то настольная книга
Должна трепетать на столе,
Как будто в предчувствии мига,
Что все это канет во мгле.

Но Решетов — единственный, потому что ему меньше всего нужно было слов, он дрожит над каждым словом, он дорожит словом, и трепещет бедное сердце...

Восемь строчек, четыре строки...

Скоро снега седенькие лягут,
Волки пьют вино из волчьих ягод,
И стоят осинки на ветру,
Красные,
Как гибель на миру.

Действительно, слово «красные» стоит отдельно, как осинка на юру. Не знаю, он ли так построил строфу или Надя Гашева — великий его редактор.

Александрю Грину хватило трех строк:

Утро всегда обещает.
После долготерпения дня
Вечер грустит и прощает...

Четвертая строка — зачем?

Леша несколько раз говорил, что когда-нибудь научится писать стихотворения из одной строки. Он беспредельно лаконичен, он каждым словом дорожит, и слово его светится.

И я целовываю слезы
С ее ланит, с дрожащих век.

Переделок стихов в книгах Решетова почти что и нету. В «Нежности» было:

Слышишь — раздвигается валежник?
Чуешь — встал, ко всякому готов,
Маленький, решительный подснежник —
Политрук травинок и цветов.

Есть чудо взгляда, но нет чуда его передачи. Оно произошло через тридцать с лишним лет в «Иной речи»:

Раздвигается валежник,
И, размером с ноготок,
Появляется подснежник,
Первый истинный цветок.
Расцветет потом и роза,
И гвоздика, и репей,
Но все это будет проза.
А поэзия — теперь.

После «Нежности» Леша говорил, что он всегда будет писать одну книгу — «Белый лист». Так оно и получилось, хотя названия были разные. И вот что получается — стол, а на столе — «Белый лист», «Чаша», «Зернышки спелых яблок», а за окном — «Жду осени», «Рябиновый сад»:

Лежу на больничной постели,
Мне снится рябиновый сад.
Листочки уже облетели,
А красные гроздья — висят.
И мать говорит мне:
Мой мальчик,
Запомни, когда я уйду,
Что жизнь наша горче и ярче,
Чем ягоды в этом саду.

Может быть, в Перми устроят такой сад за Камой (это Володя Михайлюк придумал), и водитель автобуса объявит: «Следующая остановка — «Рябиновый сад»...

Потом названия сборников составят другой ряд: «Станция Жизнь», «Иная речь», «Не плачьте обо мне» и, наконец, «Темные светлы» — вся жизнь и вся любовь, и вся смерть, вот такой сюжет...

Жду осени...
Я осень читаю, как повесть...
Я с природы осенней
Серых глаз не свожу...
Грубеют шелковые травы,
Вот-вот зашумит листопад...
Заколочены дачи.
Облетели леса...
Журавли собирают пожитки.
Небо в трещинах, как потолок...
Эти тихие речки под тонкой слюдой,
Это пламя осин при клубящейся мгле,
Этот стог на лугу, как с нехитрой едою
Чугунок на шершавом крестьянском столе...

Он угадал время своего ухода:

Опадают последние листья.
Облака чуть повыше земли.
Нынче ночью, когда я молился,
Пролетели на юг журавли.
Доживу ли до их возвращенья?..

В «Чаше» уже начинается «Иная речь» — в посвящении брату:

Когда же я тебе о новостях
Поведаю не письменно, а устно?

...Только сорные травы упрямо
Поднялись на могилке родной.
И прошу я, как маленький: — Мама,
Приходи поскорее за мной.

В книге «Станция Жизнь» сказано: «Смерть есть жизнь...»
Бродяга пытается обустроить не жизнь свою, а смерть —
предстоящее путешествие в небеса: Наде —

Хочу, чтоб только ты глаза мои закрыла,
Когда пробьют часы, когда блеснет коса...

И в «Заповеди» все-все расписал — «Вот что сделать будет
надо...»

Я не знаю, как там меня встретят.
Но проводят меня хорошо.

И все-таки:

Я к смерти еще не готов.

Это — разговор с Осипом Эмильевичем.

Мне бедная земля была как небеса...

У Мандельштама было:

Но люблю эту бедную землю...

Это постоянная решетовская тема — земля и небо: «На ды-
мок из русской печки опирается оно...», «Мой серый взор стре-
мится в синеву...» Как преображаются у него слова:

Я летел в небесах,
я не чуял земли...

Птицы — вот его защита:

Иволга знает свое ремесло...

Я ведь знаю, что птичка синичка
Защитит меня синим крылом.

«Темные светлы» написаны уже слабеющим пером. В стихах
Решетова — вся его жизнь.

Друзья соберутся меня помянуть,
А мне, невидимке, и любо взглянуть!

«Невидимка» — слово из словаря Бори Гашева.
Скрывать ему нечего. Поэтому в одном сборнике:

Горите, флаги красные, горите!

и

Мы волки, мы серая масть.
Мы воем в глубоком овраге.
Повсюду советская власть
Развесила красные флаги.

И еще:

Ты веришь в Бога?
Я пытаюсь верить...

Что мне делать? Я не верил в Бога...

И печалюсь... И верую
Во Иисуса Христа.

Виктор Астафьев велел раскрыть конверт после его смерти,
и в нем было: «Мне нечего сказать вам на прощанье».

А Леша так сказал:

Собрать бы последние силы,
Склониться над белым листом
И так написать о России...

Я слышал, что перед смертью Леша открыл глаза: «Маму
видел и бабушку...» и улыбнулся.

Леша, сказки так начинаются — «жили-были...» В этих
словах, именно по-русски, — «жили-были» — тайна, ее нет в
других языках. Скажем, по-английски: «There were once».
Рифма есть, а тайны нет...

Не надо бы отчаиваться,
Но так оно выходит —
Хорошее — случается,
Плохое — происходит.

И не поймешь — взаправду ли
Однажды жили-были,
А между слов запрятали
Еще одно — *любили...*

СОБЕСЕДНИК СЕРДЦА

Алеша Решетов окликнул нас впервые давно, на перевале прошлого века, который он потом назвал высокосным. Окликнул негромко, но мы сразу слышали. Мне было в ту пору 19 лет, с Алешей мы друг друга не знали. Шестидесятые годы только начинались, и поколению еще не присвоили их имя. Не знаю, как другие шестидесятники, а я тогда не успела понять, какого поколения мы люди, что за история там, за нами, тем более — там, перед нами. Но Алеша окликнул нас, и как-то сразу историческая даль, совсем еще не далекая, стала проясняться.

...И умещались двести хлебных граммов
На сводке с фронта в двадцать строгих строк...

Сердце дрогнуло. Это же про нас. Это мы с братом, маленькие, посреди военной зимы в городок Березники, в очереди за хлебом. А отец на фронте. А черный репродуктор-тарелка громыхает маршами.

Алеша Решетов окликал меня всю жизнь, и каждый раз тревожно и благодарно я слушала его голос: и в те благословенные дни, когда мы встречались, сначала редко, потом все чаще — ведь мы подружились. И через расстояния, когда приходили только стихи, а порой письма. Несколько десятилетий, пока он был с нами на земле. В день, когда его отпевали в Екатеринбургe. И теперь — снова и снова.

Нежность, как и прежде, звучит в его голосе. Она подарена всем читателям, ну а с друзьями он бывал нежен без всяких стихов. Впрочем, не только нежен, бывал и насмешлив, и едок, и труден. Но менее всего я стану говорить об этом: дружба, как и любовь, чувство потаенное. А здесь речь о поэте, который, по счастью, был еще и моим другом. И собеседником сердца.

Таков уж оказался его природный дар: стихи сразу ложились в память, но именно потому, что сначала вздрагивало

сердце. Удивительно было читать в те молодые наши годы простую, часто горькую, и н у ю р е ч ь Решетова:

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем
И не забыл, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать...

Это ведь он о себе, — узнаю я после. Это погиб его любимый старший брат. Страшная и неизбывная беда. Это ведь он обо всех, — понимаю я. О своем горе, о твоём. О своем брате, о любом брате. О своем отце, о миллионах отцов, не вернувшихся к родным семьям с войны, расстрелянных по тюрьмам, погибшим в лагерях ГУЛАГа...

Как точно, как печально окликал меня Алеша:

Мы с тобою живем по соседству
И почти двойники по судьбе.
Но тюремная азбука сердца
Моего — непонятна тебе...

...Тюремная азбука сердца. Он знал ее с младенчества, с года рождения.

Когда отца в тридцать седьмом,
А вслед за ним и мать забрали...
Отец мой стал полярною землей...
Ищите без вести пропавших...
Не женское дело сидеть в лагерях...
А в небе серый гусь-салага
Летит, отстав от косяка,
Куда-то в сторону ГУЛАГа...

Это просто надо себе представить и понять: мальчик, выросший на голодном пайке беды, войны, среди кромешного быта, тотальной лжи, правового беспредела, никогда не видевший расстрелянного отца и вынужденный молчать о нем... Они же все, вся семья, под особым надзором, мать вернулась из лагеря, и бабушка через полстраны привезла в место ссылки двух мальчиков...

— Когда я увидел маму, я был поражен — какая она красивая! — говорил Леша.

И это после лагеря, бараков в Казахстанской степи... Нина Вадимовна сохранила свою красоту до дня смерти. Она и Ольга Александровна (баба Оля) сохранили не только семью — вы-

сокую духовность. А мальчик Алеша оказался поэтом, он чувствовал острее других, больше, сильнее. Дело вовсе не в том, что он все понял сразу, в юности. Во все нет, мы с Лешей не раз говорили об этом. Но поэту знание дается как-то иначе. «Вертикальная звездная даль» говорит с его душой, надо лишь слушать, надо, по возможности точно, не отступая, не уступая, передать потом потаенный огонь, принятый в душу. Алеша не отступал, не уступал. Он, как и все мы, рос на барабанной, по большей части лживой, советской поэзии 40-х и 50-х. Правда, была классика прошлых веков, чья-то память хранила и новую речь писателей и поэтов, находившихся под запретом. Существовала и ная музыка, и ная живопись — искусство все-таки вечно. И Алеша догадался на берегу своей дороги дальней, как ему придется жить и писать.

Однажды в день его рождения, 3 апреля, мы говорили об этом за праздничным столом в Перми. Мама Алеши была еще жива, и на столе стояла любимая Лешина еда, простая и вкусная, и сам он сидел в голубой новой рубашечке, подстриженный, принаряженный, даже и веселый.

— Давай сравним, — предложила я. И прочитала.

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила...

(Пушкин, «Муза»)

Я, как волк, появился в апреле
В этом яростном мире большом.
Мне авдотка играл на свирели.
Я лежал на земле нагишом...

(Решетов)

...Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой...

(Пушкин, «Царское Село»)

Скучно было в бараке:
Жили, еле дыша.
Лишь при помощи браги
Оживала душа.
И тогда уж весенней
Становилась зима.

И явился Есенин
И Шульженко сама!..

(Решетов, «Колокольный глагол»)

...Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

(Пушкин, «Была пора...»)

...Я с детства помню слезы ранних вдов,
Заиндевший громкоговоритель
И снег в морщинах сбившихся платков...

(Решетов, «Память»)

В жизни Алеша не случилось веселости и покоя царско-сельских садов, вместо «станец гордых лебедей» он видел, как «друг друга лобзуют лебеда на ковре». Все было другое, вся жизнь в России. Все, кроме грозного времени, грозных судеб и пути поэта.

Алеша, видимо, отродясь знал это. Потому и звучит через все его творчество, во всех книгах имя: Пушкин.

И не видать в окне Россию,
Всю погруженную во мглу,
И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу.
И льются нянюшкины песни,
Как будто слезы по щеке,
И драгоценных женщин перстни
Горят на пушкинской руке.
И на одной из стен лачужки
В глухом неведомом краю
Тень стихотворца тенью кружки
Пьет участь горькую свою.

Путь был обозначен и принят. Началась тайна Решетова, которые многие пытались разгадать, и я в том числе, но так и не разгадали. «Сверчок» — прозвище юного Пушкина среди арзамасцев. Решетов пишет это слово со строчной буквы. Он словно прячет (да и не прячет!) знание и мысль, он надеется на читателя, доверяя ему, а сам стремится достичь неслыханной простоты, то есть самого сложного в поэзии.

Тогда, за именинным столом, где мы говорили о Пушкине, о временах, о сверчке, Леша глянул на меня своими серо-голубыми глазами лемура, усмехнулся:

— Молоток! Продолжай копать.

Это вовсе не означало, что Алеша радовался сравнению с Пушкиным. Если бы он так меня понял, он бы, по обыкновению, сказал:

— Дурен вкус, матушка.

Но он понял меня правильно. Мы ведь говорили о неслыханных переменах и временах. Каюсь, «копать» я не продолжила, хотя порой и приставала к Леше со своим восхищением. Например, как он легко и естественно вплетал в стихи поговорки, пословицы: «Я в России живу не на птичьих правах». Или: «Потому что упрямо хватался за соломинку с крыши родной».

В ответ он опять усмехался:

— Это сделано на приеме. А прием не должен быть виден. Чтобы без белых ниток.

Алеша до того старался скрыть «белые нитки» и даже мастерство свое, что ни сразу и поймешь, как перевернул он мир, чтобы показать, «до чего же мы счастливы были! — п е л и розы, ц в е л и соловьи». Не сразу и догадаешься, какие имена и пространства спрятаны в простых словах о волшебной книге природы: «Ее степь, ее вешние воды, ее листья травы — до листка». Не помню уж, с какого прочтения имена эти выплыли для меня из глубины «простой» строки: Чехов, Тургенев, Уитмен. Мир глазами мальчика, первая любовь девушки, новые ритмы далекой страны.

— Если бы я знал, как это делается, я бы объяснил, — говорил Леша мне. — Но я не знаю.

И еще говорил:

— Есть строчки, как личное клеймо. Просто «Буря мглою небо кроет». Или «Белеет парус одинокий». И все. Но таких мало.

Я вспомнила беседу Чехова с Буниным:

— Лермонтовский «Парус» стоит всего Брюсова и Урениуса — сказал однажды Чехов.

— Какого Урениуса?

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса. Вот им бы в Одессе жить. Они думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар:

и море, и кафе, и музыка, и все удобства — каждую минуту сапоги можно почистить.

Как Бунин, как Чехов, как прежде Пушкин и Лермонтов, Алеша избегал всякой вычурности, аффектации, «подачи» себя. Просто, еще проще... Но жил Решетов в иной России, чем названные классики, и ее о н впитывал, и настаивал:

Поскольку и я простолюдин.

Нам будет легко на земле...

Для его бабушки, дворянки, слово «простолюдин» значило ровно то, что оно значило в XIX веке. Но для Леша звук был другим.

Вглядитесь в круг героев поэзии Решетова. Хозяйка маков Кузьмичиха потеряла на фронте трех сыновей; дядька раздувает самовар сапогом, дошедшим до Берлина; безногий сапожник Глушков оставил свой «одинадцатый номер» в том же Берлине, но понимает горе немки Шарлотты; старый художник в пасмурном подвале учит мальчишку, сына прачки и убитого солдата, как добиться, чтоб «не было подвала и войны, а было рисование с натуры»; ослепший на фронте скрипач водит смычком, как будто режет черный хлеб; старуха кланяется грибам и зовет синявку голубушкой; «женщина пилит двуручной пилой толстые бревна одна»; девочка на кладбище уснула не вечным сном...

Алеша все запоминал: колокольный глагол русской речи, женский шепот молодой, как сено на лодках везли, как шахтеры спускались в гулкой клетке под землю... И оживали в его стихах писарь, почтальон, газетчик Коля, подруга поэта... Для них он и писал, о них и думал. Мы все в этом ряду.

Я берусь утверждать, что до Алеша в нашем крае не было поэта, который так твердо следовал бы избранным путем. Он не писал о ГЭС и ГРЭС, нет в его стихах никаких пусков заводов, фабричных труб и терриконов, хоть он и насмотрелся на них в жизни. Пейзаж, герои, мысли, заботы его лирики совсем и н ы е. В четыре, восемь, двенадцать строк он под высоким напряжением укладывает самые простые слова, но живые, живые! И они сами находят путь к нашему сердцу.

Алеша сознательно выбрал свой путь, свой круг тем и понятный, свою лексику. Когда мы начали готовить к изданию сборник «Иная речь», предполагалось, что это будет тоненький сборник, и войдут в него лишь неопубликованные стихи. Леша готовил к ним предисловие. Потом замысел изменился, сбор-

ник стал более солидным по объему, а предисловие осталось у меня. Хочу привести эти слова:

«Название книжки «Иная речь» не претензия на что-то необычное. Сборник мог называться и «Тревога», и «Старость», и просто «Стихотворения».

Как раз я люблю традиционную форму письма, мне кажется, что она ближе к единопониманию человечества.

Просто в конце високосного нашего века, на ущербе собственной жизни, хотелось бы говорить сдержанней и разумней, чем прежде».

Сегодня видно, что с самого начала и до конца его речь была и н о й, оставаясь и сдержанной, и разумной. Его принуждали сменить темы и лексику — он отказался. Да разве он не знал, как это делается? Знал, конечно. Но знал и цену компромиссу. Цену этим грубым подделкам под стихи. Он считал это грехом. Об одном «классике» говорил мне:

— Ему стих написать, все равно что поссать.

Ну да, в бытовой речи он не чурался грубых слов, он знал эту лексику, ведь чуть не 40 лет работал на калийном комбинате, трудился и в шахте, и на солемельнице. Но, спускаясь под землю, он не опускался в языке. С первой книги до последней лексика (и круг понятий) были выверены по высшему образцу: земля, небо, мама, отец, дом, хлеб, любовь, смерть... Фундамент любого языка. Фундамент жизни людей.

Это далеко не всегда нравится людям, чудовищно изуродованным «идеологией». Я помню, как мы с Лешей «прятали» по сборникам «печальные» слова. Их особенно рьяно подчеркивали разного рода рецензенты из Москвы и бдительный главный редактор издательства Б. Д. Гринблат. Установка была одна: больше бодрости и оптимизма! И что вышло? Леша всем дал урок поведения поэта. Он вообще-то был терпелив и скромен.

— Ну, уберем этот стишок, — говорил.

Всегда «стишок», а не «стихи» или «стихотворение». Слово стеснялся. Звонил иногда.

— Я новый стишок написал. Хочешь, прочту?

Словно бы я могла сказать «не хочу»!

Так вот, Леша терпел. Дошло дело до верстки, то есть второй корректуры. Еще 6-7 «печалей» велют выкинуть из книги. И тут он взорвался:

— Я возвращаю аванс и забираю рукопись!

Это было прекрасно и сильно. Но я думала: ведь книга не выйдет! Больно. Разорительно. И читателя тоже жаль.

Но Леша оказался прав. Твердость и достоинство поэта победили. Текст больше не тронули, и книга вышла.

Чуть ниже я расскажу еще две истории — о завистниках, о доносах. Но прежде вернемся к темам Решетовской лирики, к лексике.

«Обвалами друзей моих поубивало», — написал он на исходе XX века. Это не только образ, это из его биографии. Сам он чуть не погиб однажды в шахте. Знал такие дела не понаслышке. Леша хотел написать повесть «Трещина». Рассказывал мне замысел, эпизоды. Он думал о трагической картине своего детства, юности, жизни. Трещина — та самая, конечно, что всегда проходит через сердце поэта. Эпизоды были мрачные: гибель товарищей, детей, женщин. Изломанные судьбы, Унижения. Дикость. Дефицит духовности. Но и доброта, великодушные, благородство...

Леша, конечно, осознал уже к тому времени, что произошло в стране. Жаль, что он не написал «Трещину». Это была бы пронзительная повесть. В «Зернышках спелых яблок» уже был обозначен, хоть и предельно смягчен, ее зачин.

В общем, Шекспир, который сказал: «Тот не ограблен, кто не сознает, что он ограблен»... Леша сознавал...

...Только все ж у бараков
Есть хоть капля еды,
А на кладбищах братских
Ни листка лебеды.

... ..

Только что мне пеллагра,
Голод, мат, неуют,
Если завтра нас в лагерь
Пионерский везут!

Рифма сделана сознательно, а слово «лагерь» обозначила разрядкой я как редактор. Чтобы обратили внимание. И в другом стихе разрядка не авторская, а редакторская: «Как вы, милые, пахали под землей в дни войны». Стихотворение о женщинах-горнячках исполнено нежности и боли. Алеша знал, как они «пахали», и в этом слове отзвук другой бабьей доли — крестьянской. Одни на земле пахали, другие под землей. Но сам Алеша свои находки скрывал, не высвечивал, не подчеркивал. Я его просто уговорила. А уж «негасимые лампы я зажег бы в вашу честь» мы подчеркивать не стали. Авось внимательный читатель сам догадается, как соединить

электролампадки на шахтерских касках с негасимым Вечным огнем... Мы говорили с Алешей об этих женщинах-горнячках, как они тянули лямку всю войну, а потом наша страна вступила в очередную конвенцию (из гуманных соображений), и женщинам запретили работать в шахте. Так их лишили заработка и перевели на подсобные работы — пахать на земле, в несколько раз урезав зарплату. А ведь сколько вдов там было... Как всегда, «спасибо» страна им не сказала. Да и никому не сказала — ни солдатам, ни вдовам, никому из тех, кто «пахал». И прощения ни у кого ни за что не просили.

...Еще после первых окликов Алеши, в свои 20 лет, я впервые оглянулась вокруг осознанно. В 1961 году праздновали 30-летие Победы. Впервые после войны прозвучало: «Фронтвики, наденьте ордена!» А ведь это им было заказано 30 лет. Ну и, ясное дело, никто никогда не сказал: «А вы, зека, наденьте номера». Колонны ветеранов, редея, хоть 9 мая получают долю почета. Колонны зека остались там, в дали. Вдовам солдатским прислали похоронки. Вдовам и детям «врагов народа» — оскорбительные бумажки: «за отсутствием состава преступления реабилитирован». У моих ровесников разные судьбы.

Я гляжу сегодня на фотографии ушедших, в лица уцелевших еще друзей, людей одного поколения. Вот Витя Болотов, поэт, Алешин друг. Отец Вити погиб на фронте. Леша очень ценил Витины стихи, придумал название для его посмертной книжки: «Море и поле». Это ключевые слова Витиных стихов. Два умника, они любили поговорить. Однажды пришли к нам вдвоем, и третий умник, тоже поэт, Боря Гашев, беседовал с ними до утра. А я слушала всех троих и понимала: так мыслить мне не по силам. Тогда они еще были молоды, бессонная ночь казалась пустяком, главное было решить вечные вопросы... Вечность, как написал в конце своей жизни Владимир Радкевич, всех троих уже «пригласила в гости». Больше мне таких речей не услышать.

Вите Болотову посвящены стихи Алеши. Он не был так щедр на посвящения, как Радкевич, у которого их даже запрашивали, а тот посвящал и даже перепосвящал. Леша был, я бы сказала, и тут верен себе. Он посвятил стихи Льву Давыдычеву, который был старше, потому Леша относился к нему с неизменным пиететом. Посвящены стихи Володе Михайлюку, чей отец был репрессирован, мать погибла. Есть посвящение Ирине Христюковой (и ее отец погиб на фронте). Диме

Ризову (отец тоже погиб на войне). Юре Маркову, Паше Петухову. Роберту Белову. Вере Нестеровой. Горжусь, что есть посвящение и мне. Это был круг людей близких, круг друзей. Одна из составляющих системы ценностей Решетова.

Еще он посвящал свои стихи своей жене Тамаре. Жизнь не слишком баловала Алешу, а все-таки улыбнулась ему. Тамаре сегодня и уже навек — тяжелее всех нас. Было бы хоть небольшим утешением для нее работать над посмертной книгой Алеши, тем более, что она с ним и работала над рукописью почти до последних дней Алешиной жизни.

Я помню, как он постепенно обретал вкус к такой работе. Когда готовилась к публикации «Чаша», он еще, можно сказать, шел у меня на поводу (в смысле построения книги). Главным образом потому, что ему не ясны были мои уловки (и не волновали). Я приехала в Березники, и тут Леша меня помучил. Он мог не спать несколько ночей сряду, ему хотелось поговорить. И мы говорили, и пили водку, и ходили по городу (городу моего детства), а Леша рассказывал, и вел меня к друзьям — к Паше Петухову, к Юре Маркову, к Славе Божкову. Он рвал цветы с клумбы и дарил их мне (так же он поступал и в Перми). Ночной город. Дневной. А рукопись все лежала. А в ней, по условиям того времени, кое-что надо было прятать — то есть ту же печаль и вообще вторые, и третьи, и девятые смыслы.

Уловка была проста : мы обозначили в книге разделы. И, скажем, в раздел «Волшебная книга природы» поместили «Дельфинов», которые вовсе и не о природе, да и вообще поэт «о природе» не пишет. И так далее. Уловка, как ни странно, удалась. Возможно, впрочем, была молчаливо принята. А возможно... Я-то знаю: они стихов не помнят. Я не раз в своей редакторской практике тихонько возвращала убранный руководством (рецензентом) текст в другое место, порой под другим названием, или просто сняв название. Строчки, конечно, увеличили. В 90-е годы мы все восстановили. Например, в «Монолог Фауста»: «А за окнами в сумерках серых ждет чудес академгородок». Намек на возможные последствия научных достижений, на белокровие и подобные болезни в год выхода «Чаша» «не прошел». До Чернобыльской катастрофы оставалось несколько лет...

В «Чаше» Алеша восстановил некоторые свои лирические дерзости (но не все). Он согласился вернуть строку «И хрипит, задыхается март, как февраль с перерезанным горлом».

И другую: «Пускай и идет каждый вечер на мокрое дело закат». Хотя и ворчал, что это слишком.

Зато как он расстроился и разозлился, когда в Москве некая редакторша попыталась переделать его строчку «Я был пацаном голопятым!» Дама была явно глуха и предложила вариант: «Мальчонкой я был голопятым...» Я даже написала даме письмо. Ответа не последовало. Получив экземпляр московской книжки, Леша открыл ее и... разорвал.

Мне грустно это вспоминать. Лучше, конечно, вспоминать удивительные беседы с Лешей, то, как он легко читал на память чужие стихи, никогда не запинаясь. Как он озорничал на каких-нибудь банкетах (терпеть их не мог).

— Леша, что тебе положить?

— Игурец.

(Это, между прочим, игра от усталости — слово исказить, чтоб не было сплошной «поэзии»).

И ведь вправду на банкете в Березниках, где его, юбиляра, чествовал весь город, где вокруг сплошное начальство, и рядом сидят еще и немцы, только в его тарелке лежал одинокий «игурец». А он шепнул мне:

— Поллитру берем, и деру!

Странно нам сидеть рядом с немцами, которые строили там какой-то водопровод. Конечно, к тем немцам 1941 года они имели лишь косвенное отношение, но — мы-то дети страшных лет России.

Я был пацаном голопятым,
Но память навек сберегла,
Какая у нас в сорок пятом
Большая Победа была...

Впрочем, с кем только не приходится сидеть за пиршественным столом. Леша не всегда же был сдержан, а язвить умел и, уже выпив, меньше всего был пайнкой. Да и просто завистников хватало. Были, значит, и доносы. Первый, о котором знаю — дикий: якобы Решетов слишком много пишет о сексе! Письмо ревнителя нравов было послано в Москву, в комитет по печати (тогда был такой, и Гашев предложил его закрыть за неблагозвучие: «п о п е!») А еще граф А. К. Толстой писал в XIX веке:

Способ, как творил Создатель,
Что считал он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета о печати.

Однако председатель Комитета во все времена думал иначе, и все издательства страны были подчинены этому заведению. Пришлось мне писать длинное письмо с цитатами из Лешиных сверхцеломудренных стихов о женщинах, о любви и посылать в Комитет. Благо, сделать это было легко. Обошлось. Когда я рассказала историю Алеше, он быстро вычислил доносчика. Леша ведь был человек очень умный, очень наблюдательный. У него был дар поэта, но и цепкая память и хватка прозаика: он в и д е л, как человек есть, пьет, жестикулирует, двигается; он с л ы ш а л, как человек говорит. Я даже боялась иногда Лешиного быстрого взгляда. Думаю, он был прав, назвав своего «недоброжелателя». Но это случай патологический. А второй — из разряда того абсурда, каким пронизана была наша жизнь настолько, что абсурдность не сразу осознавалась, а лишь много после.

Меня позвали в ту комнатку Союза писателей, где мы обычно курили с Лешей. Там сидел молодой человек из КГБ. Незадолго до того происходило обсуждение новой книги стихов Алешы. Собратья по перу дружно зарубили цикл стихов «Голоса ночных незнакомцев». Их бесстыдно назвали «лабораторией поэта». Дескать, пока сырые стихи

...Или враг трудового народа
Побежал — разлюбил Колыму, —
Нажимаешь на спуск — и свобода
Обеспечена тут же ему...

(Монолог зазывалы из тира)

Гэбешник спросил: «Не можете ли вы сказать, как стихи Решетова попали на Запад?» Я удивилась, ничего не слыхала про это, но голова сработала быстро:

— Думаю, дело простое. Рукопись лежала в Союзе писателей перед обсуждением, любой мог прийти и почитать, переписать. А уж кто это был — ума не приложу. Не Алексей же Леонидович! Ему такое и в ум бы не впало.

Это, кстати, правда. В ум не впадало не только на Запад что-то послать, но и в Москву, в Питер. А я ведь точно знаю: сразу его стихи действовали, и москвичи, и питерцы удивлялись: «Да кто он такой? Откуда?» И уносили книжку, бережно ее прижимая. Один только раз Леша спросил:

— Как ты думаешь, какой стишок послать в Болгарию? Они там сборник составляют «Сто шедевров современной лирики».

Слово «шедевр» его смущало. Он, кажется, послал «Шахматы». Тоже ведь стихи о маленькой пешке, что «с тобою делит все беды шахматной игры».

Я вовсе не хочу сказать, что мир стихов Решетова сплошь печален. Это печаль мировая. «И мужеству предшествует от века». Он солидарен тут с великими художниками и философами. Просто Леша не мог и не хотел «путать белое с черным». Мир его стихов просветлен именно по законам вечного искусства. И потому его понимают школяры в двенадцать лет, и самые продвинутые филологи.

Вернусь к этому миру. Там есть не только люди, но и мышинный горошек, белка, что припасла на зиму орехи, бесстрашная синичка, готовая защитить нас синим крылом; поющие в день осенний рыбки, беззащитные лягушки, мать жеребенка... Даже ворон признал в лирическом герое «младшего брата» (а не старшего, по разуму, как принято считать)... Там иволга поет «фитиу-лиу — и в мире светло».

Как обманчива «простота» стихов Решетова. Как много, напряженно, по-своему он думал о мире. И знаки культуры не случайны: «Мыслитель» Родена, Фауст, Демон, «Блудный сын» Рембрандта, Владимир Даль. И снова — Пушкин, Пушкин, Пушкин... И — точность слов. Если речь о цирке — вдруг появляется ренское колесо (цирковые люди удивляются — откуда он знает?). Если речь о художнике, он мажет маргарин на хлеб не ножом, а мастихином. Подробность. Точность. Уважение к другой профессии. В известном стихотворении Алеши «Баллада о волшебном слове» в первоначальной редакции не было слова «счастливо», а было немецкое «глюкауф». Так называлась газета немецких горняков, и слово «глюкауф» было паролем для уходящих под землю. Я думаю, что здесь Алеша опять был более точен, чем те, кто изменил его текст. Он ведь очень трепетно относился к слову, сам замечал прежде всех свои неудачи, горевал, если не мог их поправить. Говорил мне:

— Это ведь не точно — «золотые ворота». Надо золотые ворота, Но не влезает в размер — «Золотые ворота, пропустите меня». В детство.

И еще говорил:

— Что я написал! «Летят хлопотливые пчелы на флоксы ее и виолы...» На флоксы и виолы пчелы ведь не летят. Давай думай, как быть.

Мы изменили строку: « И падает дождик веселый на флоксы ее и виолы ». Строка стала хуже. Пение буквы « л » наполовину ушло...

Леша знал, что такое полногласие русского слова с его долгими гласными, мягкими « л », сонорными согласными. А кажется, все получалось само собой, так просто. Стяжение тяжелых согласных почти не встретишь в его стихах. Он за этим следил. В одном лишь случае не смог ничего сделать, хотя и бился над строчкой долго. Махнул рукой.

Займствований он гордо избегал. Лишь однажды сокрушенно признался;

— А ведь « жгучий ельник » у меня из Мандельштама. Я только сейчас понял.

Я убедила его, что такие « перезвоны » цепи поэзии дело не только законное, но общепринятое. Как-то он встретил меня смеясь:

— Мать только что поймала меня на плагиате. Я принес ей новый стишок, а она почитала и говорит: « Да ведь это же песня « Липа вековая » ! »

К чему я все это вспоминаю? Да все к тому же. Чистый звук такой простой, но и н о й речи Алеши Решетова так поражал нас всю жизнь именно потому, что он свой дар хранил в чистоте. На рынках книжных душой своей не торговал. В работе был честен. Талант в землю не зарывал, а до смысла этой притчи, как и других священных текстов, доискивался сам. Он не просто читал Библию, он думал. Он шел к Богу и слушал Его.

Прощай, Алеша, собеседник сердца. От всех твоих радостей и печалей остался свет. Я помню свет твоих умных глаз, свет твоей улыбки. Свет твоих стихов остался не только нам — всем, кто захочет взять хоть немного этого света...

Думаю, Россия, как это и бывает, не осознала тяжести потери. Алексей Решетов был большим русским поэтом, и дар его был равен его уму, а это редкость. Стихи его по-настоящему не прочитаны. Но он сделал, что мог, преодолевая удары судьбы и соблазны времени. Он оставил нам « Нежность ». Будущим поэтам — « Белый лист ». Подарил « Рябиновый сад ». Выпил свою невеселую « Чашу », чтоб нам было легче. Прощально помахал: « Жду осени ». И отбыл со « Станции Жизнь », завещав оставшимся « Иную речь ».

ВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ

О жизни и творчестве поэта

Ведь только временная смерть
Нас ждет на этом свете...

А. Решетов

Эти слова Алексея Решетова можно считать пророческими. Душа настоящей поэзии — бессмертна... Поэт пережил временную смерть 29 сентября 2002 года, чтобы мы, осиротев, осознали масштаб и глубину его дарования, раскрыли его книги — и он заново, и теперь уже навсегда, вернулся к нам, пройдя через «Темные светлы» последних горчайших лет с невеселой, но наполненной до краев глубочайшей «Чашей» своих духовных прозрений и лирических откровений.

Поэт светообразующий, творящий слово, как неповторимый кристалл, Алексей Решетов, как и положено истинному творцу (при внешней приветливости), — был внутренне замкнут и абсолютно одинок в своем трудном, каждодневном и бескорыстном постижении вечных тайн человеческой души и природы... Живое слово Решетова тянется к свету... Его поэзия полна любви и сострадания и растворена в нас, как «цветущая тишина», в трудную минуту готовая «подпереть» грозовой небосвод людских отчаяний и надежд. Мир поэта — един и неделим. Природа для него одновременно и мать, и прекрасная женщина, а сама женщина — светлюбивая, загадочная природа... И нет конца ни материнскому свету, ни сыновнему слову, спешащему на голос родимой матушки...

Примечательно, что, признаваясь в любви к одуванчику и воробью, лесной тропинке и бездомной собаке, поэт, «не кривя православной душой», утверждает, что не встретил на грешной земле «ничего прекрасней человека». Эти строки написаны в недавние годы, в период распада и расчеловечивания душ

с помощью наркотической псевдолитературы, когда многие писатели беззащитно поменяли на доллары достоинство, совесть и тревогу о будущем обезумевшей цивилизации... Решетов, подлинный русский интеллигент и неподкупный поэт, не примкнул к этой оборотистой стае, «и никогда на рынках книжных своей душой не торговал». Его высокая лира не элитарна, она адресована простым людям, нуждающимся в сочувствии и понимании, а Муза его, уставшая, измученная несовершенством мира, — беззащитное дитя сурового времени, спящее, где придется, «ботиночки в грязи». Но внутреннее достоинство поэта настолько велико, что он с беспощадностью к самому себе ненавязчиво поясняет: «Я не писал своих героев, а впалой грудью защищал».

В последние годы, пытаюсь вырваться из цепкого, слишком узкого для него, «избранного» круга навязанных знакомств, подтверждая тем самым обозначенное еще критиком В. Кожинным духовное родство с замечательными русскими поэтами В. Соколовым и А. Жигулиным, Н. Рубцовым и А. Прасоловым, — А. Решетов интуитивно потянулся и к нынешним, еще уцелевшим или «нерасслышанным» продолжателям глубинной, выстраданной, истинно-лирической поэзии... Поэт чрезвычайно совестливый, тридцать лет «копавший подземную руду» на березниковских шахтах, он придерживался убеждения, что, став писателем, «отыскал свое лицо, но потерял при этом руки»... «Не утратить бы совесть и разум, а иначе и жить не хочу» — отрекся он от бездарных приспособленцев и «пустозвонных сочинителей», которые «во что бы то ни стало хотят сказать нечто хитрее себя, да так, чтобы никто ничего не понял, чтобы нуждалось каждое предложение в расшифровке»... «Божий ученик», человек высокой простоты и глубинного таланта, он признавался, что ему надоели «комнатные книжные слова» и «подражательная, искусственная поэзия».

Пережив «временную смерть», поэт снова возвращается к его ценителям как насквозь прочитанная нетленная книга стихов, и ко мне — как начатая тетрадь не остывающих благодарных воспоминаний...

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ РЕШЕТОВА

1. ВОСХОЖДЕНИЕ СЛОВА

Гаснут звезды — восходит слово
Над бессмертием без границ.
...Но душа ко всему готова —
Ждет своих перелетных птиц.

Хлынут строки, как свет из горла,
Луч к земле пригвоздит крыло,
Чтобы время не просто стерло,
А распяло и вознесло.

29. 09. 2002.

2. СОЛЬ ЗЕМЛИ

По глубине — дорожке сердца нет.
Сквозь решето процежены, промыты
Крупицы лет, опальные на свет,
И зерна слов, просеяны сквозь сито.

Без пустоты, без яркой шелухи,
Без фальши и лихого произвола
Рождаются прекрасные стихи,
Как соль земли высокого помола.

10 марта 2002.

3. ВЗАИМНЫЙ СВЕТ

Сердца насквозь прочитаны, как книги,
Где слов настрой родней, чем брат с сестрой.
Поэзия!.. Бессильны все интриги,
Когда гора встречается с горой.

Цветут подножья, светятся вершины,
Когда с поэтом сходится поэт...
Душа и Дух — не женщина с мужчиной,
А только свет — взаимный, долгий свет.

07. 01. 2002.

4. ВСТРЕЧА

Лишь равный — равному по силам.
Талант — таланту по плечу...
Зачем, полночное светило,
Я бисер огненный мечу?

Вновь над Вселенною лечу,
А вслед за мной — свиное рыло.
Веревка... Крюк... Извечно было,
Что бездарь — равен палачу.

...Но что за звук прелестный, чу!
И вот — я снова жить хочу,
Вас встретив на краю могилы...
И — «Здравствуй!» — соловью шепчу,
Ты — продолжай! Я — подхвачу!
Не замолкай, дружище, милый...

30. 09. 2001. Стационар.

5. ОТПЕВАНИЕ ДРУГА

Стонут деревья, почуяв беду,
Как на свое отпеванье иду.
Коротки сроки земные!
Руки совсем ледяные.

Сыплется под ноги дождь-снегосей.
Вот и покинул сей мир Алексей...
Много на свете болящих —
Мало друзей настоящих.

Холодно в мире, но в Храме тепло.
Пусто на сердце, в душе тяжело.
Вечная память — особа,
Что не толпится у гроба.

Темные светы связующих лет!
Пишущих тьма — да не каждый поэт.
Но нерушима основа
Сердцем граненого слова.

2.09.2002.

*Прочитано в час прощания с поэтом Алексеем Решетовым
в г. Березники Пермской области. 7.10.2002 г.*

МАТЕРИНСКИЙ ПРИЧАЛ

В конце августа 2002 года вернулся из Екатеринбурга пермский прозаик Владимир Михайлюк, несколько дней гостивший у Алексея Решетова, своего давнего друга. И привез мне «персональный подарок от Леши» — коллективный сборник стихов российских поэтов «Материнский причал».

— Как там дела у мастера? — спрашиваю Михайлюка.

— Задыхается, ходит с ингалятором, но смолит, как черт. На жизнь и жену не жалуется. Потихоньку пишет.

Тогда, в августе, я и предположить не мог, что буквально через месяц весть о смерти Алексея Леонидовича молнией обуглит сердце.

Стал читать «Материнский причал». Наряду с произведениями классиков — Есенина, Твардовского, Рубцова — достойно смотрелась лирика наших земляков. Причем самой объемной и запоминающейся оказалась подборка решетовских миниатюр — искренних, пронзительных, щемящих. Например:

Ты слышишь, мама, я пришел —
Твой милый мальчик, твой Алеша.
Нигде я, мама, не нашел
Таких людей, как ты, хороших.
Руками желтыми всплесни:
Какое небо над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.
Уж сколько зим — не знаю сам —
Скребется вьюга по окошку.
А ты все бродишь по лесам,
Сбираешь ягоду морошку.

Перечитал это давнишнее стихотворение и вспомнил почти дословно связанный с ним нелицеприятный разговор с Алексеем о житейской и художественной правде. Впрочем, об этом

чуть позже, поскольку сперва необходимо четко определить степень наших с Решетовым отношений. Это сейчас, после его смерти, чуть ли не каждый окололитературный деятель спешит записаться в друзья одного из лучших лириков России. Событыльников и прихлебателей у него, как случается с большим талантом, хватало. Настоящих друзей можно сосчитать, пожалуй, по пальцам одной руки (я говорю вовсе не о сотнях тысяч истинных поклонников решетовской лиры).

Наши взаимоотношения Алексей обозначил сам двадцать лет назад надписью на сборнике «Чаша» (1981 год): «Мише Смородинову — соратнику, близкому человеку». Не только творчески, но и житейски мы особенно сблизились в середине восьмидесятых, когда семья Решетовых переехала в Пермь.

Трехкомнатная квартира в доме на углу улиц Кирова и 25 Октября стала местом паломничества творческого люда: писателей, артистов, художников. Но в первую очередь, тараканьим нашествием оказались непрошеные визиты к Решетову местных графоманов и соискателей рекомендаций на прием в писательский Союз. Кстати, Алексей Леонидович в данном случае исповедовал «непротивление злу» и на рекомендации не скупился, считая, что в Союзе писателей СССР, особенно в Москве, даже на секретарских должностях графоманов множество. И шесть или шестьдесят новых общей картины не изменят.

К сожалению, «соискатели» славы и рекомендаций несли корифею горячительный бакшиш авоськами. Не все вели себя достойно, некоторые пытались доказать свою гениальность кулаками. Не раз Нина Вадимовна, мама Решетова, звонила мне, и я срочно приезжал на «разборку», выдворяя разбушевавшегося гостя. После таких «проводов» путь в квартиру Решетовых ему был заказан. Надо сказать, что Нина Вадимовна крепко держала в руках штурвал семейного корабля. Она вела хозяйство, даже в магазин сходить Алексею доверяла лишь изредка.

Говорила она негромко, но веско, и ее сын-поэт робел перед матерью как мальчишка и зачастую называл ее на «вы». Нина Вадимовна при всей своей строгости любила всяческую живность, особенно собак и цветы. Даже в насквозь прокуренной комнате Алексея, служившей и кабинетом, и спальней, на подоконнике стояли горшки с геранью и алоэ. В цветах — с весны до поздней осени — был выходящий во двор балкон квартиры. Что же касается собак, то их в ту пору было

три — подобранных на улице беспородных маломерных созданий. Пол в коридоре всегда был украшен газетными заплатами на месте луж от собачьих конфузов: Леша или его племянница Олеся выводили собак на прогулку только «по большому».

Мне нравилось беседовать с Ниной Вадимовной. Она много читала, в основном мировую классику, сама в молодости писала стихи. Единственным богатством Решетовых, живших чуть ли не по-спартански, были книги, в том числе полная «Библиотека мировой литературы». Нина Вадимовна неохотно вспоминала прошлое, мужа, погибшего в сталинских застенках, свои собственные мытарства, лагерные и барачные, скупко комментировала снимки в семейных альбомах. Никогда не жаловалась на жизнь. После нелепой гибели своего первенца, Бетала, она очень беспокоилась за судьбу Алексея и, на мой взгляд, не одобряла профессию поэта, которая выбрала его. Ее опасения в первую очередь касались богемного окружения, не скупящегося на славословия и чрезмерное восхваление сыновнего поэтического таланта.

Но и гордость за него была сильна. Вспоминается далекий от поэзии эпизод. Звонит Нина Вадимовна мне по телефону и сетует, что после посещения их квартиры буйным непризнанным гением вдребезги разлетелся унитаз вместе с бачком. Местный слесарь требует за восстановление непомерные деньги. Что делать?

В ту пору я работал дежурным на центральной тепловой подстанции жилого массива, соответственно, приятельствовал с нашими слесарями-сантехниками. Срочно отыскивали «списанную» новехонькую сантехнику и покатали вдвоем со слесарем Павлом к Решетовым. Паша блеснул мастерством, и через полтора часа новенькое голубое «удобство» зафурчало.

Нина Вадимовна — ярая противница спиртного — поставила на стол бутылку водки, соленую капусту, нарезала колбасу. Сама примостилась с краешку, на табуретке. Паша (бывший военный, комиссованный по болезни, парень весьма начитанный) неожиданно для меня попросил разрешения на тост, причем стихотворный. И стал проникновенно читать:

В эту ночь я стакан за стаканом,
По тебе, моя радость, скорбя,
Пью за то, чтобы стать великаном,
Чтоб один только шаг — до тебя.

Чтобы ты на плечо мне взбежала
И, полна ослепительных дум,
У соленого глаза лежала
И волос моих слушала шум.

— Удивительные стихи у вашего сына, — сказал Павел, обращаясь к Нине Вадимовне. — Вы можете им гордиться, и за это и вам, наверное, надо выпить.

Это был единственный случай за много лет, когда на моих глазах Нина Вадимовна осушила рюмку сорокоградусной. Может быть, такая «рецензия» работяги, сантехника сказала ей о таланте сына и его нужности людям больше, чем десяток критиков, вплоть до Кожина. А через несколько дней состоялся наш с Алексеем разговор по поводу стихотворения «Ты слышишь, мама, я пришел...» Недоброхоты Решетова, отфутболенные им графоманы за глаза злословили, что он этими двенадцатью строками отправил на кладбище и заживо похоронил родную мать. И я недоумевал тоже, поскольку знал: Решетов в своих стихах не «прятался» за лирического героя, и там, где говорится от «я», говорится от него, Алексея.

— Так ведь эти стихи не о маме Нине, а о маме Оле, о моей бабушке. Отца и маму посадили в тридцать седьмом, и в Хабаровске нас растила бабушка. Так получилось, что я до восьми лет, а Бетан до девяти с половиной называли бабу Олю мамой. Да ты возьми, не поленись, перечитай «Зернышки спелых яблок», там все написано. «Мой милый мальчик, мой Алеша» говорила мне только мама Оля, то бишь бабушка Ольга Александровна¹...

В общем, все стало на место. А повесть Решетова «Зернышки спелых яблок» я, разумеется, перечитал. Брат Алексея, Бетал, выведен там под именем Петьки. Вполне возможно, что барачная пацанва его так и называла, а не каким-то экзотическим именем Бетал. Лирическая, грустная и умная повесть Ре-

¹ И все-таки Алексей Решетов не сказал автору этих воспоминаний правды. На самом деле пронзительное стихотворение — чисто решетовское объяснение в любви к живой матери, возникшее среди вдруг охватившего его страха при мысли, что он однажды может ее потерять. Об этом — подробно в воспоминаниях Владимира Михайлюка.

Алексей Решетов тщательно оберегал от нескромного взгляда тайны своей души. Не стеснялся вводить в заблуждение любопытствующих. Если бы не случайное присутствие Владимира Михайлюка, друга его, при создании стихотворения, мы бы никогда не узнали и об этой решетовской тайне. Отсылка Решетовым Михаила Смоудинова к своей второй маме — бабушке Ольге Александровне, про которую будто бы написано стихотворение, была всего лишь уловка... На момент разговора автора воспоминаний с Алексеем Решетовым, ее уже действительно в живых не было. Но когда создавалось стихотворение, Ольга Александровна была жива и нежно любима поэтом. (Примечание составителя.)

шетова исподволь дает чувствовать, сколь много значит для автора понятие «родная кровь». Вспомним анекдотический эпизод о Витьке, дворовом всезнайке.

«А я знаю кто Пушкина убил!.. Дантес убил.

Через две минуты мы уже знали, как было дело. Оказывается, Дантес постучался к Пушкину поздно ночью. Тот уже разделся и лег спать. Запоздалый гость попросился переночевать.

Пушкин ответил: «Вчера придешь, мукой отоварю».

В общем, не пускает.

А Дантес не отстает.

Пушкин тогда говорит: «Все равно мы на одну коечку не влезем».

Дантес все свое: «Ничего, я на самой железке, с краешку».

Ну, лег с Пушкиным и убил его...»

И вполне естественно недоумение героя: как можно убить того, с кем «на одной коечке, на железке с краешку, под одним одеялом». Ведь так, рядышком, спят только самые близкие. Так, рядышком, бок о бок в Хабаровске, Соликамске, Березниках не одну тысячу раз ночевали Бетал и Алексей. Духовная близость объединяла братьев – и даже тогда, когда старший уехал учиться в Москву. Алексей в ту пору набирал силу как лирический поэт, его талант высоко оценили пермские корифеи – Радкевич, Давыдычев, Домнин. И тут — весьма темная история с самоубийством Бетала в Москве. Позднее в стихах о нем Алексей напишет о гибели старшего брата «на скале-крутизне», подразумевая под этим образом всю нелегкость нашей жизни.

А в тот момент потрясение было таково, что поэт буквально онемел, не воспринимал окружающее. По сути, он оказался на грани сумасшествия. Как рассказывал мне Алексей Михайлович Домнин, один из профессионалов-психиатров выдал единственно возможный в данной ситуации рецепт: «Надо заставить Алексея заплакать, иначе он никогда не вернется в реальность». Почти сутки Алексей Домнин и Авенир Крашенинников, сменяя друг друга, пробивались к сознанию окаменевшего Решетова, стыдя, браня, утешая и взывая к его мужеству. И добились-таки: из глаз поэта покатались невероятно крупные дробины слез, вымывая из души чувство отторженности от мира. Собратья по перу, близкие по духу люди вернули его к жизни. Однажды, вспоминая этот эпизод, Леша сказал, что он был его вторым рождением — пермским.

Мне очень импонировала решетовская сдержанность, его нежелание влезать в околотитературные свары и дразги. Имея отменный поэтический вкус, он образно и метко характеризовал некоторых стихотворцев: этот слишком шумит и весь пар выпускает в гудок, этот напоминает разобранный самолет — есть крылья, фюзеляж, шасси, мотор, а вот взлететь — никак. Алексей не любил шумных аудиторий, публичных выступлений, не блистал, как Радкевич, умением сходу выдать сногшибательную эпиграмму. Для него более близки были застольная дружеская беседа и ночные творческие бдения.

Как-то раз я спросил его напрямик, кто является его земной Музой, ведь не просто же он холостякует столько лет.

— А у нас с Болотовым одна Муза, еще с березниковских времен. Может, я сам виноват, что Вера выбрала не меня, а Виктора. Впрочем, я же не лукавил: «Я встреч с тобой боюсь, а не разлук, разлуки нас с тобой не разлучают...» И другое: «Ты у меня, как Родина, одна — жизнь без тебя страшна, как ностальгия».

По большому счету, личная жизнь Алексея Леонидовича обернулась этой самой ностальгией. Стихотворение-то заканчивалось таким четверостишием:

И снится мне: качаются цветы,
И белый аист нам несет ребенка,
И голову закидываешь ты,
И на поляну падает гребенка.

Решетов горевал: «Нет детей у меня, лишь стихи окружают меня, точно дети...» Подспудное желание утешить его, близкого мне человека, я попытался вложить в посвященную ему оптимистическую «Притчу о принце», которая, с легкой руки барда Сергея Гнядека, стала песней:

Был принц довольно замкнут,
как все холостяки.
В его воздушном замке
гуляли сквозняки.
Любимой Несмеяне
он дал бы тайный знак,
но у него в кармане,
как в замке, был сквозняк.
И сквознякам гулялось
в ночь и средь бела дня.
Сквозняк унес, как парус,
крылатого коня.

Принц не о замке детства
слезу сронил в ладонь:
не роскошь же, а средство
передвиженья — конь!
Ночь сыплет соль на раны,
сквозняк задул звезду.
Вдруг...
вводит Несмеяна
коня на поводу.
А дальше — свадьба, дети!
Коню дают овса...
Бывают же на свете
такие чудеса!

Увы, чуда не случилось. Ушла из жизни Нина Вадимовна, и отныне для Алексея, всю жизнь носившего на груди православный крестик, материнским началом стали зазвездные кущи, откуда никто не приходит назад. Тема смерти в творчестве Алексея Леонидовича стала довлеющей, что, на мой взгляд, весьма заметно в сборнике «Иная речь». По сему невеселому поводу я подарил Алексею свою эпиграмму «Монумент»:

Иная речь, огонь во взоре,
И лирика, как пьедестал.
В стихах твердя: «Мemento море»,
При жизни памятником стал!

На эту дружескую усмешку Алексей отнюдь не обиделся, он, как истинный мастер, лучше других сознавал свой творческий уровень, свое место в лирическом строю. Выражаясь по-армейски, он был правофланговым. В 1999, накануне его отъезда из Перми в Екатеринбург, состоялась наша беседа, опубликованная в «Звезде». Текст статьи имеет смысл привести дословно.

«Пермское радио сообщило, что Решетов переехал в Екатеринбург.

Долгое время Алексею пришлось «сидеть на двух стульях»: друзья и соратники, к которым прикипел душой, — в Перми, жена Тамара — в Екатеринбурге, и переехать ей в Пермь пока невозможно из-за болезни матери. Сам же поэт уже не в том возрасте, чтобы челноком сновать между городами.

Подумалось: с его отъездом ощутимо понизится уровень поэтической радиации, заставляющей светиться человеческие души. Большой талант не только своим творчеством, но даже

простым присутствием гонит обратно в потемки лезущие на люди пошлость, оголтело-кичливое графоманство, кичащееся черт знает как добытым писательским билетом.

И все же... Не мог Алексей уехать так, молчком, не попрощавшись с друзьями, с Пермью, не такой человек. Звоню на всякий случай домой, не надеясь на ответ, и вдруг — его голос и ворчливое:

— Чего вы торопитесь меня из Перми выпроводить? Радио сказало? Ну и соврало, как сарафанное. Приезжай, потолкуем...

Да, семейство Решетовых «сидит на чемоданах».

— Столкнулся с канителью оформления разных бумажек, — сетует Алексей Леонидович. — Так муторно ходить по кабинетам, выстаивать долгие очереди перед чиновными дверями. Знал бы, так бы все пустил на самотек, сидел и занимался своим делом — над рифмой корпел. Ну, да это не главное, а вот, посмотри, только что прислали из издательства сигнальный экземпляр.

Беру в руки новый сборник стихов Решетова «Не плачьте обо мне», изданный в Красноярске в серии «Поэты свинцового века». Серьезное и очень теплое предисловие, написанное Виктором Астафьевым, прекрасная решетовская лирика, многие знакомые поллюбившиеся стихи.

— Это что, избранные вещи?

— Не совсем. Там восемьдесят новых стихотворений. Вообще я очень благодарен Виктору Петровичу и Марии Семеновне Астафьевым, в ножки им надо поклониться. Ведь здоровье-то у них не ахти, а вот — всячески способствовали изданию.

— Странное название: «Не плачьте обо мне»...

— Так это строка из библейского текста. А серию я бы назвал иначе, был золотой век литературы, был серебряный, Блок обозначил девятнадцатый век как железный. А двадцатый — не свинцовый все же, а скорее високосный век. И в конце его в России поэзия почти умерла. Вот мы на днях вспоминали... Среди песенных поэтов в недавнем прошлом звучали Окуджава, Высоцкий... Назови кого-нибудь из нынешних, работающих в этом жанре...

Или вспомни, как всколыхнули в шестидесятые годы всю читающую Россию Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина. Пусть их сейчас почти не слышно, однако попытайся опять-таки назвать имена сегодняшних поэтических властителей

дум. Ага, никого... По крайней мере, так могут заявить завтрашние историки поэзии. Неправда это: просто публицистика ушла глубже в лирику. А посему:

Тот, кто вечной славы ищет,
Возомнив, что он пророк,
Не посмеет, не освищет
Наших выстраданных строк.

— Алексей, все же давай проясним вопрос с твоим отъездом.

— А что прояснять-то? С Прикамьем расставаться совсем я не намерен. Я теперь жалею, что в свое время уехал из Березников. В Пермь-то перебрался лишь потому, что здесь жили великолепные Лев Давыдычев, Владимир Радкевич. Они из жизни ушли. А мне надо возвращаться на родину, в Березники, к родным могилам. Возможно, придется дать кругалю через Екатеринбург. Окончательно еще не решил.

— Но из Перми-то уезжаешь. Что бы ты хотел сказать остающимся? Ну хотя бы как поэтический мэтр?

— Меня завалили книжками молодые поэты. Им бы надо избавляться от убийственного косноязычия, поскольку графоманство идет рядышком с безграмотностью. Стиль и орфография ужасны. Вспоминаю, как я работал на калийной шахте бригадиром, и был у нас на солемельнице один работяга. Сделал прогул и написал такую объяснительную: «Купили мы тремо, решили его омыть, после чего ночевал в вытрезвилке. Вилицов». Когда полуграмотный калийщик пишет тремо вместо «трюмо» — это смешно, а когда начинающий поэт выдает такие же перлы — печально.

— Что тебя сейчас больше всего тревожит?

— Время бездуховности, насаждающейся сверху. Когда президент грозно вопрошает «Шта?», изображая из себя самодержца всея Руси, я пытаюсь понять, кто дергает его за ниточки, кто кукловод. Я тебе никогда не говорил, что мой покойный брат учился в Березниках в одной с Ельциным Пушкинской школе, у одной учительницы? Так вот, и отца Ельцина мы знали — прорабом был, с зеками работал, порядочный, честный человек. А сынок, по-моему, зомбирован. Вот потому и думаю о кукловодах.

Нас всех тоже пытаются зомбировать, вбивают в башку идею о главенстве доллара, материи над духом. А дух первичен: даже в военные и послевоенные, тяжкие годы люди выжили на духовности. Недавно написал стихи о той лагерной поре.

Было время — люди мерли,
Каждый третий не дышал.
Но у многих Ванька Мокрый
Подоконник украшал.
Из-под минного завала,
Из дырявого хребта
Поднималась, возникала
Неземная красота.
Даже пьяненький мазила
Жить пытался для людей,
И свинцовые белила
Не жалел для лебедей.
И девчонки-малолетки
Не жалели пятака
На помаду и танкетки
Вместо хлебного куска.
И старухи у параши,
Только стихнет стук сапог,
Вспоминали «Отче наш» и
Северянинский стишок.

— Можно считать это стихотворение подарком уезжающего из Перми поэта жителям Прикамья?

— Как пожелание беречь живую душу — да! Чтобы, как говорил мне маститый литературный критик в пору поэтического начала, когда я еще был работягой, «на носу — солидол, на душе Вертинский, а в сердце — любовь к правде и России».

Хотя статья называлась «Не плачьте обо мне», было горько. Обнявшись с Алексеем перед его отъездом, я вдруг остро ощутил, что это объятие с лучшим лириком России может оказаться впрямь прощальным. Увы, предчувствие не обмануло. Уехав в творческую командировку, я не смог проститься с умершим, побывать на кремации в Екатеринбурге, на кладбище в Березниках, где рядышком нашли упокоение Ольга Александровна, Бетал, Нина Вадимовна и Алексей. Не хочу, да и не могу представить Алексея Решетова мертвым. Славословия ушедшим, по его же образному выражению, им нужны как после ужина горчица. Есть у Алексея пронзительные стихи, написанные после смерти Нины Вадимовны:

Побывал на своем пепелище.
Никого, ничего уже там.
Только ветер по комнате рыщет,
Да висят пауки по углам.

Только сорные травы упрямо
Поднялись на могилке родной.
И шепчу я, как маленький:
— Мама,
Приходи поскорее за мной.

Соратник, тот самый, «из черного теста, из пепла войны», достиг-таки материнского причала. Верю, что встретили его там хорошо, и навсегда он пребудет дорог нам, потому что в убийственной юдоли поэта не предал ни правды, ни друга.



СЛОВО О ПОЭТЕ

Вот вижу его скромную квартиру в рудничном микрорайоне. В ней, кроме книг, рукописей, стола, стульев и кровати, ничего нет.

Штрих

И как же любил он эту квартиру! Помню, в Березниках было какое-то большое торжество. Алексей тогда уже жил в Перми, но жилплощадь в Березниках оставалась за ним. Поэта, конечно же, пригласили на праздник, забронировали номер в гостинице. Но Алексей пошел ночевать домой. И мы с ним всю ночь просидели в пустой квартире, на голом полу. А говорить с ним было о чем и ни одну ночь.

Вспоминается случай, в котором довольно ярко проявился замечательный решетовский такт. Пришел он как-то к нам в «Березниковский рабочий», попросил отпечатать на машинке написанную им рекомендацию Владимиру Михайлюку в Союз писателей. Алексей прочитал печатный текст, нахмурился.

— У тебя ведь на радио машинистка знакомая? — спросил он. — Надо бы еще один экземпляр отпечатать.

— Так здесь и напечатай, тебе хоть десять экземпляров с удовольствием напечатаем.

С трудом я его убедил, чтобы отдал он мне рукопись.

Образы

Любил поэт собирать грибы, хотя видел крайне плохо. Ориентировался он в лесу своеобразно. Если я, таежник, чую дорожку, даже кочки, то все они воспринимались им как образы. Когда мы возвращались к месту сбора, он говорил: «Да, мы правильно идем: вон куст — лисий хвост, вон кочка — белый ежик».

Чаще всего он собирал грибы возле деревни Дурино. Эти места хорошо знает друг Алексея Леонидовича, журналист и поэт Павел Петухов. Пришли они однажды сюда в грибную пору. Корзины быстро наполнялись. Алексей сверху положил в свою корзину мухоморы. Тогда еще была жива его бабушка и лечила мухоморами больные ноги.

И вот, шли два поэта по деревне с полными ведрами мухоморов. Люди на остановке со смеху покатывались. Павел предложил прикрыть ведро. «Зачем? — возразил Алексей. — С меня не убудет, а видишь, как весело»

Из растений больше всего он любил рябину. И ягоды рябины обожал. Как-то приехал он из Перми, и мы решили сходить на могилку к бабушке. Посидели, помянули.

— Съездить бы нам с тобой в лес, — сказал Алексей, — нарвали бы рябины...

Я ответил, что совсем необязательно ездить, возле могил рябины — море.

— Отсюда, от них ничего не берут, — твердо сказал он.

Вера

Алексей был верующим, православным. Мне кажется, он верил всегда, только никогда это не рекламировал и не крестился перед телекамерами. Веру он считал делом глубоко личным. Верил он, очевидно, и в загробную жизнь. На похоронах своей родственницы он говорил мне: «Невозможно себе представить, что человек творил, растил детей, любил и вдруг — ничего от него не осталось. Такого быть не может».

Из разговора с Алексеем о смерти и смысле жизни я понял, что смерти он не боится. Он утверждал, что к этому надо относиться философски. Знал ли Алексей, что он большой поэт? Знал. Однажды, он был в глубокой депрессии. Подошли к его дому...

— Когда я умру, здесь прикрепят мемориальную доску. Интересно, сколько она стоит?

У поэта были все основания ненавидеть советскую власть. Его бабушка, княжна, осталась за чертой, бедности. Отец, преданный делу революции, был расстрелян в 1937-м году. Но поэт не злобствовал. О переезде за границу не могло быть и речи. Даже переезд в Пермь он воспринял болезненно. В подтверждение тому открытка, которой он поздравил меня с Новым 1986-м годом.

«Милый Юля, дорогой и незабвенный! Будь счастлив в Новом году, живи долго, жене твоей и дочери Индире радости, исполнения желаний. Как хочется с тобою повстречаться, как много я потерял без Березников! Ничего, ничего, старик. Будет какая-то возможность, приезжай, вспомним милое старое. Поклонись за меня в новогодние дни милому нашему городу. Спасибо тебе за искреннюю, непритворную дружбу, которая здесь, на чужбине, стала мне еще дороже. Твой Лешка Решетов».

Чужбина

Да, Пермь для него была чужбиной. Стал ли Екатеринбург родным? К сожалению, съездить туда мне так и не довелось. А когда он приезжал в Березники, у него не было свободной минуты: вечно официальные встречи. Но больше всего мешали новоявленные друзья, буквально осаждавшие его.

— Собраться бы нам — старым приятелям за бочкой рома, — мечтательно сказал он мне в один из приездов в Березники.

Автографы

Автографов давал он множество. Казалось, он дает их охотно. На самом деле, эта процедура ему не нравилась. Поступил к нам в «Березниковский рабочий» новый сотрудник. Видит, в моем кабинете сам Решетов. За пуговицу меня взял, познакомь, говорит, с поэтом, может, автограф даст. Леша, конечно, поставил свою подпись в книжке, а почитатель его расшаркивается. Когда он вышел, Леша мне сказал, чтобы я больше не водил к нему «козлов».

Критика

Литературных критиков Алексей не любил. Слишком много, по его мнению, губят они молодых талантов. А вот к пародиям относился доброжелательно. Был у меня друг, известный в Свердловске пародист Анатолий Анищенко. Попали ему в руки стихи Решетова, далеко не самые лучшие. И вот в сборнике Валерия Анищенко «Всяк по-своему» появилась пародия на Решетова. Позже, когда Валерий прочитал несколько сбор-

ников Решетова, схватился за голову: кого он пародировал? Большое у него появилось желание встретиться с Алексеем и сказать ему добрые слова. Но встреча так и не состоялась. Валера попросил меня от его имени извиниться перед Решетовым за пародию.

Выслушав, Алексей сказал:

— А я-то думал, что он принципиальный сатирик...

Я не знаю, как поэт писал стихи. Кухня их возникновения мне неведома.

И опять — словно снег — черновик,
И перо — словно посох скрипучий.
И рука — как безумный старик,
И свеча — как звезда из-за тучи.

Вот так рассказывает поэт в стихах о творческом процессе. Знаю только, что стихи им не писались экспромтом (возможно, отдельные были). Я видел черновики, вовсе не похожие на снег. Они сплошь в почеркушках.

Суровую судьбу преподнесла жизнь Алексею Решетову. Выдержал он и испытание славой. По характеру все-таки он был борцом и оптимистом.

Поэт писал: «Важно то, что мы не ропщем на суровую судьбу».

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ И МУЗЫКА

О б Алексее Решетове написано и сказано не так уж и мало, и еще немало, надеюсь, будет сказано. И все же я возьму на себя смелость приоткрыть то, о чем еще не говорилось и никогда не будет сказано много в силу специфически сложившегося окружения Алексея Леонидовича. Знающим его людям известно, до какой степени он не был человеком публичным; как он тяготился общественным вниманием к себе, и как трудно он допускал до близости к себе. Поэтому его окружение никогда не было многочисленным. Еще меньше среди его знакомых было музыкантов, а тем более ставших близкими ему по жизни. И если уж мне довелось последние девять лет быть рядом с Алексеем, то и поделюсь той частью моих наблюдений, размышлений и постижений, которые идут от особо направленного мною интереса к нему как от музыканта.

Мне еще далеко до той храброй самоуверенности, которая позволила бы говорить: я в Решетове все понял, постиг и оценил. И все же...

Впервые я услышал стихи Алексея Решетова тому назад более 30 лет. Был покорен ими сразу и безоглядно. Я еще не знал тогда, какое место он занимал в литературном мире, каков был вес его поэтического имени. Я просто влюбился в эту дивную поэзию, и как школьник, увлекшийся коллекционированием, стал собирать стихи Решетова где мог. Главным образом тогда это были вырезки из газет «Березниковский рабочий» и пермская «Звезда». Уже тогда я почувствовал, какая бездна музыки в них заключена. Уже тогда я задавался вопросом и до сих пор задаю себе: куда смотрят композиторы? Ниже я попробую ответить на него.

В 1993 году мой старинный друг Тамара Павловна Катаева, ставшая к этому времени женой Алексея Решетова, познакомилась и сблизилась с нами. Так открылась для меня возможность не только через стихи, но и через непосредственное общение с ним заглянуть во внутренний мир этой необыкновенной души. Мне, конечно, было интересно узнать, как сопрягается его художническая и вообще человеческая жизнь с музыкой. Но сразу осязательно почувствовать эту связь было очень трудно, так как Алеша не считал себя вправе высказываться о музыкальных явлениях, произведениях, музыкантах и композиторах, с самого начала наших контактов признавшись: «Я в музыке ничего не понимаю». В дальнейшем я понял, что это как бы и так, только далеко и далеко не совсем так. У Алексея Решетова действительно нет широкой музыкальной эрудиции, основательно разработанного музыкально-восприимчивого слуха и слышанья. Не слишком богат арсенал пережитых впечатлений, хотя с чем сравнивать — богат он или не богат? И все же по большому счету это так. Но...

Шаг за шагом я постепенно обнаруживал, до какой же степени в Решетове живет безошибочное чутье, позволяющее отделить музыку, содержащую настоящую красоту, от бесцветной посредственности, не говоря уж о безобразиях, вызывавших в нем судорожные корчи, творимых музыкальными оборотнями, которые под видом сверкающей «звездности» вкармливают в ненаполненные души прежде всего молодых музыкальную убогость и гниль, пользуясь тем, что этому поколению не довелось подышать воздухом песенного цветения 30-х — 40-х — 50-х — 60-х и отчасти 70-х годов.

Углубляясь в это открытие, на еще более тонком, закрытом для неопытного слуха уровне, я поразились: с какой эстетической осмысленностью Алеша реагировал на музыкальный звук вообще; на различные изгибы музыкально-звуковых комбинаций! Вот когда я воскликнул про себя: какой благодарный для музыкального педагога это был бы материал (пусть простится мне эта казенная терминология)!

Но пожалуй, самым неожиданным для меня открытием стало поразительное у Алексея чувство музыкальной формы. Вообще у музыкантов это чувство специально развивают в процессе обучения. И я-то знаю, как трудно дается развитие этой способности, которая у большого множества даже зрелых музыкантов слишком явственно сохраняет следы ущербности. Объясню на примере.

К тому времени, когда мы с Алексеем познакомились, у меня был написан на его стихи — «Ты одна перед Богом ходатай...» — бесхитростный полуроманс-полупесня. В стихотворении две строфы, поэтому музыка, повторяясь проводится дважды. Эту вещь я с дочкой Олей записал на кассету и предложил Алеше прослушать. Через некоторое время я снова навестил своих друзей — Тамару и Алешу. И вот тут Алеша мне сообщил, что он к двум имеющимся строфам этого стихотворения присочинил еще одну, размещая ее между 1-й и 2-й строфами. Объяснил он свое решение так: двукратное проведение этой музыки недостаточно; нужно еще одно проведение. В глубине души я и сам это понимал, но не смел просить об этом Алексея. Постараюсь объяснить, в чем тут дело.

Возьмем камертон. Если по его вершине ударить, то он в течение какого-то времени будет звучать. От того, с какой силой будет произведен удар, — то есть какой заряд вибрирующей энергии будет ему передан — будет зависеть протяженность звучания — то есть время разряда. Нечто подобное происходит в музыке. Музыкальная тема по мере своего формирования накапливает некий энергетический заряд. Сколько нужно времени, чтобы самораскрыться до исчерпания этому заряду (то есть как бы «разрядиться»), зависит от начального запаса музыкальной энергоемкости. Если нарушается условие соответствия звучащего времени с начальным зарядом музыкальной энергии, вот тогда и возникают либо скучные длинноты, либо досадное ощущение незавершенности, прерванности высказывания, недопетости. И я до сих пор пребываю в удивлении, откуда у Алексея, с его, казалось бы, нетренированным слухом, такая безупречная реакция на согласованность, или наоборот, на рассогласованность элементов музыкальной конструкции.

Можно рассказать о том, как под воздействием музыки у Алексея разглаживались морщины на лице, возвращая почти детское очарование его выражению и улыбке, так не часто посещавшую его в жизни; о том, с какой возвышающей трепетностью и мгновенной самоорганизацией внимания он реагировал на колокольные звучания в музыке — как цитированные натуралистически, так и ассоциативно; или о том, с какой поощряющей теплотой Алеша зажигал свою жену Тамару на свободные импровизации, разделяя вместе с ней наслаждение творчеством и еще о многом другом.

Искренне считал себя отодвинутым на обочину музыкального искусства, — и в этом Алеша не кокетничал. Он вообще

не способен был на фальшь — тем не менее испытывал глубочайший пиетет к музыке и музыкантам, объясняя это так. По его внутреннему убеждению первичным было не «слово» (вспомним Библию: «В начале было Слово...»), а музыка. И по его же внутреннему убеждению, музыка — это единственный язык, на котором можно общаться с Богом. Это нужно пояснить. Алексей Решетов был — это все знают — человеком верующим в религиозном понимании. Но его религиозность — не та крикливая, самолюбующаяся, трибунная, воинствующая, которая нынче в моде, а тихая, ненавязчивая, редко вообще себя обозначающая, а потому особо сокровенная. Бог для него высшее, непостижимое воплощение совершенства, противопоставленного нашему трагическому, дисгармонично устроенному миру. Устремленность к этому совершенству способна наполнить смыслом человеческую жизнь. И вот найти язык, способный осуществить это устремление, наверное, мечта каждого художника. И как мне кажется, Алексей никогда не был собою доволен, потому что, обладая гениальным чувством совершенства, он не ощущал в себе найденность этого языка. Думаю, что по этой причине он безнадежно завидовал музыкантам, — он сам не раз это говорил, — полагая, что именно они, счастливчики, обрели этот дар. Не может не тронуть этот наивный, но действительно красивый взгляд на музыку.

Будучи человеком абсолютно не тщеславным, к тому же, не склонным к широкой дружественности, Алексей никогда не предпринимал попыток расширить круг своего общения, вовлекая в него музыкантов и композиторов. Да и вообще ничего не делал, чтобы расширить зону своей известности. Потому подавляющее большинство музыкантов за пределами Пермской области даже не знало о существовании такого уникального поэта. Ведь что уж там говорить, во множестве примерах композиторская инициатива стимулируется самими поэтами, хотя, конечно, обратных примеров не меньше. Так возникают творческие союзы: поэт — композитор. В случае же с Алексеем Решетовым образовался противоестественный вакуум. Редкие прорывы через этот вакуум — как это было с Е. Рушанским из Ленинграда, или с Вл. Кобекиным из Свердловска — погоды, к сожалению, не изменили.

Но мне все-таки верится, что время музыкального переоткрытия поэзии Алексея Леонидовича Решетова придет непременно.

УШЕЛ... И НЕ С КЕМ ГОВОРИТЬ

«**В** безмолвьи твоего ухода упрек невысказанный есть»... Эти строки Бориса Пастернака, посвященные Марине Цветаевой, вполне можно отнести и к Алексею Леонидовичу Решетову. Вот его самого стихи из почти предсмертных, необработанных; привожу их с позволения вдовы Тамары Павловны. Стихи, по-моему, хороши и к месту:

По Господней воле
Я не только здесь,
В этом чистом поле.
Я и в небе есть.

Несмотря на кажущуюся определенность, я не думаю, что эти строки рождены предощущением скорой смерти. Собственная смерть для Алексея Решетова скорее всего была в ее трагический миг большой неожиданностью, несмотря на его продолжительную и тяжелую болезнь (бронхиальную астму). Незадолго до этого печального происшествия я несколько раз разговаривал с ним по телефону, получил от него письмо — ни одного намека на предчувствие скорой развязки. Наоборот. Судите сами (из последнего письма): *«Юра, дорогой! Очень рады, что тебя наши славные медики починили, отремонтировали (Я прошел через шунтирование. — Ю. М.), даст Бог, мы еще проживем на этом свете. И по фужерчику выпьем»*. Письмо датировано вторым сентября 2002 года, 29 сентября его не стало.

...Наша первая встреча произошла в редакции газеты «Безрениковский рабочий». Алексей уже выпустил книжку стихотворений «Нежность» (1960 год), на подходе была книжка прозы «Зернышки спелых яблок». Затащил меня в редакцию Саша Медведев (поэт, сейчас живет в Москве). Признаюсь, с большим трудом затащил.

Несмотря на только еще начинающий возникать ореол известности Алексея в Березниках, доминировал на литобъединении не он, а его друг Виктор Болотов, резкие оценки и жесты которого по поводу стихотворений членов «лито», меня тогда обескуражили и вызвали чувство неприязни. Только спустя время, уже после службы Виктора на Тихоокеанском флоте, я понял, насколько он сам был ранимым, незащищенным человеком. Уже когда Витя с женой Верой Ефимовной Нестеровой жил в Перми, я, не расставаясь в ту пору с гитарой, бывал у них в гостях, наши беседы и дружеские воздействия заканчивались моими песнями. Виктор частенько просил спеть романс на стихи Ф. Тютчева «Я встретил вас — и все былое...», и всегда, слушая, плакал... Это были слезы обо всем невозможном и не случившемся в его жизни. Резкое лицо, ключий взгляд, скрежет зубов и катанье бутылок под столом (была у него такая привычка) — все это было всего лишь слабым его щитом от наседающего времени... В конце концов Виктор не выдержал напора душевных передраг.

В ту давнюю встречу в «лито» в Березниках Алексей Решетов был, в отличие от Виктора, немногословен, больше слушал, делая изредка замечания. Я и в последующие годы их дружбы замечал, что Алексей всегда уступал Виктору, отходя в тень.

Встреча в литобъединении для меня близким знакомством ни с Алексеем, ни с Виктором не закончилась. И принят в доме Решетовых-Павчинских я был не сразу. Но маленький город, объединяющая страсть к литературе сделали свое дело. Мало-помалу я стал бывать в доме 8, квартира 4, по улице Ленина. Это был красивый старый дом с аркой. Сколько всякого в нем и вокруг него происходило!.. Постепенно я познакомился с друзьями Алексея: Толей Акуловым, Костей Шестаковым, Чеховым. Позднее к нам присоединились Паша Петухов, Слава Божков. Но наши встречи с Алексеем чаще происходили все-таки на солемельнице первого рудоуправления, где он проработал около тридцати лет. Именно там мы, приходившие сюда повидаться, — Саша Медведев, Слава и я — читали Алексею свои новые стихи, и случалось, да простит нас Господь и начальство рудника, выпивали.

Потом возникла петуховская кухня, в которой мы просиживали ночи — я с гитарой на коленях — в жарких спорах о стихах, женщинах и о любви. И все же чаще мы, мальчишки, пишущие стихи, собирались отдельно от Решетова и Болото-

ва — триумвиратом: А. Медведев, С. Божков и я. Издавали свой устный журнал.

Время, несмотря на безденежье и даже откровенное нищество, было великолепное!

И тут возникла Вера Ефимовна Нестерова.

После окончания Закамского химико-механического техникума (какое совпадение — Алексей тоже закончил химико-механический техникум, только в Березниках) она приехала на практику в Березники. Жила в общежитии на улице Фрунзе, дом 20, где и я проживал в ту пору. У меня был приятель Юра Плишкин, гитарист, влюбленный в подругу Веры — Люцию; та в свою очередь рассказала ему о Vere, о том, что она пишет стихи. Так мы познакомились. Я в свой черед рассказал Vere об Алексее и она, преодолевая смущение, пошла к нему со своими стихами. Я предупредил ее, что в доме у Решетовых не очень-то принимают посторонних женщин. С ней, как ни странно, все обошлось...

А вот стихи, позднее посвященные Алексеем Vere:

Я встреч с тобой боюсь, а не разлук.
Разлуки нас с тобой не разлучают:
Во тьме ночей и путанице вьюг
Мои глаза твой профиль различают.

Думаю, все творчество Алексея тех лет прошло под впечатлением от встречи с Верой Нестеровой, вскоре оказавшейся роковой для них обоих. Вера выбрала Виктора.

В это время в Березниках собрались некогда гонимые властями люди со всего Союза. Далеко не ординарные. Для нас с Сашей Медведевым, да и для Болотова и Решетова так и остался, например, загадкой человек по фамилии Фирстов — Юрий Фирстов. Инженер с химического завода. Жил он, по тем временам обеспеченно, в общежитии. Витя Болотов часто рассказывал, с нескрываемым детским удивлением, про то, как их с Алексеем Фирстов угощал в кафе «Отдых» коньяком и шоколадом. Мы же с Сашей просто не вылезали от Фирстова. Тот писал стихи, стол у него всегда был накрыт, но нам интересен он был не только этим. У него были пластинки и магнитные ленты со старым Лещенко, Вертинским, Окуджавой, Козиным. Он и сам немного играл на гитаре. Я уж не говорю о сборниках поэтов, редко или совсем в это время не издаваемых, он их нам давал читать.

В общем Фирстов (впоследствии Александр Медведев, уже живя в Москве, выяснил, что это была не настоящая его фамилия) — был загадочен, одинок и, безусловно, человек высокой культуры. Как неожиданно он появился в нашей жизни, так внезапно и исчез.

Новый виток в наших отношениях с Алексеем возник, когда он познакомил меня с Львом Ивановичем Давыдычевым. Было это в году 1965, в сентябре. Лев Иванович, Владимир Михайлюк и Алексей Решетов были приглашены на встречу журналистов города с актерами березниковского драмтеатра, в кафе «Березка». Мне было тогда 18 лет, я писал песни и пел их — по тем временам редкое занятие. Алексей рассказал обо мне Льву Ивановичу. Так я оказался в «Березке» за их столиком, с гитарой.

Для меня тот вечер оказался более чем памятным... Я встретил здесь свою будущую жену — Надежду Александровну Ворожцову, которая родила мне двух прекрасных дочек — Катю и Настю. В последнем письме А. Решетова ко мне — все-таки судьба ходит кругами! — он написал о Насте: *«Настя — русская красавица на современный лад, чем-то неуловимо приятным на тебя похожа, простотой, бесхитростностью, что ли»*. Дело в том, что Настя, живя в Екатеринбурге, заходила к Алексею с Тамарой по моей просьбе. Отсюда и эта строчка в письме. Старшую мою дочь, Екатерину, Алексей и Тамара знали давно, а Тамара и вообще была первой ее учительницей музыки. Анастасию, уже взрослую, они увидели впервые. Алексей вообще всегда с теплотой отзывался о моих домочадцах, особенно о Маргарите Владимировне, теще, которой нынче уже 92 года. Да вот из того же последнего письма:

«Храни тебя Бог, дружище! Поклон Наде и всем твоим домочадцам. Обнимаю крепко. Твой Леша Р. и Тамара К.

Сонечка ваша не пошла ли в школу?

Как быстро летит время!»

...Соня, конечно, пошла в школу, а вот Алексея нет. Ушел... и не с кем говорить.

...Я с большим уважением относился к родным Алексея. Это и понятно. Такие судьбы!

Несколько слов о его бабушке и матери. Ольга Александровна Павчинская (бабушка) была очень живым для своих лет человеком. Запомнилась она мне с горящим взором, часто с экспрессией в движениях, с рассказами о гусарах, о былых временах. Мать Нина Вадимовна Решетова-Павчинская была, на-

против, замкнутой, ушедшей в себя. Я всегда дивился стойкости Нины Вадимовны. Казалось, она внутренне от всего пережитого окаменела. Я и сейчас думаю, что она никогда не плакала — имея в виду годы нашего знакомства, когда почти все большие горести были уже позади.

Но интересовалась она всем и даже любила некоторые мои песни.

...Вечер в «Березке» продолжался долго. Я пел на нем и Окуджаву, и свои песни. Потом мы — Лев Иванович, Михайлюк, Леша и я поехали на Круглый Рудник, в деревню, где тогда жил и работал проходчиком шахтных стволов Володя Михайлюк. Здесь продолжили пить и есть до утра. В эту ночь В. Михайлюк и Л. Давыдычев сообща сочинили мелодию на стихи А. Решетова «Ты слышишь, мама, я пришел». Сейчас Алеша действительно ушел к своей маме, но нам, его друзьям, от этого еще грустнее...

...Лев Иванович пригласил меня в Пермь пожить у него дома, что вскоре и произошло.

Начался пермский период моей жизни, длившийся не долго. Давыдычев познакомил меня со всей братией, в том числе и с журналистами. Прекрасная была атмосфера в редакции газеты «Молодая гвардия», где тогда работали Володя Михайлюк, Ирина Христолюбова, Виктор Соснин, Юлиан Надеждин и многие другие. Можно было во время рабочего дня запросто распить бутылку сухого, сыграть на гитаре, что мы и делали.

В 1982 году Алексей переехал в Пермь. Видеться мы стали немного.

Ну и напоследок самая трудная для меня тема, наши личные отношения с Алексеем Леонидовичем. После стольких лет знакомства и дружбы (39) возникает сам собой вопрос, особенно если учесть, что Алексей старше меня на девять лет, был ли он моим учителем в стихотворчестве?

Скорее всего, нет. Мои стихи основаны совсем на других принципах, чем у Алексея. Но общение с ним, часто тяжелое, — человек он был непростой, — давало лично мне много. Поначалу я приносил ему стихи, и он делал основательные пометки на полях рукописи. Потом я стал делать это все реже. Было неудобно его отвлекать — прочтение, и тем более рецензирование не простое занятие, если производится на совесть. Зато наши совместные пирушки, бессонные ночи у Павла Петухова, у самого Алексея, у меня и были тем кладезем, из которо-

го мы черпали науку стихотворчества, учась друг у друга. Алексей как никто среди нас походил на поэта внешне, особенно в молодости: большие глаза, тонкая шея, узкое лицо — все вместе говорило об утонченности его натуры... которой приходилось, однако, вкалывать кувалдой на солемельнице. Но главное в Алексее все же было — его душа, вся в сомнениях и надрыве, хотя внешне это было не заметно. К своей жизненной неустроенности, которую со стороны не было видно — я имею в виду поэтическую судьбу — он постоянно добавлял все новые и новые испытания. Думаю, без этих его экспериментов над своей душой мы бы сейчас не имели того, что имеем — лирику Решетова

Волею обстоятельств я оказался причастен и к личной жизни Алексея. С обеими главными женщинами его жизни — Верой и Тamarой — познакомил его я. Вообще женщина в творчестве Алексея Решетова играет заглавную роль. Но для написания более обстоятельных воспоминаний нужно, чтобы прошло время, улеглась боль потери, и только тогда можно будет подробнее и спокойнее изложить суть былого.

Судьба Алексея Решетова логически подошла к концу, хотя эта логика и не укладывается пока в сознании. Но жизнь поэзии Решетова продолжается. *Scripta manent* — написанное остается.

24 октября 2002 г. Березники.

ТЫ РАНО ОТКРЫЛ ЛИ БО...

Наше знакомство случилось в издательстве, наверное, году так в 1980... Мой муж тогда работал в отделе художественной литературы и рассказывал о Решетове: один глаз у него, как у Гомера, внешность гения и прочее. И вот я впервые увидела Лешу. Он был в синем бархатном пиджаке, печальный: потерял собаку. Левый глаз совсем не как у Гомера, а лишь с чуть заметной косиной, которая так шла поэту! Внешний облик совпал (у меня) с его волшебными стихами. Но главное для меня: как человек разговаривает. И Лешина манера речи сразу сказала мне о нем очень много!!! Он тихим голосом говорил так, словно ДОВЕРЯЛ тебе каждое слово, передавая его из рук в руки!

Я рассказала ему, как моя учительница исцелилась благодаря его поэме «Хозяйка маков». Она лежала в больнице со страшным диагнозом (рассеянный склероз). И по радио услышала эту вещь. Поэма ей очень понравилась! И Анфиса Дмитриевна решила: если смогу выучить наизусть, значит, в диагнозе ошибка. И выучила! Поверила в себя, постепенно встала на ноги. Леша в ответ рассказал: «Хозяйку маков» поэт из Сибири опубликовал под своим именем, полагая, что до Урала сие не дойдет. Сибиряк изменил всего несколько строк, «но вот в чем дело – одну строку сделал лучше, чем у меня!» (и так рад был, что вор — не на 100% вор)...

Леша был холост, и я, конечно, решила сосватать его (а кого я не сватала!) с одной прекрасной поэтессой из другого города. Но не получилось. Зато получилась дружба, полная его парадоксальных заявлений и шуток. На дне рождения мужа он заявил (еще трезвый): «Спасибо тебе, Нинка, что Славку родила!» Когда гонорары стали символическими, я пожаловалась

ему, что за роман дали всего двести. «Слушай, Нин, у нас тут в соседнем гастрономе вино продают за 270, ты бы добавила да отметила с нами».

А женился он без моей помощи, был счастлив, я видела его вместе с Тamarой однажды, но сразу поняла, что Леше повезло с женой (у них рифмовались глаза — излучали любовь)!

Мои дети знают наизусть его стихотворение «Мы в детстве были много откровенней», а Даша еще и перечитывала без конца Лешину прозу («Зернышки спелых яблок»). В нашей семье вообще многие его строчки бытовали как пословицы. Если читаем заузного критика, то в конце цитируем — как бы сейчас сказали, культовую — его вещь: «Дельфины» («Уже почти до половины мы понимаем вашу речь»).

Леша был щедр! Считал, что читатель ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ поэта, потому что может выше оценить его стихи, чем сам автор (я думаю: они на равных). Еще он поражал глубокой образованностью, хотя закончил всего только техникум. Тут Бродский прав: провинция способствует великому искусству, потому что имеет место ТОСКА ПО МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ (выделено мной — Н. Г.).

Когда Леша признался, что рано открыл Ли Бо, и тот сильно повлиял на него, я сразу поняла, откуда эта прозрачность и акварельность в его творчестве, а то все думала: вроде, пушкинская линия, но все-таки и нет, что-то тут есть еще... Мир на самом деле более един, чем мы думаем. В Березниках молодой Решетов читал Ли Бо, и просторы отступили словно...

Ты рано открыл Ли Бо,
Писал стихи либо
Работал в шахте, пил вино,
Потому что оно
Уносило 37 год,
Полный кровавых невзгод...

О 37 годе все знают из стихов Леша. Он до конца жизни думал о расстрелянном отце, аресте матери, писал об этом... Да и ВСЯ наша страна до сих пор расхлебывает последствия этого страшного года, а точнее — последствия 1917-го...

Когда Леша работал литконсультантом, он дарил нам новые дружбы. Прочтет талантливые стихи, сразу знакомит нас с

этим человеком. Так мы подружились с Наташей Гончаровой и Инной Мильштейн, за что ему огромное спасибо!

Однажды у меня с Лешей произошла странная история. Я звонила в московские журналы из его кабинета. Леша куда-то выходил, входил, нервничал. Вдруг вбегает с радостным криком: «Начальство ушло!» И закрывает дверь изнутри (На ключ? Точно не помню). После чего... бросается мне в колени, начинает раздвигать мою длинную юбку, в которой окончательно запутывается. Я в шоке! Что за бред?! Ведь он дружит с моим мужем! Но оказалось: под стулом спрятан портфель, в котором бутылка вина. Выпить нужно так СРОЧНО, что секунды нет на объяснение или просьбу («Нина, отодвинься»). А было самое начало антиалкогольной кампании, то есть 1985 год, и глава союза строго запрещал употреблять, грозился уволить...

Когда я начала писать картины и всем их дарить, спросила у Леша: «Тебе букет или наивную икону, петушка или рыбусимвол Христа?» — «Слушай, а ты можешь написать мой портрет?». С радостью написала на толстой деревоплите и при встрече говорю: «Сохнет портрет». — «Ты голым меня изобразила?» Я подумала, что сие — его издевка над моей прозой, где в ту пору было много народно-смеховой культуры... Но вот мой друг Сеня Ваксман считает, что это не издевка, а проявление его чистого взгляда на наготу (сравни стихи Леша: «И вот мы выходим под снег на балкон — нагие, чтоб вновь удивиться»)... Не помню, где сейчас эта вещь (может, Леша уже уехал в Екатеринбург, а плита еще не высохла...).

Хотя Леша в последние годы не жил в Перми, для нас он оставался близким человеком и любимым поэтом. Мы с Володей Михайлюком часто говорили о его здоровье, с Сеней Ваксманом — о Лешиних стихах, в Германии на конференции я услышала из доклада Марины Абашевой: «Решетов заявляет: мне нужна только кухня, а где она находится... в Перми или Екатеринбурге, мне совершенно все равно».

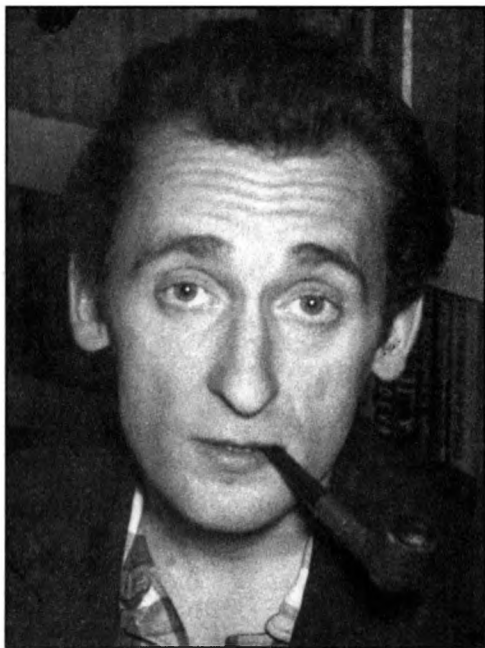
Недавно я давала интервью «Вопросам литературы», и вот прислали гранки: там, оказывается, в ответ на вопрос о литературной среде в Перми, так много я цитирую Решетова! А на самом деле: кто бы мы все здесь были без него-то?! Думала: пошлю ему в Екатеринбург этот номер, когда он выйдет... Не успела.

Позвонил Дима Ризов и сказал: «Решетов умер». В ту же ночь словно его Муза явилась:

Умер поэт, а Муза его
Нынче ко мне прилетела.
Просит немного — только всего,
Чтоб я его в рифму отпела,
Чтобы и просто, и высоко
Каждая строчка звучала.
Сам он сейчас далеко-далеко,
Где ни конца, ни начала.
Как он светил каждым своим
Синим стихотвореньем!
Бог ему сам очи затмил
Тихим блаженным успеньем.

Господи, упокой душу раба Божьего Алексея. Он верил в Тебя!!!

Алексей РЕШЕТОВ.
Березники.
Конец 1950-х годов.



Шахтер
Алексей РЕШЕТОВ.
Березники.
Конец 1950-х годов.



Прием в Союз писателей СССР.
1964 год, г. Пермь.



В окрестностях деревни Круглый Рудник:
проходчик шахтных створов Владимир МИХАЙЛЮК(справа)
и шахтер, пишущий стихи, Алексей РЕШЕТОВ. 1962 год.



Завораживающая вода, Круглый Рудник. 1962 год.



Березники. Конец 1960-х годов.



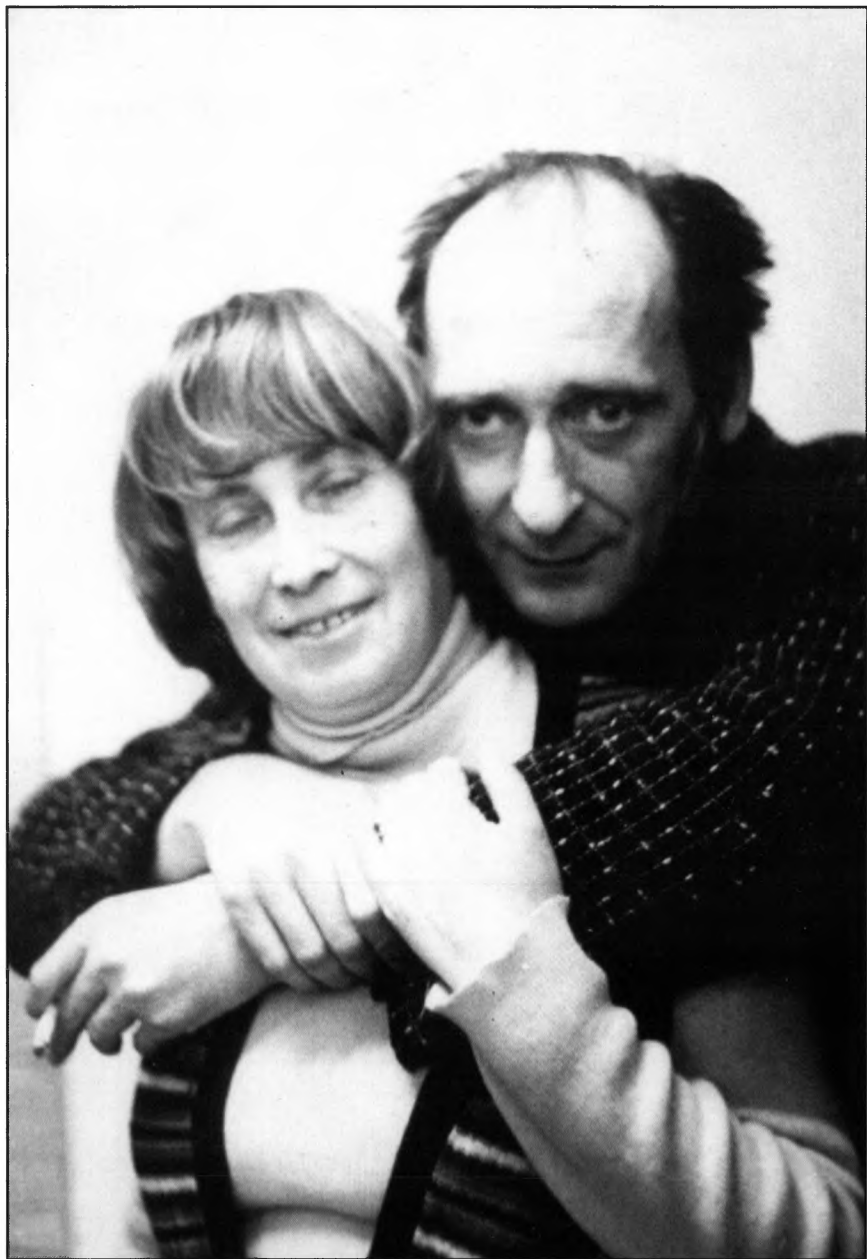
Алексей РЕШЕТОВ. Березники. Конец 1960-х.



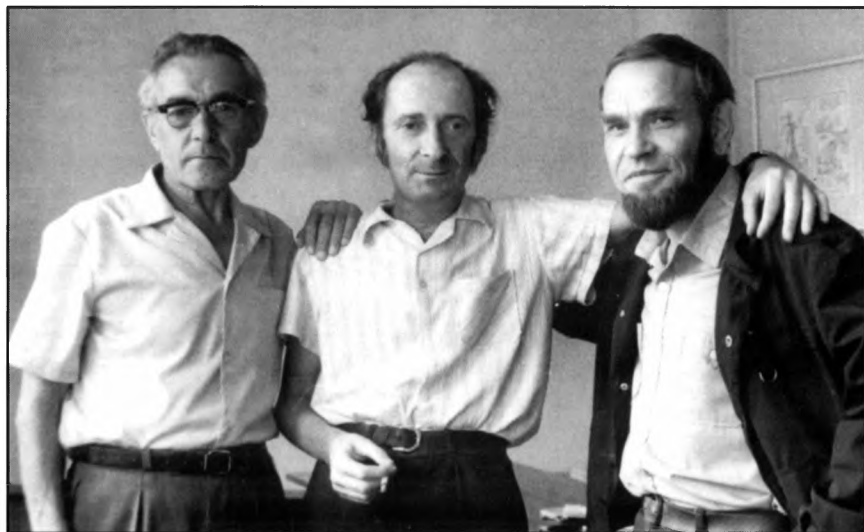
Слева направо: прозаик Лев ДАВЫДЫЧЕВ, поэт Алексей РЕШЕТОВ, любимица литературной Перми Ирина ХРИСТО-ЛЮБОВА. Пермь. Конец 1960-х годов.



Алексей РЕШЕТОВ. Пермь, начало 1970-х годов.



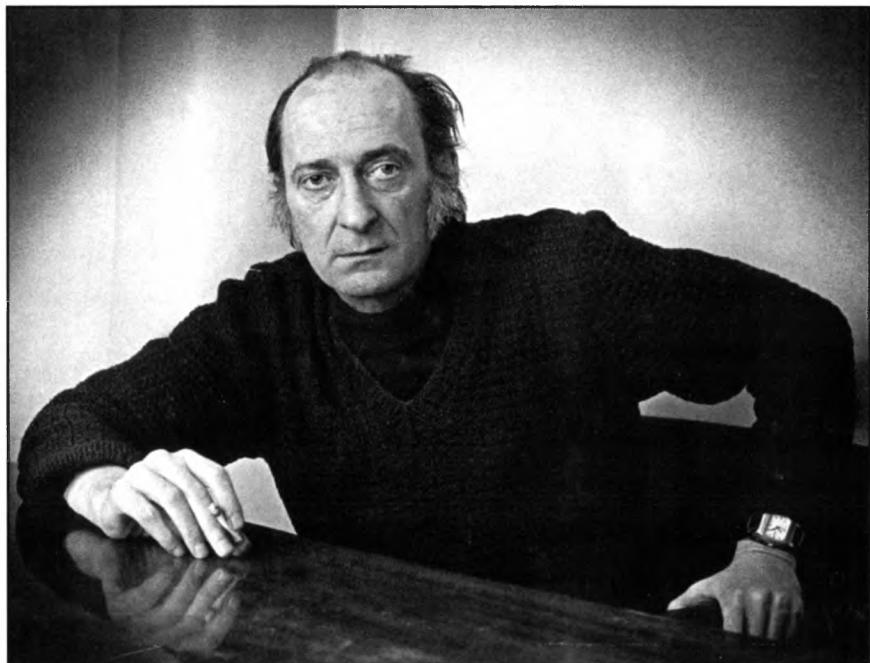
Редактор Пермского книжного издательства
Надежда ГАШЕВА и поэт Алексей РЕШЕТОВ.
Пермь. Начало 1970-х годов.



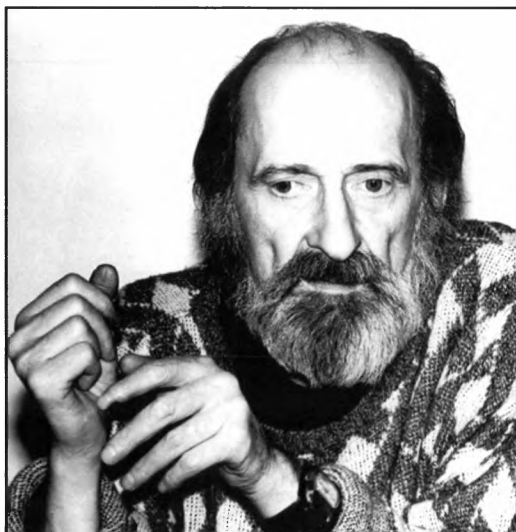
Слева направо: поэт-кунгуряк Константин МАМОНТОВ, поэт-березниковец Алексей РЕШЕТОВ, книжный график пермяк Николай ГОРБУНОВ. Середина 1970-х годов, г. Пермь.



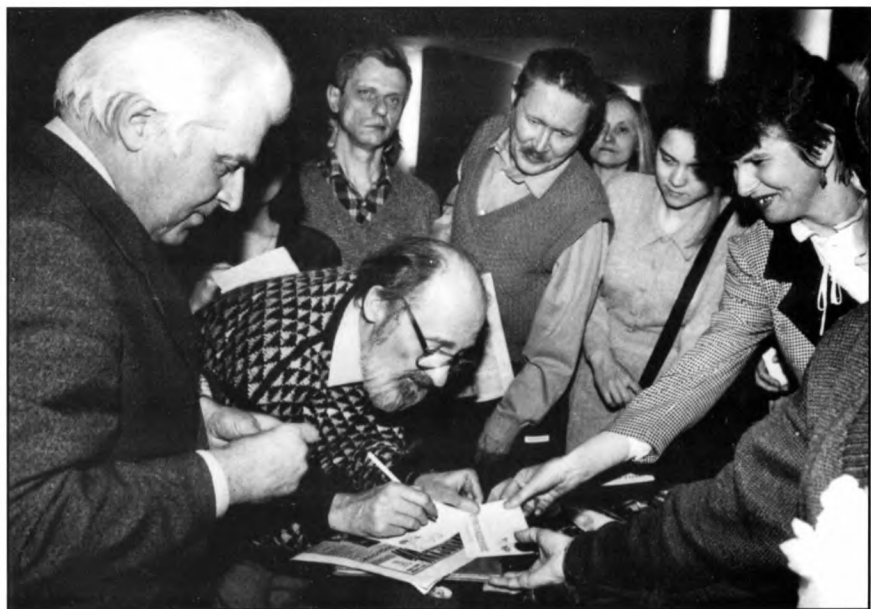
Слева направо: поэты Федор ВОСТРИКОВ, Владимир РАДКЕВИЧ и Алексей РЕШЕТОВ. Середина 1970-х годов, г. Пермь.



**Алексей РЕШЕТОВ, литконсультант Пермского отделения
Союза писателей СССР. Пермь, конец 1970-х годов.**



**Пермский облик
Алексея РЕШЕТОВА.
1980-е годы.**



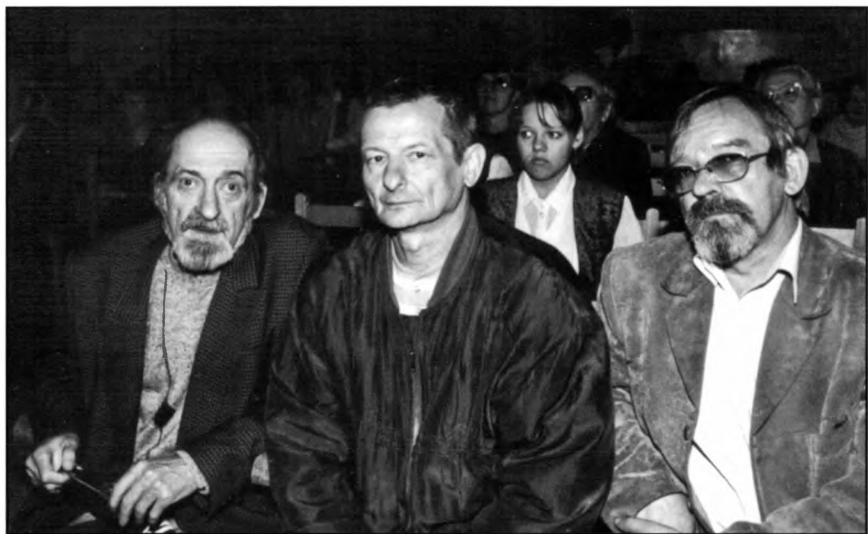
Любя людей, Алексей РЕШЕТОВ не скупился на автографы. Конец 1980-х годов, г. Пермь.



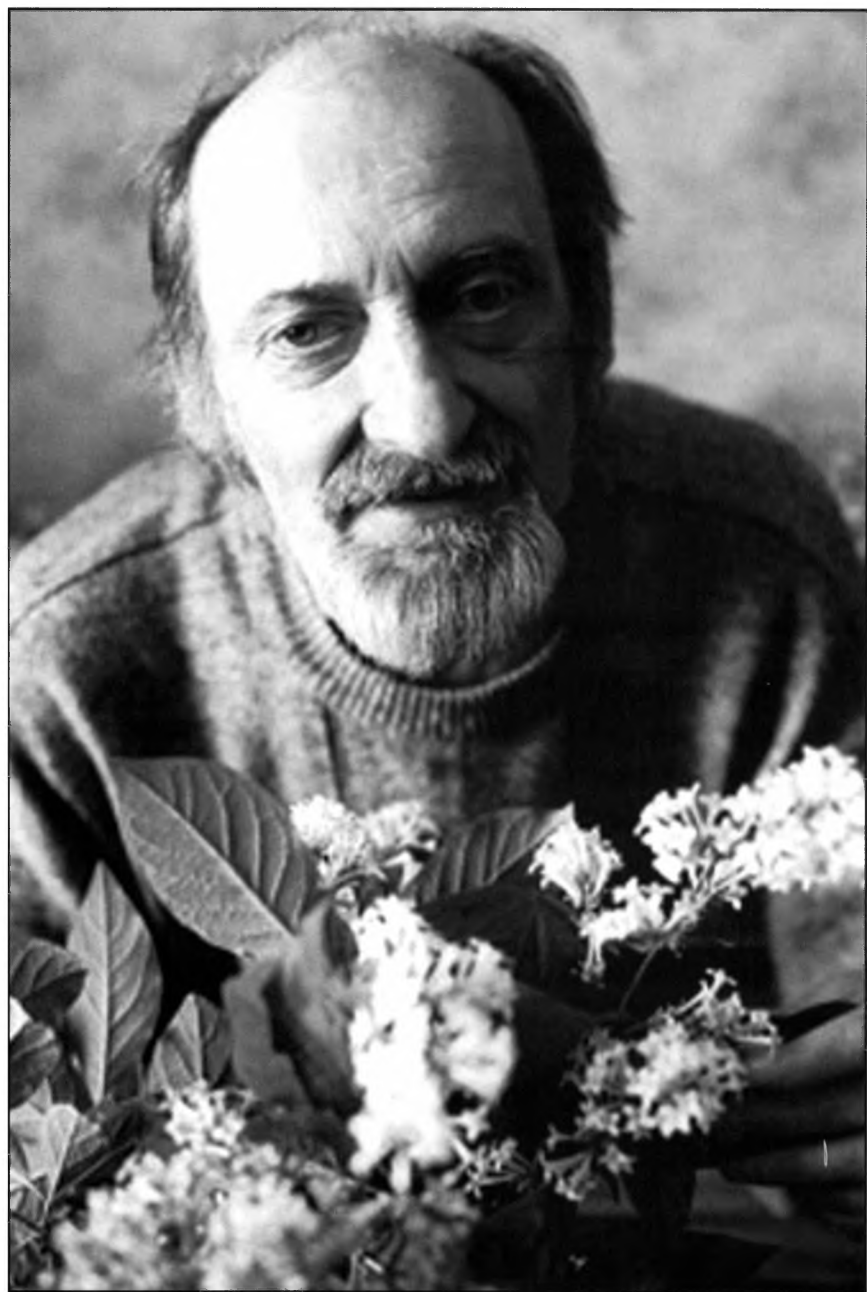
Перед отъездом из Перми в Екатеринбург. Прозаик Дмитрий РИЗОВ и Алексей РЕШЕТОВ.



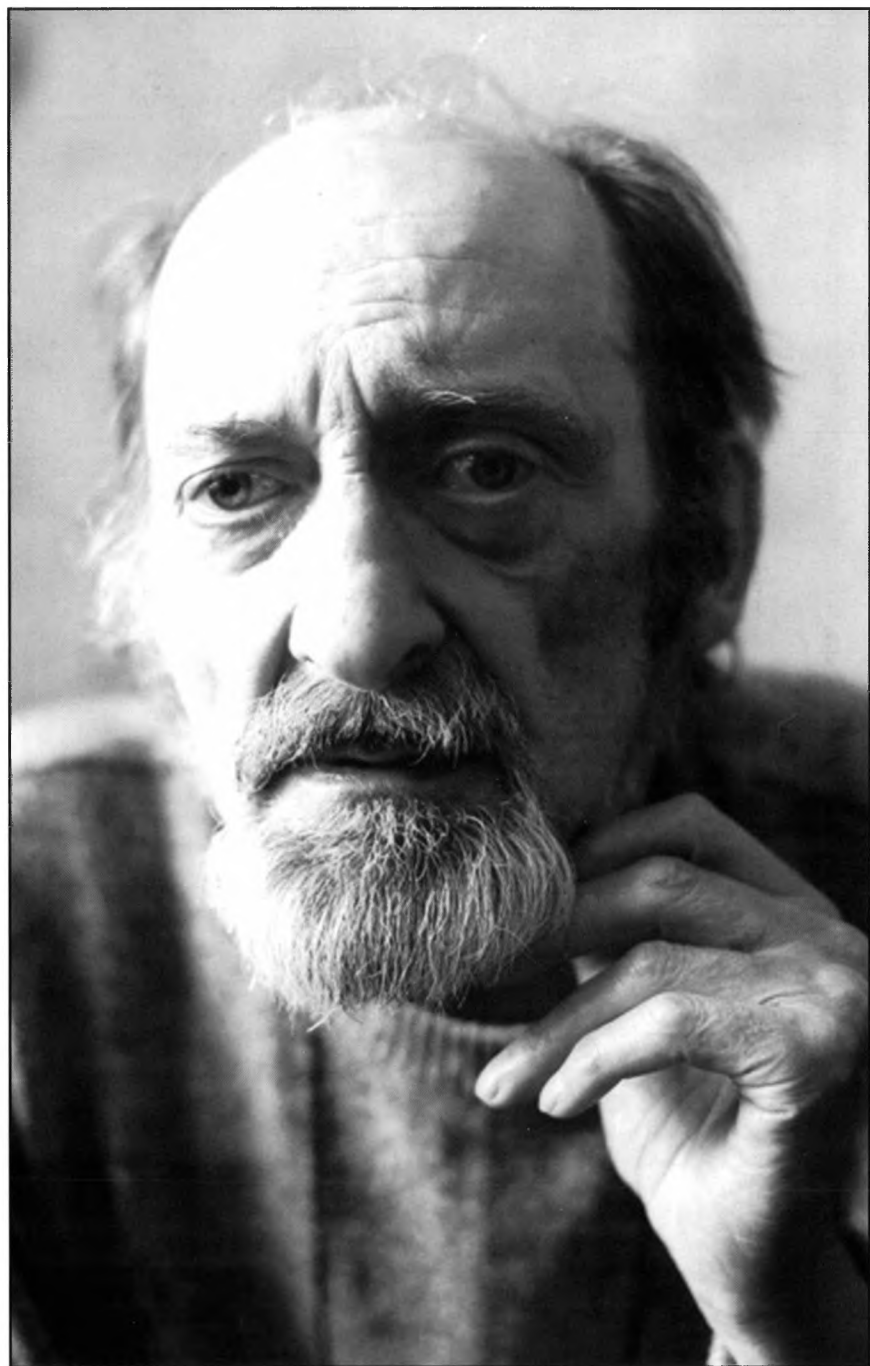
Одно из первых «Решетовских чтений» в Березниках.
В кадре только бородачи. Слева направо: Юрий МАРКОВ,
Игорь ТЮЛЕНЕВ, Владислав БОРОЗДИН, Алексей РЕШЕТОВ,
Иван ОСИПОВ, Владимир КИРШИН, Александр СТАРОВОЙ-
ТОВ. Середина 1990-х годов.

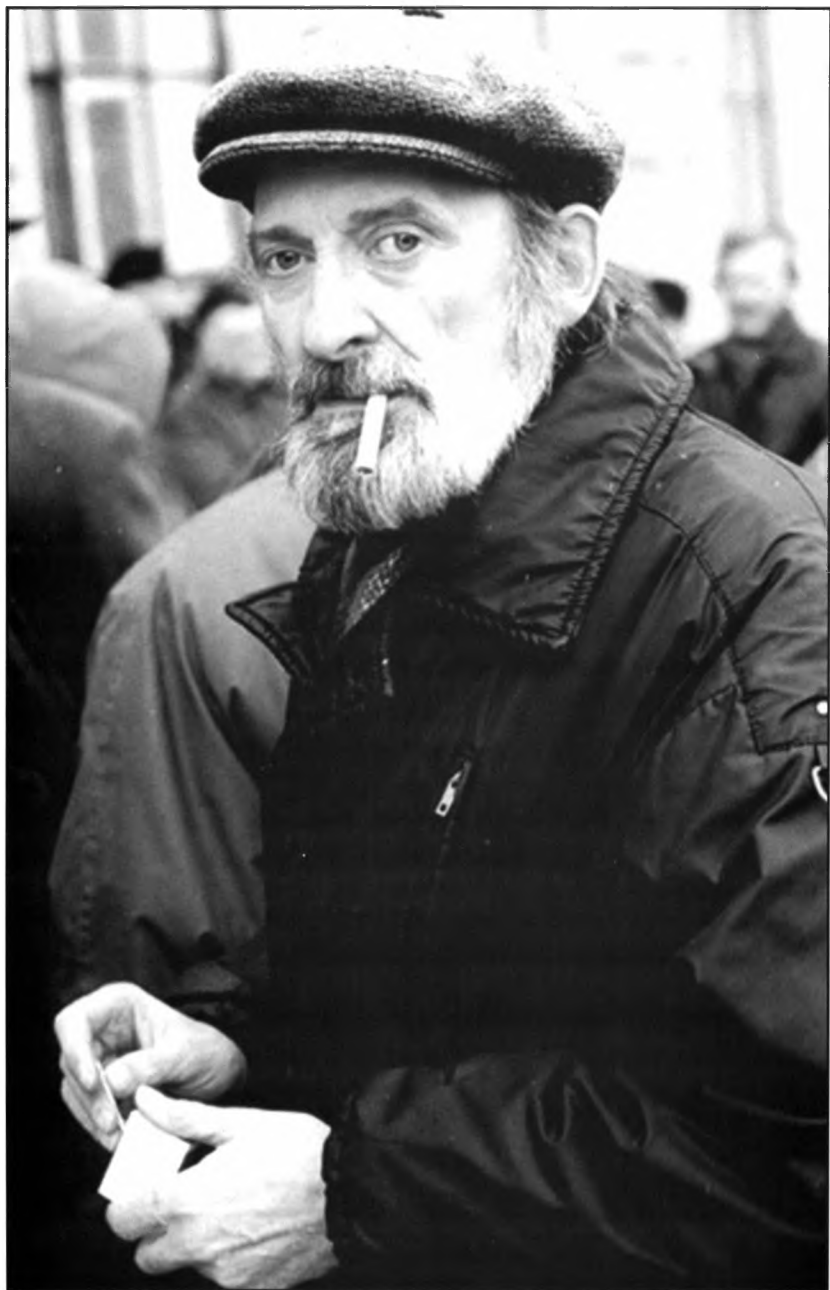


На «Решетовских чтениях» в Березниках. Один из последних
приездов поэта в родной город. Слева направо: Алексей
РЕШЕТОВ, Дмитрий РИЗОВ, Александр СТАРОВОЙТОВ.



Прощанье поэта с Березниками.





Пермь. Середина 1990-х годов.
На открытии мемориальной доски Михаилу Осооргину.



Алексей РЕШЕТОВ с женой Тamarой КАТАЕВОЙ.
Екатеринбург.



Последний дом Алексея РЕШЕТОВА в Екатеринбурге
на улице Малышева, 152а. Вскоре поэта не стало...

*Алексей Решетов и его стихи — они ушли
в вечность, оставаясь при этом с нами.*



На могиле Решетова в Березниках: Тамара КАТАЕВА
и Андрей КОМЛЕВ. Зима 2002 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр СТАРОВОЙТОВ. Вместо вступления. Многоточие. «Тень при божественном свете»	5
А. СУТУРИН. «Когда отца в тридцать седьмом...»	11
Нина Вадимовна РЕШЕТОВА-ПАВЧИНСКАЯ. Из воспоминаний. Грузинские корни поэта. Вторая связующая нить с Грузией	16
Владимир МИХАЙЛЮК. Тогда, в Березниках... ..	33
Тамара КАТАЕВА. Алеша	52
Валерий ВИНОГРАДОВ. Встречи на перепутьях	86
Дмитрий РИЗОВ. О, мать поэта — газета	107
Нина БОЙКО. Юдоль девяностых	126
Анна БЕРДИЧЕВСКАЯ. Взгляд Блока	155
Ирина ХРИСТОЛЮБОВА. «Я жил далеко на Урале»	160
Роберт БЕЛОВ. Физики — лирики	166
Семен ВАКСМАН. Такие тихие щемящие слова	191
Надежда ГАШЕВА. Собеседник сердца	208
Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА. Временная смерть	222
Михаил СМОРОДИНОВ. Материнский причал	226
Юлий ПОЛУЯНОВ. Слово о поэте	237
Владимир ЧИЖОВ. Алексей Решетов и музыка	241
Юрий МАРКОВ. Ушел... и не с кем говорить	245
Нина ГОРЛАНОВА. Ты рано открыл Ли Бо... ..	251
Фотографии	255

Литературно-художественное издание

ДРУЗЬЯ РАССКАЖУТ...

Воспоминания об Алексее Решетове

Редактор Д. Ризов

Компьютерная верстка Е. Филенко

Подписано в печать . . .

Формат 60×90¹/₁₆.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17.

Тираж 1000 экз. Заказ № .

Подписано в печать: 25.05.2007 г.
Формат 60x90¹/₁₆
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17
Тираж 1000 экз. Заказ № 353
Изготовлено: ИП Расторгуев С. В.
тел.: 8-951-92-43-877
e-mail: sendr@nm.ru